Валентин

КОСТЫЛЕВ

Иван Грозный

Валентин Иванович Костылев
Иван Грозный. Книга 3. Невская твердыня

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174032
Костылев В. Иван Грозный: Роман-трилогия. Кн.2(Ч.2,3). Кн.3. : Эксмо; М.; 2000
ISBN 5-04-001657-3, 5-04-002756-7

Аннотация

В нелегкое время выпало царствовать царю Ивану Васильевичу. В нелегкое время расцвела любовь пушкаря Андрея Чохова и красавицы Ольги. В нелегкое время жил весь русский народ, терзаемый внутренними смутами и войнами то на восточных, то на западных рубежах.Люто искоренял царь крамолу, карая виноватых, а порой задевая невиновных. С боями завоевывала себе Русь место среди других племен и народов. Грозными твердынями встали на берегах Балтики русские крепости, пали Казанское и Астраханское ханства, потеснились немецкие рыцари, и прислушались к голосу русского царя страны Европы и Азии.

Третья книга трилогии – «Невская твердыня» – посвящена кануну «смутного времени», последним, самым мрачным годам правления первого русского царя.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 4
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 143
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 356
ЭПИЛОГ 536

Валентин Иванович КОСТЫЛЕВ ИВАН ГРОЗНЫЙ Книга 3. Невская твердыня

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В колючих космах головастой сосны, широко взмахивая крыльями, сел коршун.

Царь Иван резким движением руки отодвинул от себя чашу с недопитой брагой. Подошел поближе к окну, прикрыл ладонью глаза от солнечного света.

Коршун вытянулся. Настороженно обводит взглядом хвойные чащи по склонам кремлевских холмов.

В горделивой осанке птицы царю показалось любование ее своим одиночеством.

«Несмысленная!» – вырвалось из уст царя усмешливо.

Правда, и сам он, государь, приказал построить эту вышку во дворце ради того, чтобы уединяться здесь, в вышине, от

бояр, дьяков, от семьи, но разве царь московский может жить без людей?

И, как бы оправдываясь перед самим собой, подумал, что он, царь, далек от того, чтобы быть довольным одиночеством; эту башню, куда он уединяется, нельзя назвать иначе как «терем раздумья».

Нет! Он, царь, любит многолюдство. Вся жизнь его протекла в бурных волнах житейского моря, в борьбе и опасностях, среди людей, среди друзей и врагов, и если теперь сидит он тут один – причина тому: только что случившаяся ссора с царевичем Иваном.

Праведники-схимонахи советуют стать отшельником, уйти от мира, уступив царство сыну; они говорят, что это успокоит его душу, сообщит ей радость уединенной молитвы и поста, отгонит прочь демонов и откроет путь к священным вратам рая...

Но как же так?! Как оставить царство?! Сегодня он, отец, вдруг поймал в упрямых, жестких глазах сына знак горькой судьбины, ожидающей Русь после его, царской, кончины. Своенравен царевич Иван – многое творит наперекор отцу. Пример плохой боярской знати и воеводам. Многие ждут неустройства в царской семье. Несогласие отца с сыном должно охрабрить недовольных.

«Прочь, черноризцы! Не надо схимы! Глупые старцы!»

«По грехам моим хилое семя, не дающее всходов...»

О, эти мучительные мысли о будущем!

«Много пролито крови! Немало загублено и невинных душ!.. Церковь горько оплакивает убиенных. Горе велико! Оглянешься назад: кровавые следы устилают путь. А ведь по этому пути он явится к престолу Всевышнего. К последнему ответу!»

Но зачем об этом думать?! Что сделано, то сделано. Так нужно. Грехи не должны пугать, коли впереди царству благо. И не угодно ли самому Богу благополучие Русского царства!

Что было – былью поросло, а ныне – новые заботы, новые дороги. Достойно ли страдать о прошлом, когда силы нужны для будущего?! Еще много – ой как много – надо сил!

Царевич Иван убил стрелою мужика, который оборонялся от его охотничьих псов... Тайный слуга государев Семен Верзилка донес: царевич-де хмельной был и нарочно травил того мужика собаками, а в те поры, когда мужик упал, сраженный стрелой, царевич вместе с Василием Верейским, с Никифором Савицким и другими княжатами – все они громко хохотали и даже непотребно ругались.

То же самое рассказал царю и другой его тайный холоп-соглядатай: царевич-де во хмелю безвинно обижает малых посошных людей ради потехи.

И говорит: «Это вам не Иван Васильевич! Слаб стал в старости мой отец, жалостлив! Всех в страхе я буду держать, коли стану царем!»

Царевич горд, самолюбив и дерзок.

Иван Васильевич при этих мыслях о сыне поднялся со

своего места и помолился на икону.

«Прости мне мои окаянства! Сам бо есть аз повинен в сем распутстве сына!»

Он вспомнил, как приучал некогда детей любоваться казнями...

Не он ли брал царевича на Красную площадь, чтобы тот видел, как избивали до смерти бояр и заподозренных в измене чернецов Петровского монастыря?.. Да мало ли видел царевич всякого кровопролития!

И разве не он, сам царь, приказал пытать «по изменному делу» Ивана Михайловича Висковатого обязательно в присутствии царевичей? На их глазах покойный Малюта отрезал подвешенному к бревнам бывшему «печатнику» и Посольского двора дьяку Висковатому нос, другой опричник отрезал ему уши, а подьячий Иван Ренут и того хуже... Сам он, царь, со злорадством показывал царевичам изрубленные опричниками тела бояр и их сородичей.

Много раз то было, и всегда царевич Иван с веселым любопытством смотрел, как палачи пытали и казнили изменников.

«Ты – царь – не видел в том ничего плохого. Не думал ли ты, что дети твои должны приучаться быть жестокими с изменниками? От измены гибнет всякое доброе государево дело, но... мужик! Зачем его убил Иван? Царевич стал невоздержан в вине... Доносят на него сенные государынины девки – покоя им не дает во хмелю... Непослушен... скучлив...

нелеп в забавах... двух жен, ради своей прихоти, поощряемый тобой же, отцом, заточил в монастырь».

«И не сам ли ты, государь, был выдумщиком прелюбодейных срамных игрищ и не ты ли был сам нелеп в нелепых забавах?!»

Все было! Видит Бог, сколь грешен сам царь московский!

Но зачем же опять лезут в голову эти мысли о былом, о том, что давно кануло в вечность?! Долой их!

Царевич строптив. Его влечет к себе праздность. Его не трогает постоянное беспокойство отца о судьбе государства. Его не тянет к работе в приказах, не привлекают к себе любимые отцом посольские дела. Но так ли это? У него есть и своя тайная мысль. Увы! Он неодобрительно судит о военных и о мирных предприятиях царя, о его стремлении расположить к Москве иноземных государей.

«Нет ничего труднее, как не работать», – говорил блаженный Августин.

Царь больше всего на свете ненавидит ленивых, а в его, царевой, семье старший его сын, наследник престола, праздно бродит по дворцовым палатам и лениво, с усмешкой, смотрит на других, кто работает.

«Праздность равносильна погребению заживо: ленивец так же бесполезен для целей Божества и людей, словно бы он мертв», – думает царь, опершись головою на руки.

Все это царю Ивану ясно; сам он никогда не сидел сложа руки и детям всегда твердит и своим приближенным, что

«труд – не есть бремя». Но, может быть, он слишком строг к царевичу? Может быть, многое наговаривают на царевича со злобы?

Иван Васильевич приподнялся, высунулся из окна. Коршун сорвался с вершины сосны и, тяжело взмахивая крыльями, полетел в сторону.

Кто-то вспугнул его. Царю послышался хруст сучьев внизу, в гуще сосен.

Вглядевшись туда пристально, царь увидел человека с луком в руке.

Он крикнул постельничьего, приказав ему доставить во дворец дерзкого бродягу, осмелившегося стрелять в птицу на государевой дворцовой усадьбе.

Вскоре неизвестный был доставлен во дворец и предстал перед царем.

Совсем молодой голубоглазый красавец, со светло-русыми курчавыми волосами, румяный, стройный, он стоял перед царем, виновато опустив голову, и в волнении мял шапку. Царю удалось приметить растерянную улыбку на лице юноши.

Молча осмотрел его с ног до головы Иван Васильевич. Лицо царя осенила добродушная улыбка. Незнакомец, заметив это, ободрился.

– Кто ты? – тихо спросил царь. – Каким обычаем попал в государеву рощу?

Постельничий крикнул:

– На колена!

Вздрогнув, поспешно опустился юноша на пол.

– Отвечай, тебя спрашивает батюшка государь!

– Дворянин я, безродный. А забрел сюда невзначай, гонялся за коршуном... Задрал он курицу на монастырском дворе... Чернецы меня послали. Прощенья прошу, батюшка государь, не своей волей пришел я сюда!

– У кого же ты, неразумное чадо, под кровлей живешь, и кто тебя кормит и одевает, да и порядку и благочестию приучает, и како царя и князя чтити, и его воле преклоняться вразумляет?! Кто?

Юноша взволнованно, с молящим взглядом, обратился к царю:

– Не пытай меня, государь!.. Безродный я!..

Лицо Ивана Васильевича нахмурилось.

Опять вступился постельничий:

– Отвечай государю без утайки.

Юноша, опустив голову, безмолвствовал.

Государь удивленно пожал плечами.

– Отведи для допроса к Борису Годунову.

Постельничий, поклонившись царю до земли, взял за рукав совсем растерявшегося парня и увел его.

Стиснутая со всех сторон густым еловым лесом поляна. Полдень. Солнце легло на красноватое стволье и сизо-зеленые хвойные лапы, ровными рядами многоярусно выпиравшие

шие из толщи ельника. Пронзительно покрикивает иволга. Кружатся на солнце серебристые бабочки. Пахнет разомлевшей смолой.

Сюда тайно собрались беглые крестьяне, предводимые Семеном Слепцовым, – мужики из усадьбы князя Шуйского. Были и из других усадеб.

– Теперича, братцы вы мои, – Божьи мы люди, не княжеские... Довоевался наш государик... Исть народу неча стало. И то сказать – не двужильны мы... Живем – дай Бог терпенья! Юрьев день, и тот Богу душу отдал! Один денек свободы был у мужика, и тот отнимают.

– Знамо, Митрич, не с радости люди в лес ушли. Обеднели! Борода у нас с помело, а брюхо голо.

– Истинно!.. Юрьев день знатно бояре да дворяне слопали. Куда ныне податься?! Вертят нами, как хотят. Словно бы и не люди мы. Царек волю большую своим дворянам дал.

– Так и этак, мои родимые, бросайте все и айда за мной! Сведу я вас к одному человеку. Вольной жизнью заживем. Пра! Будет уж нам перед ними спины гнуть!

Старичок древний, Парамон, перекрестился, тяжело вздохнув, сказал:

– Война-то, знать... на роду писана батюшке Ивану Васильевичу... Да и без толку, Бог его прости!.. И-и-их! Помереть бы уж, што ли! Вот уж истинно: не молодостью живем, не старостью умираем.

– Чего для помирать? Пошумим еще... Жизнь трудна, а

умереть тяжелее. Не для того Господь нас сотворил, штоб не живши помирать. Уйдем в лес. Будем правду искать.

– А кто тот человек, о коем ты нам, Семен, сказываешь?

– Иван Кольцо прозывается... бывалый, парень хоть куда! Задорный, отважный, а главное – готов голову сложить за правду. Горячий! Новый человек. Невиданный! Неслыханный!

Не пришлось долго раздумывать – двинулись мужики в чащу леса. Вожак, Семен Слепцов, впереди. На вид будто и неказистый, но юркий, веселый; был он в походах, воевал в Литве, в Ливонии, исходил немало земель, но лучше своей родной земли ничего не нашел. И был у него приятель – московский человек, который говорил ему: «Земля наша добрая, крепкая, на ней не пропадешь, да лишку народ-то смирен, не смел, силы-де он своей не знает. Задумчив наш народ, вот и страдает. Гляди, что сотворилось! Конца света мужик стал ждать! Нешто это можно? Восстаньте, не спите!»

Он говорил Семену будто и о том, что, коли царство русское большим стало и уделов княжеских в нем уже нет, того ради и сила мужицкая выросла непомерно... Рязанец да нижегородец теперь единая плоть, единая душа и единая пятерня, а все вместе удельные мужики теперь, коли поднимутся, грозе небесной уподобятся. Несдобровать в ту пору и царю, и вотчинникам!

– Это надо бы вам понять, убогие овцы! Человек тот молодой, но грамотный, – сердито ворчал Семен, передавая его

слова своим односельчанам, когда они начинали падать духом.

– Забавно говоришь! – отвечали ему. – Да токмо не разумительно. Мужик – птица малая, да и несогласная. Смешно! «Единая душа»! А вона вчера ясеневские дубьем поколотили сережинских. Семеро, Господь их прости, в той схватке Богу душу отдали. Вот те и «единая душа». Согласия нет, да и не будет. Разные головы. А ты нам толчешь, как в ступе, одно и то же – «непомерная сила, непомерная сила». Буде попусту мозги наши затуманивать! Говори прямо: не под силу стало ярмо дворянское. Вот и все, а дальше мы и сами разберемся.

День ото дня все яростнее, с упреками в слабости, набрасывался на своих односельчан Семен Слепцов. И вот теперь он все же настоял на своем – из деревни Теплый Ключ, в вотчине князя Шуйского, почти все мужики пошли за ним в лес. Что-то подсказывало им, будто Семен и впрямь учит добру, да как-то и самим-то становилось день ото дня яснее, что от хозяина вотчины их – царского слуги Василия Шуйского – добра не жди. Чем дальше, тем тяжелее посошному люду, а царь далеко, да и не станет он на сторону крестьян. Такого дела никогда не бывало. Наоборот, – коли поднимешь голос да на рожон полезешь, – то и плетей со всех сторон не оберешься, и на дыбу попадешь.

Сам Бог велел распрощаться с боярской вотчиной и уйти куда глаза глядят.

Долго ли, мало ли шли, но в одно прекрасное утро очутились лицом к лицу с Волгой.

Семен забрался на самое высокое место берега и воскликнул что было мочи:

– Вот она, наша родная! Э-эх, Господи! Полюбуйтесь!

Стояли мужики, сняв шапки, и глядели на Волгу с восхищением, а Семен, помолчав немного, еще громче крикнул:

– Не обидел меня Господь памятью. Привел вас, братцы, куда надо! Привел к Волге-матушке! Она – заботлива.

Широкая, спокойная в своем величии, древняя река подняла в людях гордые мысли. Кругом небо, зелень, вода – вот где познаешь, что не для неволи рожден человек.

Мужики обступили вожака вплотную:

– Спасибо, братец! Видим, твоя правда!

– Верьте мне, землячки, добьемся своего! Ей-Богу, добьемся!

– Коли так, низко тебе, сокол наш, кланяемся! Спасибо тебе, родной! Путь свой видим.

Семен рассказал мужикам, что место то, где стоят они, и есть конец их путешествия.

– Взбирайтесь сюда, на бугор! Вон взгляните на ту реку, что в Волгу уткнулась. Сура! Река Сура. А на горе, по ту сторону, церковь да домишки с частоколом. То Васильсурск. Василий, великий князь, от татар поставил. В сих местах мы и найдем Ивана Кольцо, в диком логове... малость повыше по Суре. В ямах его стан.

Народ шумно приободрился. Взглянули на Семена: лицо веселое, бедовое. Видать, не без причины. Видать, не обманывает.

– Ну, отдохнули, кречеты? Двигаемся дальше! Коли начали правду, так уж будьте твердыми.

Спустились по глинистому откосу к берегу Суры, побрели среди кустарника, вверх по течению. Тяжеленько; сучья цепляются, ноги вязнут в глине после дождя; устали ребята – согнулись под грузом котомок, набитых всякой снедью; шли, опираясь на вилы, копья, посохи. Вспотели, покрылись грязью – уж скорее бы до места! На ногах пудами глина.

В темно-зеленой глади воды, когда приблизились к ней, отражение облаков, застывших на ласково голубом небе. Зашлепала крыльями стая журавлей, поднявшись в воздух. Пахнет душистой прелью пышная, вспоенная дождем зелень. На том берегу Суры вековые дубы и вязы – глухо! Птицы слабым писком дают о себе знать.

Слепцов, то и дело оглядывая свою ватагу, приказывал соблюдать величайшую осторожность. Васильсурский воевода начеку, кругом города стража – ждут нападения казанских татар. Казанское царство хоть и покорено, но еще немало татарских князей, не признающих власть московского государя. И выходит: опасайся и воевод и татар! И тех и других. Хоронись в зеленях с умом, без шума.

Почти с головою скрываясь в высоких травах и кустарниках, пробираются по берегу Суры мужики; там, в деревне,

остались одни женщины и дети. Тяжко было бросать их на поругание княжеских холопов Шуйского. Но, может быть, удастся вернуться и силою отстоять справедливое дело?!

Едва слышно шуршит трава. Над головою кружат многоцветные бабочки и стрекозы. Колышется от легкого дыхания ветра серебристая листва прибрежных осин. Ивняк склонился над рекою, касаясь остроконечными листьями воды.

Густые заросли полны влаги: тут и роса, и непросохшая сырость от дождей. Лапти не выдерживают, промокают. Дурманит головы пьянящий, медвяный запах прелых корневищ.

– Скоро ли? Сема, братец, помилосердствуй, ноги ведь отваливаются!.. – опять начался ропот.

– Потерпите, братцы... не тяните, ради Бога, душу! – озабоченно озираясь по сторонам, отвечает Слепцов. – Сам знаю.

Не сладко ему! Обузу принял на себя великую. Легко ли поднять на ноги деревенских мужиков, чтоб добыть им свободу и легкую жизнь! Не попасть бы впросак! Лучше уж смерть, нежели стать обманщиком своих односельчан.

Но нет! Тут он, Семен, уж раз побывал и место запомнил отчетливо, и не может того быть, чтобы не нашел он гнезда атамана Ивана Кольцо. Не на день и не на два поселился на Суре лихой донской казак. И собирает он мужицкую рать не для забавы и не ради пустошной затеи, а для блага самих же посошных людей.

Широко распахнув свой голубой атласный кафтан на малиновой шелковой подкладке, сидел в своей палате румяный веселый Борис Федорович Годунов – любимый государев слуга, – внимательно выслушивая исповедь приведенного к нему по приказу царя неизвестного парня.

Вся внешность Годунова: тщательно расчесанные его кудри, подстриженные борода и усы, опрятно, красиво сидевший на его стройном стане кафтан – все говорило о мужественной молодости, чистоплотности, самоуверенности и порядливости царского слуги.

Юноша чувствовал себя в его присутствии бодро, и в ровном спокойном голосе его зазвучала подкупающая своею простотою, ничем не стесняемая правдивость.

– Люди добрые говорят, родом я из Заволжья... и боярская кровь течет во мне... Скрыли ребенком меня... Отца казнили по воле царской... Так говорят. Правда ли то, не знаю. А мою матушку-де заточили в монастырь... Сам я ничего о том не ведаю: кто и чей я, да и где она, матушка. А утаили меня колычевские люди и отдали на воспитание инокам в монастырь. Старец один княжеского рода взрастил меня на подворье.

Борис Федорович слушал парня с большим любопытством.

– Ну, а как имя твое, добрый молодец?

– Зовут меня Игнатий Хвостов.

Годунов погладил себя по лбу, как будто что-то припоми-

ная.

– Скажи мне, Игнатий, каким обычаем ты попал на государеву усадьбу, да и у кого ты ныне проживаешь?

Хвостов тяжело вздохнул:

– Тяжко мне стало жить при монастыре, да и старец тот помер, и увезли меня монахи счастья искать в Москву. Приютили на колычевском дворе, что за Земляным валом, в Березках...

– А и кто же тебя, отрок, туда послал?

– Старец покойный Феодосий не один раз мне говаривал: «Умру-де я, так иди к колычевскому двору на Москве, скажи-де: старец Феодосий послал посмертно».

Борис Годунов задумался, лицо его стало сумрачным.

– А кто ж там ныне из Колычевых живет?

– Старушки две убогие... Мужиков никого нет. Приютили они меня, спаси их Христос! Добрые они.

– А Степана Колычева нет?

– Не бывало такого... Не слыхивал я.

Борис Годунов задумался.

– Не рука тебе, парень, жить у Колычевых со старухами, – сказал он, неодобрительно покачав головою. – Надобно тебе к делу навыкать, чтоб добрым слугою государю быть. В Русском царстве много дорог, а иные и в трясину заведут. И велено мне батюшкой государем поставить тебя на верный путь. Детина ты видный, да и порчи на тебе не примечаю, так оно и государю показалось, а из таких-то дородных де-

тин и хорошие слуги царю бывают... Поселю я тебя у моего дядюшки, у Никиты Годунова, а он ныне Стрелецким приказом ведает. Будешь учиться у него, а чему – узнаешь. Человек он благохотящий, с добрым христианским сердцем.

– Воля государева – божья воля, – смиренно ответил юноша.

Борису Федоровичу по душе пришелся ответ его.

– Да будет так!.. – сказал Годунов, погладил по плечу Хвостова. На щеках Игнатия, как у красной девицы, выступил густой румянец, а голубые глаза стыдливо скрылись под густыми черными ресницами.

Годунов еще раз, с дружелюбием во взгляде, осмотрел с ног до головы стройного молодого красавца и сказал громко и ласково:

– Дерзай!.. Иди смело прямой дорогой... Добивайся счастья. Оно будет у тебя.

В честь закладки нового пристанища на Студеном море в храме Спаса на Бору шло богослужение. Басистый дьякон Вахромей Шувалов потрясал своим громоподобным голосом воздух, читая любимую царем главу из Второй книги пророка Ездры:

– «О мужи! Не сильны ли люди, владеющие землею и морями и всем содержащимся в них?»

«Но царь превозмогает, и господствует над ними, и повелевает ими, и во всем, что бы ни сказал им, они повинуются

ему».

«Если же скажет, чтобы они ополчались друг против друга, они идут и разрушают горы, стены и башню».

«...и убивают и бывают убиваемы, но не преступают слова царского; если же победят, все приносят царю, что получат в добычу, и все прочее».

«И те, которые не ходят на войну и не сражаются, но возделывают землю, после посева, собравши жатву, также приносят царю и, понуждая один другого, приносят царю дани».

«И он один, если скажет: „убить“ – убивают; если скажет: „отпустить“ – отпускают; сказал: „бить!“ – бьют; сказал: „опустошить“ – опустошают; скажет: „строить“ – строят; сказал: „срубить“ – срубают; сказал: „насадить“ – насаждают».

«И весь народ его и войско его повинуются ему». «О мужи! Не сильнее ли всех царь, когда так повинуются ему?»

Иван Васильевич, за которым внимательно следили стоявшие позади него ближние бояре и иные царедворцы, думал о том, что пройдет год, два, три, и он снова поведет свои войска к Западному морю. Нет! Русь не побеждена; ее оттеснили от моря, но она оправится и с новой силой потянется к морю. Нужно поднять дух в народе. Нужна сильная власть. Студеное море поможет опять овладеть Варяжским морем. Недаром то море омывало уже в своих водах московские корабли. Так было!

Будут ли сочувствовать ему бояре, его советники, все преданные ему воеводы и дьяки, если он откроет им, что ему не

хочется умереть, не укрепившись на тех берегах?! Пока об этом надо молчать, хранить тайну в себе. Теперь не время, не настал еще час возвестить свою волю народу.

Голос дьякона Вахромея гремел на всю церковь:

– «...Горе тем, кои думают скрыться в глубине, чтобы замысел свой утаить от Господа, и которые делают дела свои во мраке».

Царь вздрогнул: «Не мне ли, о Господи, эти слова пророка?!»

Нет! Он, царь всея Руси, таит в себе свои замыслы на пользу святой церкви, на благо христианской дедовской родной земли! Неужели Господь покарает его за это?! Увы! Не в том провинился он, царь, перед Всевышним! Виновен царь в бесплодном пролитии крови своих воинов. Ради чего шла эта долгая, страшная война? Все это понемногу отнимают у него, у русского царя.

Вчера он открыл наугад Библию и прочитал первое попавшееся ему на глаза место из книги пророка Исайи:

«...как лев, как скимен, ревущий над своею добычею, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется и множеству их не уступит...»

Так и он, царь Иван, будет стоять на своем: море Варяжское – Балтийское – было и должно вновь стать русским, ибо оно с древних времен принадлежит Руси, ибо много крови доблестных россиян было и будет пролито за Балтийское море.

Он, царь, несокрушимо верит в это.

Никому из следивших за царем вельмож и в голову не могло прийти, что царя мучают, терзают мысли о новой войне во имя возвращения утраченных в Ливонии земель...

Иван Васильевич сидел на возвышенном месте суровый, неподвижный, опершись на свой из слоновой кости посох. Голубой с малиновым шитьем парчовый кафтан облегал его высокую, немного сутулую фигуру с гордо поднятой седеющей головой. Он совсем не был похож на кающегося грешника, на человека, охваченного страхом и сомнениями. Вид царя говорил скорее о сознании им своей правоты, непогрешимости и силы. Пускай седой волос упрямо топорщится из-под его черной бархатной мурмолки, пускай морщины избороздили его лицо и явно обозначилась сутулость – царь всея Руси Иван Васильевич одинаково загадочен и страшен для своих врагов, как то было и встарь...

По окончании службы Борис Годунов и Богдан Бельский под руки свели царя с возвышения и подвели его к митрополиту под благословение.

– Да пребывает слава и милость Господня над тобою, владыка всех владык! – проговорил митрополит, дрожащею рукою осеняя крестом лицо царя.

Возвращаясь тайным ходом во дворец, царь сказал Годунову и Бельскому, что он весь мир удивит тем морским могуществом, которое вскоре обретет Русь на суровых берегах северного, Студеного, моря, и что он, сам государь, снова по-

едет на север, чтобы осмотреть, как готовят корабли и снасти для больших переходов морских судов Беломорья.

II

От короля Стефана Батория пришло письмо, которое заставило крепко призадуматься царя Ивана. Баторий писал в ответ на государево письмо – будто тому, что не родился он, Баторий, королем, он теперь только радуется. Ведь достиг он королевского сана в силу своей доблести и ума. А панами избран так же строго, как избираются папы кардиналами.

На просьбу царя прислать послов Баторий ответил, что пришлет послов в Москву только через сорок лет, а может быть – и через пятьдесят, так как ему нет никакой необходимости в том.

Это прочтено было в присутствии бояр и дьяков и заставило царя густо покраснеть. Он видел явную дерзость со стороны польского короля, однако ему показались очень любопытными слова Батория. На его лице появилась даже улыбка.

– Остер на язык угорский князь! – произнес он. – Остер и разумом силен. Не знавал я ранее таких-то. Неприятель необыкновенный.

Царь добавил, будто ему даже нравится, что Баторий не гордится происхождением и родом, а прямо говорит, что получил королевский сан как дар за труды от польских панов. Одно смущало: стало быть, он панскую раду ставит выше се-

бя?! Ну, а если он, Стефан, не угодит панам, они же его могут и снять с престола?! Ему надо побеждать, ему нужны удачи, чтобы усидеть на королевском троне, который он получил за усердие из рук панов.

– Когда так, – сказал царь Иван громко и твердо, – мы должны поссорить короля с панской радой. Псков, к которому направляет свое войско король, должен стать могилой его славы, славы непобедимого! Пускай будет раскол у короля с панской радой!

В том же письме Стефан Баторий говорил о своем праве на Ливонию и требовал громадную сумму денег на покрытие военных расходов, произведенных им на московскую войну. А покойную мать царя Ивана, Елену Глинскую, он назвал «дочерью изменника польскому королю Сигизмунду».

«Осмелел, вор! – нахмурился Иван Васильевич. – Пора проучить тебя».

На другой же день царь собрал во дворце некоторых, самых близких к нему, воевод и обсудил с ними, что и как делать, коли войско королевское начнет осаду Пскова.

На совет сошлись князья – Иван Петрович Шуйский, Василий Федорович Скопин-Шуйский, Иван Андреевич Хворостинин, казацкий атаман Николай Черкасский, Михаил Косецкий, Николай Иванович Овчина-Плещеев, Владимир Бехтеаров-Ростовский, Иван Бутурлин и многие другие, преданные ему, царю, воеводы.

Рядом с царем в особом кресле сидел вызванный из

Пскова в Москву высокий, с длинной, узенькой, остроконечной бородой, архиепископ псковский и новгородский Александр, один из любимых царем духовных советников.

– Созвал я вас, отец Александр и мои добрые воеводы, чтобы сказать вам свое слово государево о нашем именитом граде Пскове, извечном страже российских земель, прославленном в веках преданностью вере христианской и крепостью воинской. Враг сильный, хищный крадется к сему граду, обрадованный своими прошлыми победами. Он похваляется покорить Русь и взять святой стольный град Москву. Бог посылает нам испытание. Возомнили мы о себе не по делам нашим, думали о себе, как гордецы, без смирения, но с великим задором. Однако Господь Бог гневен, но и милостив. Вспомним же о том, что было так недавно... Едва ли не три века Русь томилась под игом Золотой орды! Но подо льдом той неволи наливалась крепкою силою Русь, разрослась, взломала тот лед и сбросила с себя поганую бусурманскую неволю. Крепка Русь! Какой народ в страданиях и муках умудрился бы сохранить и умножить в течение трех веков подневолья свою силу, сберечь в чистоте свою веру и сбросить с себя то идолище поганое?! Дивное на Руси стало ясным, несовершимое – былью, и те, кто владел нами, ныне состоят слугами нашими... Господь никогда не покидал Русь на полях брани и никогда не покинет. Подымите же и вы, псковитяне, на городской стене хоругвь непобедимости! Верю я – услышаны будут моление и слезы наши, и оного ко-

роля Стефана Батория вы победите, и он отыдет от крепости нашей посрамлен!

После речи царя поднялся во весь рост седобородый, закованный в кольчугу псковский воевода князь Иван Петрович Шуйский. Он низко поклонился царю, затем архиепископу Александру и громким, мужественным голосом произнес:

– В Библии сказано: «Святой Давид возста рано и тече в полк». Господь Бог испокон веков направляет руки воинов верных на ополчение, персты их прилагает на брань!.. Крест целуем тебе, государь!.. Не сдадим Пскова!

При этих словах быстро встали со своих мест все находившиеся в государевой горнице воеводы и вынули из ножен мечи.

– Вот оно, наше оружие! От битв неудачливых оно не затупилось, а стало еще острее, – продолжал Шуйский, – и дух наш не угас, а разгорелся паки и паки ярче! Ужасен огонь внутри твоих воинов.. Он пожгет слабость, коли она была у кого, и поглотит вражью гордыню... Псков мы отстоим, батюшка государь, либо погибнем все до единого в бою за тебя и родную землю! Верь нам! Мы – твои верные слуги.

Поднявшись со своего кресла, царь положил руку на плечо князя Ивана Петровича Шуйского.

– Верность ваша в услугах и правда в словах хорошо ведомы всем. Чтобы испытать правдивого, честного человека, мне надобны теперь годы, а неверного и злого раба узнать

– довольно одного дня. Научила меня тому жизнь! На долю вашего государя выпало тяжелое бремя одолевать внутреннее нестроение нашей земли и воевать многие годы со всякими злохищными ворогами. Денно и нощно глядят они пожирающими очами на Русскую землю... Зависть и злоба снедают сердца наших соседей. От них же есть и зазнавшийся холоп Стефан. И он вознамерился своровать некоторые города и села наши... Многое множество праведных воевод в моем войске. Спокоен я. Из них ты, Иван Петрович, мне особо дорог, и того ради будь начальником над всем воинством во Пскове. Покажи Стефану богатырство наше! Проучи его!

Князь Шуйский, став на одно колено, поклялся царю, что он или победит, или умрет в бою как честный воин.

То же сделали и остальные псковские военачальники.

Архиепископ Александр благословил их оружие.

Когда воеводы ушли из горницы, царь оставил у себя архиепископа, чтобы побеседовать с ним.

Александр известен был царю как хорошо знающий дела польско-литовского королевства. Многие литовские люди, отколовшись от униатов, перешли на сторону псковского духовенства. Они были слугами архипастыря Александра.

Царь спросил его, что он думает, что знает о Стефане Батории и в каковом новый король согласии с польской радой.

Александр нахмурился, потер лоб, ответил тихо, как бы про себя:

– Непокорен и своенравен Стефан, но ума превеликого...

воин храбрый, дерзкий...

Иван Васильевич, взволнованный ответом архиепископа, схватил его за руку:

– Стой!.. Так ли, святой отец?! Правда ли то?! Сказывай.

В глазах царя явно проглядывало недовольство.

– Правда, государь!.. Не верь тому, что болтают о холопстве Стефана у панов... Нет! Они его боятся. Король на первом же сейме громко изрек: «Не в хлеву, но вольным человеком я родился, и было у меня что есть и во что одеться, прежде чем прибыл я в вашу страну. Люблю мою свободу и храню ее в целости. Королем вашим я стал, волею Божией вами избранный, прибыл сюда вследствие ваших просьб и настояний, и вы сами возложили мне корону на голову. Поэтому я вам настоящий король, а не король, нарисованный на картинке. Хочу царствовать и приказывать и не потерплю, чтобы кто-нибудь правил надо мною...»

– Стой! – еле переводя дыхание от волнения, произнес царь. – Так и сказал он?!

– Точно, великий государь, так он и сказал в лицо панам...

– Слушаю... говори дальше! Хорошие слова! Что еще он сказал?!

– Паны притихли, а он с гордой осанкой, словно бы и природный владыка, далее изрек: «...Будьте стражами вольности вашей – это дело доброе, но я не позволю вам стать хозяевами для меня и моих сенаторов. Храните вольность так, чтобы она не вылилась в своеволие». Вот и все, государь.

Царь сидел молча, с какою-то непонятной для Александра улыбкой. Затем, опять обратившись к архиепископу, спросил его тихо, вкрадчиво:

– А знаешь ли ты, что после смерти Жигимонда они хотели меня либо царевича Федора посадить себе на престол?!

– Доподлинно, государь. Оное всем ведомо. И ныне в Литве есть сторонники того же.

– Я сказал бы так же панам, как сказал им угорский князек. Здесь его сила. Жигимонд был слугою рады. Не любил я его за то. Он цеплялся за изменников, подобных Курбскому, слушал их, стоял за них... Стефан – горд. Слыхал я – не особо жалует он их. Его не удивишь изменой; он – сам перебежчик, сам бродяга, сбежавший со своей родной земли. Норов их ему известен. Его не обманешь.

Немного подумав, царь спросил:

– А как ты полагаешь, святой отец, не поссорятся ли с ним паны, коли мы отстоим Псков?! Не отстанут ли они от него, когда там счастье изменит ему?!

– Паны ненадежны, верно, государь! Плохо быть их королем! Господь в своей неизреченной премудрости отвел чашу сию от уст твоих... Вместо радующего сердца вина ты испил бы яд горечи и неправд. А коли Псков устоит, Стефан не уживется с панами... То надо предвидеть.

Иван с нетерпением перебил архиепископа:

– Тем более горько ему будет, ибо он не королевской крови правитель. Господь Бог накажет его за дерзость! Престол

государя должен занимать человек королевской крови! Паны сами почитают происхождение и кровь. Их высокомерие сильнее гордыни моих бояр.

– Истинно так, государь! – ответил архиепископ. – Недолго будет их любование лихостью угорского выскочки.

Иван Васильевич улыбнулся, недоверчиво покачав головою.

– Но не будет ли царству убытка от малоумности иного правителя королевской крови?.. И то бывает.

Царь насторожился, ждал ответа.

– При разумных и добрых советниках любой король может быть полезен своему королевству, – сказал Александр.

– Ты прав, святой отец. То и сам я вижу. Свейский король Иоанн, спихнувший своего брата Эрика с престола, великую силу обрел ныне... Не украшен сей король мудростью, но бороться нам стало с ним не под силу... Его воевода Делагарди теснит нас от Варяжского моря... Свейское войско крепко стало в Эстляндии... Видим это. Ой как видим!

Немного подумав, царь добавил:

– И надолго. Думается мне – нашему царству великая угроза настанет в будущих временах от Свейского королевства... Разъединил нас свейский Иоанн с Данией. И в Польше его люди сильны. Тот король со своей женой Екатериной Ягеллонкой держат руку Польши и Литвы... И впрямь, умные советники окружают Иоанна... Счастье его!

Тяжело вздохнув, царь вдруг поднялся, распрощался с ар-

хиепископом Александром и торопливой походкой удалился во внутренние покои...

На другой день утром в Кремле, в Успенском соборе, митрополитом был отслужен молебен. После службы все воеводы перед иконой Владимирской Божьей Матери дали царю клятву, что не сдадут Пскова.

Под вечер длинный караван с пушками и ядрами, с бочонками зелья, предводимый воеводами, выступил из Москвы в направлении к Пскову.

Впереди на громадном косматом коне ехал сам псковский большой воевода Иван Петрович Шуйский. Сверх кольчужной рубахи на груди у него сверкал золотом и драгоценными каменьями большой нагрудный крест, который перед самым его выходом из Москвы надел на него своими руками царь Иван.

Шуйский бодро, с веселой улыбкой то и дело оглядывался на ехавших позади него всадников, в первых рядах которых были самые любимые его помощники: Василий Скопин-Шуйский, Иван Хворостинин и казацкий атаман Николай Черкасский.

На телегах в обозе около пушек и ядер сидели туго затянутые красными кушаками пушкари, перекидываясь шутками и прибаутками. Им было весело; они засиделись в Москве. Они довольны, что их снова двинули «на дело».

Архиепископ ехал в закрытой повозке, окруженной верховыми чернецами. У каждого из них на поясе была сабля.

– Вот вам, угощайтесь! – осадив коня и поравнявшись со своими воеводами, сказал Шуйский. Он вынул из кожаной сумки медовые лепешки, раздал им. – На дорогу напекли.

И, тяжело вздохнув, добавил:

– Погоревали мои бабы, повыли... будто на смерть меня провожают... Глупые!

И вновь после этих слов поскакал к своему месту, во главе военного каравана, широкий, прямой, гордый – главный воевода Пскова князь Шуйский.

III

Царь в сопровождении ближних бояр отправился пешком на прогулку вокруг Кремля.

На берегу Москвы-реки, близ Тайницкой башни, навстречу попался высокий, сухой старец, калика перехожий. Шел он босой, в рубище, смотрел из-под пучков седых волос неодобрительно на царя и его свиту. Иван Васильевич приказал остановить его.

Странника подвели к царю.

– Куда бредешь, борода?! – с усмешкой спросил Иван Васильевич.

– Ищу места, где бы не рубили голов людям, – смело глядя царю в глаза, тихо проговорил старик.

– Не найдешь, дед, ныне такого места... Коли оно было бы, тогда зачем людям на небе рай? Мученики, святые страдаль-

цы не родятся таковыми – им помогли злые люди, огонь и плаха стать всеми чтимыми праведниками. – Иван Васильевич зло усмехнулся.

– Глумишься ты не от спокойного сердца, государь. Совесть твоя недужит. Будь поистине мудрым владыкой. Вот что! – с раздражением в голосе произнес странник.

– Кого ты называешь «мудрым владыкою»? – строго спросил царь.

Странник слабо улыбнулся, ответив тихо, как бы про себя:

– Кто из владык мудр?! Тот, кто умеет быть владыкою над самим собою. Сила власти его познается в этом. Мудр тот, кто у всех чему-нибудь учится, даже у рабов своих. Кто не кичится своею силою, властью, богатством и роскошеством. Не попусту сказано в послании Иакова: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас!.. Богатство ваше сгниет, и одежды ваши будут изъедены молью... Золото ваше и серебро изоржавеет...» Верь, государь, кто знает пределы желаний своих, тот...

– Довольно, старче! Молчи! О, если бы я мог узнать истинные побуждения твои! Зачем ты говоришь мне об этом? – взволнованно произнес царь. – Кто ты такой?

– Если бы, государь, люди научились каким-либо обычаем узнавать чужие мысли, то на земле началось бы ужасное кровопролитие, и люди истребили бы друг друга все до единого, и погиб бы навеки человеческий род. Бог лишил людей дара узнавать чужие мысли. Этим он помешал гибели чело-

веческого рода, но помог людям жить, блаженствовать, наживаться, обманывать друг друга.

Иван Васильевич задумался. Обернувшись к любимому своему боярину Богдану Яковлевичу Бельскому, сказал:

– Возьмите его! Сыщите: кто он, какого рода-племени?! Не по душе мне речи его. Не простой он мужик. Хитер. Скрытен. Красно говорит.

Несколько стрельцов окружили странника, схватили его и поволокли в Кремль.

– Отпустите меня!.. Я сам пойду!.. – громко крикнул он, гневно сверкнув глазами и замахнувшись на них посохом.

Богдан Бельский – оружничий и телохранитель царя – подбежал к страннику, ударил его изо всех сил посохом:

– Молчи, смерд!

Иван Васильевич остановил его:

– Не троньте! Уведите. Дела плохи у меня, видимо, стали.

Дождавшись, когда странника увели, царь продолжал:

– Земля моя в пустошь изнурилась. Вот почему охрабрились бродяги. Того и гляди, помилуй Бог, падет Нарва, Иван-город. Моим послам в стане Батория наносят обиды и даже были побои, чего не смели делать прежде. Ваш царь испивает чашу стыда, им заслуженную. И не дивлюсь я, что даже смерды стали дерзкими. Чую, повсюду меня порицают... Баторий вознесся гордынею до того, что требует у меня уже города северские, Смоленск, Псков, Новгород и даже Себеж, да четыреста тысяч золотых венгерских! Степка Баторий, чело-

век не королевского рода, холоп, ставший королем! Лучше бы мне умереть, нежели видеть все это своими очами... Чего не сделал я до сего дня, Бог указывает мне сделать впредь!

– Великий государь, батюшка Иван Васильевич, – низко кланяясь, наперебой, подобострастно заговорили окружавшие царя вельможи, – нет такого государя в мире, чтобы он затмил твою достохвальную заботу о царстве, о строении новых городов и посадов...

– Чебоксары!

– Козьмодемьянск!

– Болхов!

– Орел!

– Епифань!

– Венев!

– Арзамас!

– Алатырь!

– Кокшайск!

– Тетюши!

И еще много городов назвали они, стараясь друг друга перекричать.

Богдан Бельский сказал, что на рубежах до осьмидесяти крепостей русских, а в них и ратные люди, и пушки. Сумеют они оградить царство со всех сторон.

Царь замахал на них руками:

– Полно! Полно! Не шумите! Слышу, не усердствуйте!

Когда стихло, он сказал с упреком в голосе:

– А Москву... родной наш город... колыбель царского рода... Москву не уберегли! Не постыдно ли?! Отдали ее на сожжение крымскому хану. Кругом Кремля развалины и пустыри. Десять лет прошло с той поры, а мы до сего дня не можем оправиться от того пожара. Вшестеро менее прежнего стало народу в Москве. Спросите у бродяги, коего вы отправили в каземат, переживет ли добрая слава худую обо мне? Он скажет: худая слава останется на все времена о царе Иване. Молитесь же Богу, чтобы не покинула меня бодрость духа, чтоб снова поднялся я на высоту трона.

Иван Васильевич приблизился к реке, поднял камень и бросил в воду. Задумчиво всматриваясь в круги, туда, где утонул камень, он сказал, усмехнувшись:

– Вот и нет его!.. Так и царь ваш. А тогда что?!

Он закрыл глаза и долго стоял неподвижно, не трогаясь с места.

– То-то и Курбский, и иные изменники радуются там, в Польше, нашему горю! – тихо про себя промолвил он и вдруг громко сказал, грозясь пальцем на запад: – Рано радоваться!.. Русь сильна! Русь – святая! Не задавить ее! А царь одному Богу ответ будет держать!

Опустив голову, он стоял некоторое время в раздумье.

– Ну, вернемся во дворец. Холодно мне, дрожу.

Через Тайницкие глухие ворота царь со своей свитой последовал в Кремль...

Борис Федорович Годунов, находившийся среди вельмож,

сопровождавших царя, держался в стороне. Ему всегда было не по себе, когда ближние к царю бояре рассыпались в льстивых словах угодничества. Тогда он молчал. Ему хотелось вести беседу с царем по-деловому. Он твердо усвоил себе, что главная основа царской власти – мелкий служилый люд, дворяне, дети боярские, дворовые и городовые, сидевшие в обезлюдевших поместьях и вотчинах. Они далее не в силах выносить на себе тяготы военного времени. Ведь на них и на их тяглых людей свалилось все бремя ливонской войны и охрана рубежей от Польши, Литвы и татар. Военная повинность не давала им и короткого отдыха. Военные неудачи в самом деле потрясли государство до основания. Мечта о Варяжском море завела самого царя и весь народ в тупик. Как выйти из этого тупика? Вот о чем надо говорить с царем его ближним людям.

Иван Васильевич заметил молчаливость Годунова.

– Ну что же ты, Борис, все помалкиваешь? Аль и ты приуныл, аль и ты в досаде на своего государя?!

Годунов вздрогнул, очнулся от раздумья.

– Унывать да плакаться, государь, только Бога гневить. Не таков я. Как ни тяжело нам – сил у нас много. Птице даны крылья, человеку – разум. Бог милостив – сумеем послужить государю и родине с честью!

Годунов искоса бросил недружелюбный взгляд на любимцев царя: Богдана Бельского и Никиту Романова. Не доверял им Борис, опасался их соперничества у трона. Лелея мечту

быть первым у царя, Годунов старался держаться в стороне, когда другие норовили стать поближе к царю.

– Дело молвил, Борис! – сказал с добродушной улыбкой царь. – Мы еще с тобой на Студеном море попируем да иноземным гостям таких дворов понастроим, каких ни у одного короля не найдут. Созови-ка ты мне поморцев-мореходов. Обсудим с ними сообща: как нам по ледовым водам ходить... Люблю слушать их. Да и крепость им надо там иметь, чтобы она страшилищем для недругов была... Пушек сгоним туда поболе, к монастырю святого архангела. Андрейку Чохова с товарищи поднимай. Пускай оснастят нарядом крепость на том море. Заставы крепкие надобно там понаставить. Береженого Бог бережет. А тут, в Москве, помолимся, чтобы север поборол запад. Пускай и в холоде не угасает царская дума о Западном море!

В полночь царь Иван разбудил постельничьего Михаила Поливанова и сказал ему, чтобы привели во дворец того человека, с которым повстречался он, царь, на берегу Москвы-реки, под кремлевской стеной.

Не спалось царю: мучило сомненье – не угасла ли в народе покорность после неудач, которые постигли московское войско на полях сражения?! И вообще, что думает теперь черный люд о своем государе? Пристава и послухи уверяют, что в народе – прежняя любовь к царю. Но как этому верить?! Он, государь, хорошо знает повадки своих слуг розыскного

дела. Они запуганы им же, самим царем. Разве не он зачастую избивал своих послухов за плохие вести, которые они ему приносили?! Теперь они из опасения разгневать царя говорят одно хорошее, избегают правды, не хотят гневить его. А у этого бродяги глаза дерзкие и речи смелые: человек решился на все и не боится темницы и плахи. Такого любо послушать с глазу на глаз, без посторонних людей. Он может оказаться полезнее приказных соглядатаев, сумеет вовремя остановить царя. Кто бы ни был он – одно правда: этот бродяга лучше его, царя всея Руси, знает народ. В этом его сила. В этом его власть над царем. Да! Власть.

Он, царь, теперь недаром с тайным нетерпением и тревогою ожидает привода бродяги.

Послышались шаги. Тяжелые, неторопливые шаги, лязг цепей. Иван Васильевич приоткрыл дверь в коридор, заглянул – темно, шаги приближаются. Холодок пробежал по телу.

«Он!» – Царь перекрестился на икону, сел в кресло, принял вид осанистый, гордый. Бледный свет огней полночного светильника серебрил парчовую ткань царева кафтана. Напряженно, в ожидании, вытянулось исхудалое, крупное лицо царя Ивана.

Раздался стук в дверь.

– Войди! – суровым голосом негромко произнес царь.

В горницу вошел Поливанов, ведя за руку умышленно, с озорством гремевшего ножными цепями дерзкого, непокор-

ного узника.

Царь приказал Поливанову удалиться в соседнюю горницу. Некоторое время молча вглядывался он в лицо незнакомца. Да, глаза не те, что у царедворцев: зеленые, простые, гордые, слегка удивленные, как у святых мучеников на иконах. Мелькнула мысль: не изображают ли богомазы под видом святых мучеников на образах народ, недовольный царем, черный люд? Богомазы ведь тоже мужики! Свою мысль могут вложить...

– Кто ты?! – строго спросил царь.

– Чернец я, ученик святого мужа, а ты держишь его столько лет в заточении в Тверском Отроч-монастыре, – смело ответил узник. – Звать меня Гавриил.

– Ты ученик Филиппа?! – ласково, тихим голосом спросил царь.

– Не отрекаюсь от святого старца! Муж, сильный своею верою и правдой. Не он ли воздвиг крепость веры нерушимую на Студеном море? Среди вод ледовых, бездонных воссияло, яко солнце, его правдивое, доброе слово. И все обиженные тобою тянулись к нему, как трава из-под снега тянется к солнцу. И всем он давал мир и утешение.

– Но чего же ради ты пришел в Москву с берегов Студеного моря?

– Норовил увидать тебя, чтоб сказать тебе правду в глаза. Хочу умереть я тою же смертью, что грозит митрополиту Филиппу, – в узах, в темнице.

Иван Васильевич усмехнулся:

– Умереть мог бы ты и на острове, сам обрядив себя в железа. Не за тем ты пришел в Москву! Будь правдив! Коли ты ученик святого мужа, поведай мне, своему государю, пошто ты пришел в Москву?

Усмехнулся и Гавриил:

– Привык ты к обманам, государь! Смешно! Никого так много не обманывают, как царей... – Старец засмеялся. – Редко ты слышишь правду, государь. А от своих ближайших слуг – никогда. Несчастный ты! Жаль мне тебя. Малому человеку не грех обмануть царя. Простительно. А тебе не след и дивиться тому. Дело обычное во дворцах.

Иван Васильевич нахмурился.

– Не все меня обманывают. Есть правдивые слуги, которые любят меня, и я их люблю. Их немало.

– Слушай, великий государь! Преподобный Максим Исповедник говорил: «Усматривающий в сердце своем хоть тень ненависти, недоверия или презрения к другим – чужд любви, любовь не терпит оного. Как одно воспоминание об огне не согревает тела, так вера без любви не производит света видения и озарения». И я тебе говорю: государь, если не желаешь отпасть от любви народной, не допусти брата своего уснуть в огорчении на тебя и сам не усни в огорчении от него. Ищи правду не во дворце своем, а в простолюдстве. Чистая душа та, что свободна от страстей и непрестанно веселится доброю любовью к ближним. Во всех наших делах

Бог смотрит на намерения наши: ради чего они? Спасибо, государь, слушаешь меня с терпением, без гордыни! Бью челом! Желаю не зла тебе, но добра!

Царь с любопытством слушал, как простой человек осуждает его, жалеет... Будто он выше царя. Ему не хотелось перебивать странника. И прежде того царь собирал во дворце юродивых, чтобы послушать их. Ему казалось, что их устами говорит сам народ.

– Бог простит тебя, злосчастного! – грустно сказал царь, дослушав речь поморца. – Меня все учат, как неразумное дите. И я слушаю, ищу правды... В твоих словах она есть, и хотел бы я знать: что говорят обо мне в народе?

– Ничего, батюшка государь, ничего... боятся. Я не страшусь, а они боятся тебя.

Немного помолчав, царь продолжал:

– Гавриил, молвил ты, якобы Господь следит – ради чего творим мы дела свои. Он видит: ради счастья государствия нашего творю я их. Хотел я стать твердою ногою на западном Варяжском море, но, увы, – Бог не судил мне добиться того.

– Великий государь, знаю, ведаю про то – много крови пролил ты ради языческого моря, многие беды и напасти навлек на свой народ ради того же, но не есть ли у тебя славное Студеное море?! И крови проливать не надобно, и народу по душе то святое море! Ты забыл о нас. Не всуе иноки наши обрели на нем обетованную землю. Обрати лицо твое на север и увидишь там среди снегов и льдов истинный свет

Христов!

– Дело говоришь. Но, Гавриил, все же не поведал ты мне: зачем пришел в Москву? Путь твой был долог и опасен, стало быть, не попусту ты прибрел сюда.

– Коли требуешь, слушай, государь! Пришел я искать денег. Порешили обиженные тобою старцы и чернецы построить большой корабль, на котором и умыслили уйти с Соловецких островов в иные места, чтоб подальше быть от тебя, ибо не могут они тебе простить опалы на митрополита Филиппа. Осьмнадцать годов был он у нас игуменом и сделал удобной для обитания обитель: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга, провел через леса, горы и болота дороги, устроил нам каменную водяную мельницу и для нее провел воду из пятидесяти двух дальних озер большого Соловецкого острова. Много добра сделал святой отец для нас!.. И за то постигла святителя твоя жестокая кара... По-Божьему ли это?!

Иван Васильевич терпеливо выслушал старца, а потом сказал:

– Будь моим слугою. Задумал я большое дело на том море. Дороги мне те, кому известны студеные воды, нужны они нам, и никакой опалы не падет на Соловецкую обитель – врут мои враги! Пуще прежнего я возвеличу обитель. Не верь злоречию! С твоих ног снимут железа, дам я тебе охранную грамоту, дам тебе жалованье и свой царский наказ, а ты будешь с моими людьми вершить государево дело. Готов ли?! Спа-

сибо за правду! Помогу я инокам! Помогу! Отвечай: согласен ли?

Недолго думал Гавриил.

– Буде то правда, что не ляжет опалы на наш святой монастырь и будто ты его поддержишь своею царскою доброю волею, – стану верным слугой твоим, государь... Лягушка, и та хочет жить, а человек и того больше. Ради пользы монастырской братии, ради устремления очей твоих к нашему морю, приму на себя тяжкую неволю служения тебе. Дитя поймет, что не ради того, чтобы сидеть в кандалах, прибрел человек в Москву. И соловецкие иноки возрадуются, понеже не меч и разорение сулишь ты им, а великое полезное обители благо. Аминь! Не страшусь ни тюрьмы, ни казни и не жажду царских милостей. Одного добиваюсь: счастья людям своей обители, и коли смогу быть им полезен, то и слугой твоим быть готов, да и на плаху готов. Пойми же нас, государь!

Иван Васильевич позвал Поливанова, приказал ему снять с Гавриила кандалы, накормить его и поместить на жительство в Кремле, а затем привести его к присяге на верную службу царю.

Оставшись один, Иван Васильевич подошел к окну, веселый, довольный. Доброе дело освежило душу его.

Светало. Перекликались петухи. На площади были видны одинокие богомольцы, пробиравшиеся в Успенский собор к утрене. Кое-где сторожевые всадники дремали на конях, утомленные ночными объездами.

Царь пошел в свою опочивальню. Хотя всю ночь и не спал он, теперь, однако, чувствовал себя бодрым и сильным: можно привлечь на свою сторону и малых, черных людей, можно!.. Поменьше строптивости, побольше милосердия к людям! Так ему теперь казалось. Так ему хотелось думать о простых черных людях.

IV

Никита Васильевич Годунов сидел под густолиственным древним кленом на скамье около дома и, насупившись, усердно чистил песком лезвие сабли, подаренной ему государем некогда, в годы ливонских походов. Никита влез в ту пору на стену крепости Витгенштейн вслед за изрубленным немцами в куски Малютой Скуратовым и сбросил со стены в ров Малютиных убийц. Государь пожаловал ему дорогую саблю в украшенных золотом ножнах.

Со двора было видно Москву-реку, пышные заливные луга на том берегу. Все это, освещенное розовым предзакатным небом, навевало на душу Никиты мирное, спокойное, семейное настроение.

Пора заняться и домом и огородами и почистить висевшее в бездействии оружие.

Правда, время далеко не мирное и много тревог и забот окружает служилого государева человека. Особенно его, Никиту Годунова. Государь поручил ему охрану Москвы от раз-

бойников, смутьянов и иных лихих людей. Но бывают же такие минуты у каждого государева слуги, когда он вдруг вырывается и умом и душою из плена хлопотливой служебной суеты и, словно человек, погружающий свое истомленное зноем тело в воду, уходит в тихую повседневность домашнего очага. И тогда его радует всякое, даже самое маленькое, ничтожное дело, которое он делает на пользу своей семьи. Вот и Никитина сабля могла бы висеть и дальше на стене, украшая ее богатыми ножнами, а почему-то понадобилось ее почистить, хотя ее никогда и не приходится на себе носить, но было приятно заниматься этим делом.

Супруга Никиты Годунова, Феоктиста Ивановна, высокая, стройная сорокалетняя женщина, суетилась в девичьем терему, прихорашивая дочь Анну.

Обе они были довольны тем, что Никита Васильевич дома.

В пышные косы дочери мать вплетала голубые шелковые ленты, напевая про себя. На столе лежал белоснежный, вышитый мелким жемчугом кокошник.

Феоктиста Ивановна выглядела много моложе своих лет. Матовый румянец, живой, подвижный взгляд темных глаз говорили о ее здоровье и об ее довольстве жизнью.

Анна, пятнадцатилетняя девица, сидела тихо, послушно нагибая голову, которой с такой ловкостью распоряжалась ее мать.

Анна – невеста, на выданье, сватаются к ней женихи, да

только Никита Годунов не склонен торопиться отдавать в чужие люди свое единственное, любимое дите.

Хорошо помнит Никита Годунов, какое испытание выпало на долю его жены Феоктисты Ивановны в первом ее замужестве с Василием Грязным. И еще лучше то знает сама Феоктиста. Много слез, много мук выпало на ее долю в те времена. Да и не только она, но и покойный отец ее и покойная матушка немало горя и унижений перенесли, когда в нарушение всех уставов, Божьих и государевых, пришлось ей, Феоктисте, бежать от ненавистного мужа под родительский кров.

Об этом не раз рассказывала она своей дочери Анне. Та всегда слушала мать со слезами. Ведь она уже и сама теперь стала большая. Любит она и отца и мать, но появилось внутри какое-то иное чувство, которое толкает ее куда-то прочь от родительского дома. Грешно думать об этом, грешно и скучать в родительском гнезде, но... тяжко... ах как тяжко постоянно находиться взаперти! Хороши отцовские хоромы, есть в них уютные горенки с многоцветными оконцами, с позолоченными скамьями и расписными узорчатыми потолками, с высокими пуховыми постелями и шелковыми покрывалами, да все это с каждым годом в глазах Анны становится привычнее и удаленнее от ее жизни, от сокровенных ее беспокойных желаний, закравшихся как-то незаметно в душу.

Из дома выходить отец разрешает только в церковь да в сад, что вокруг хором, да и то под присмотром старой нянь-

ки или матери. Чужим людям на глаза показываться тоже не велено, да и смотреть ни на кого не положено.

Самое матушку, Феоктисту Ивановну, отец прячет от всех глаз в четырех стенах своих покоев. И ей, как и ее дочери, приходится убивать время только на шитье, вышивании, прядении и вязанье.

И матери и дочери от скуки доставляет удовольствие, сидя перед зеркалом, натирать свои лица белилами, а щеки и губы красить румянами. Тогда все-таки веселее бывает на душе. Но зачем? Для чего?!

Отец строг. Даже в церковь входить он разрешает им в особую дверь со стороны безлюдного погоста, а в церкви становиться на отгороженное для женщин место за решеткой на левой стороне церкви, укрытой от глаз мужчин.

И хотя Анна горячо любит отца, по никак не может примириться с этим затворничеством. Она ведь знает, что в простом народе девушки и женщины свободно ходят туда, куда им хочется, и часто слышит Анна их веселый смех и песни, что раздаются в роще за оградою отцовской усадьбы. Коровницы и те лучше, свободнее живут, чем она.

Диву дается Анна, глядя на свою мать. Та спокойно и с видом полного довольства соблюдает всю строгость обычая в доме и не тяготится своей теремной жизнью. Во всем она послушна своему супругу, и опускает покорно взгляд при его появлении, и краснеет, как девица, которая впервые видит своего суженого-ряженого. Она не смеет при нем громко го-

ворить и смеяться прежде, нежели не засмеется он сам.

Анна понимает, что грех осуждать родителей даже в мыслях, и она не раз со слезами просила Бога о прощении ей грешных мыслей, однако от этого ей не было легче – грешные мысли не покидали ее.

Сегодня с утра матушка проводит с ней время, поучает ее, как надо быть в доме порядливой хозяйкой и как богоугодно себя содержать в своем девстве.

Косы были заплетены. Феоктиста Ивановна вместе с дочерью вышла на красное крыльцо покормить ягодами маленького медвежонка, привязанного к старому развесистому дубу, украшавшему двор годуновской усадьбы. Медвежонок, увидев их, поднялся на задние лапы, часто моргая слезливыми глазами.

Но только они успели сойти с лестницы, как услыхали топот многих коней, приближавшихся к усадьбе.

Они увидели Никиту Васильевича, побежавшего к воротам, а с ним двух привратников. Вскоре ворота были открыты, и во двор въехали несколько стремянных стрельцов, окружавших повозку Бориса Федоровича Годунова.

– Рад видеть тебя, племянничек! – низко поклонившись Борису Федоровичу, крикнул Никита Васильевич.

– Принимай, дядюшка, гостей! – вылезая из повозки, промолвил Борис Годунов.

Облобызались. Вслед за Борисом из повозки вышел незнакомый Никите молодой человек.

– Привез к тебе по государеву приказу юнца... Вот он: прозывается Игнатием, а по отечеству Никитичем Хвостовым. Люби и жалуй!

Никита Годунов от неожиданности опешил, оглянулся – увидел жену с дочерью и совсем растерялся.

– По государеву приказу?! – смущенно и с робостью в голосе переспросил он.

– Так угодно его светлости, батюшке Ивану Васильевичу.

Громко и внушительно произнеся это, Борис Федорович улыбнулся.

– Да, как же... это... так?! – совершенно сбитый с толку развел руками Никита.

– Дядюшка, послушание паче молитвы и поста. Смирись!

На лице Бориса исчезла улыбка. Лицо стало строгим.

Никита тяжело вздохнул, недоуменно покачав головою.

– Да что же это ты гостей-то на дворе держишь? Так ли ты должен принимать царского боярина?!

Никита засуетился:

– Бог спасет! Прости, Борис Федорович, своего дядьку. Вот уж истинно – ум без догадки и гроша не стоит. Изволь, боярин, на красное крыльцо жаловать.

Борис Годунов осмотрел сопровождавших его всадников и сказал Никите, чтоб отвели их на дворню и угостили квасом да накормили бы их без обиды.

Никита приказал воротнику отвести стрельцов на усадебное подворье, затем повел Бориса Федоровича и Хвостова

к красному крыльцу. Там уже ни Феоктисты Ивановны, ни Анны не было. Они стыдливо удалились в дом.

– Бог спасет, родной мой Борис Федорович, не ждал я и не гадал, чтобы его царской милости, Ивану Васильевичу, охота припала обо мне вспомнить... – говорил взволнованно по дороге во внутренние покои Никита Годунов. – Да и как понять волю государеву, чтоб мне молодца сего в жильцы поместить?

– Воля государя не судима, – нахмурившись, ответил Борис Федорович. – Воля царя – воля Божья. К тому же ты гордиться должен, что государь изволил вспомнить о тебе. А ты, – произнес Годунов, обратившись к Хвостову, – Бога вечно повинен благодарить, что царь вырвал тебя из омута житейского бездорожья да в добрую, христианскую, верную государю семью вселяет. Считай моего дядюшку Никиту своим отцом и повинуйся ему во всем неукоснительно. Коли будешь учиться доброму, худое и на ум не пойдет. Скупо говори, жадно слушай. Много всего повидал дядя Никита, и не худо бы тебе его послушать. На святой Руси он честно послужил государю: двум господам не служил, не уподобился той птице, что свое гнездо марает, а посему и голову свою сохранил.

Войдя в столовую горницу, все трое помолились на образа святых угодников. Никита и Борис Годуновы еще раз облобызались, стали друг против друга, с поклоном сказав: «Дай Бог здоровья, спаси Христос!» Хвостов обернулся к Годуно-

вым и почтительно приветствовал поясным поклоном сначала Бориса Федоровича, затем Никиту Васильевича. После этого скромно отошел в сторону.

Никита Годунов отвел Бориса в соседнюю горницу и там тихо, дрожащим голосом сказал:

– Как же так? Ведь у меня дочь – девица на выданье... Непригоже ей будто бы с парнем-то встречаться под отцовской кровлей... Я ото всех ее хороню... Помилуй, батюшка боярин!.. Не обессудь!

Борис рассмеялся.

– Бедная память у тебя, дядюшка, убогая. Уж не такой же ты дряхлый, не такой старый, чтоб забывать... Не видать пока ни единого седого волоска в голове твоей, да и в бороде тож... Забыл ты, как ходил сам к сотнику стрелецкому да тайком любовался на его дочку Феоктисту, на чужую в те поры жену, да как отбил ты ее грешным обычаем у Васьки Грязного. Помнишь, чай?! А что, кабы в те поры тебя не пускали в дом сотника – была бы твоею женою Феоктиста Ивановна?! Стало быть, выходит, что в юности просишь, то в старости бросишь. Так, что ли?! Не дело – скопидомничать, Никита! Превыше всего – праведное выполнение указов царских. И не думай, Никита, что сие – блажь государева. Скажу прямо: по душе пришелся государю парень, и хочет он в нем слугу верного найти, а тому ты должен всемерно помочь. Да от колычевской колыбели надобно его подале отвести. Идем! Угощай нас! Полно чваниться!..

Никита в глубоком раздумье повел под руку Бориса Годунова в столовую горницу.

Зарево не сходит с небес.

У польско-литовских рубежей русские и белорусы жгут свои деревни, бегут в леса, собираются скопом, нападают на королевские отряды. По пятам преследуют чужеземцев, остервенело бьют их чем попало, как лютых врагов Московского царства.

На пустынных пепелищах воют голодные псы; копошатся около тлеющего мусора вороны.

Нечем тут поживиться немецким и угорским наемникам воинственного короля Стефана Батория.

В растерянности, тупо созерцают они обуглившиеся останки деревень, подозрительно озираясь по сторонам. Обманулись в своих надеждах! Проселками, на обратном пути в королевский стан, трудно им удержаться от глухого ропота; клянут польских вельмож: обещали поживу, а где она?!

В московском Кремле царь Иван со своими ближними боярами дни и ночи обсуждает меры борьбы с врагами.

Захвачено панами и Швецией в Лифляндии многое, за что двадцать четыре года боролся царь Иван; враги на этом не останавливаются. Прут дальше. Им мало, что в жестокой сечи пало множество русских воинов!.. Давай еще крови!

По-великопостному печально звучат колокола, зовущие в московские храмы богомольцев к поминовению павших. Ре-

ки слез пролиты под церковными сводами.

Иван Васильевич после беседы с боярами заперся в своем дворце, объявив себя в «осаде». Никого не допускал к себе, погрузился в тяжелые размышления.

Однажды он приказал позвать к себе Бориса Годунова.

Первые слова его были:

– Франк, наемник свейского короля Делагарда, без корысти, знатно послужил своему хозяину, а мои воеводы, русские, наши люди, не все так служат мне. Не измена ли тут?! Борис, разогнал я опричнину, не напрасно ли?

Годунов ответил, после минутного раздумья, спокойно, кротко:

– Не гневайся, государь! Силы неравные! Против нас полчища несметные. Наше славное войско притомилось в ратных делах... Воеводы не повинны в том злосчастии. Судьбы Господа неисповедимы. Испытания, ниспосланные нам Господом Богом, быть может, и во благо нашим людям. Темная ночь сменяется ясным утром. Такая ж смена бывает и в жизни царств.

Иван Васильевич нахмурился.

– Но как быть царю?! Что скажешь о царе?!

– Премудрыми делами ты, государь, на все времена прославил имя свое, – ответил Годунов, повторив то, что почти каждый день приходилось говорить царю в ответ на его вопросы.

– Однако царь сгубил ради моря столь великое множество

народа – и не добился ничего.

И эти слова уже не впервые произносил царь.

– Неправда, батюшка Иван Васильевич!.. Не прошли те года нарвского плавания государству без пользы. Народы аглицкие, дацкие, гишпанские и все другие, латинской веры, побывали у нас, и многие товары незнаемые возили к нам, и наши товары прославили на весь мир. Поистине, великое дело ты совершил, государь! К тому же у тебя, государь, как о том ты говорил, есть Студеное море! К нему привычны мы с давних пор, и народы Запада глядят сюда издавна... Торговые люди, государь, не спесивятся, плавают и к Студеному морю из года в год с великою охотою.

И об этом разговор шел уже не раз.

Царь Иван поднялся; ласково улыбнувшись, покачал головою:

– Спасибо тебе, Борис! Ты с усердием доброго слуги утешаешь меня. Добро! Похвально. Мне это нужно. Сам Господь Бог вразумляет тебя говорить мне приветливые слова в моем несчастье...

Иван Васильевич обнял и облобызал Бориса.

– Вижу в тебе твердого мужа. Будь поближе к моим царевичам... Особливо – к Ивану. Внуши им, что не прихоти ради их отец бился за Варяжское море.

Вдруг, тихо понизив голос и приблизившись к самому уху царя, Годунов сказал:

– А со Стефаном Баторием, государь, – прости меня, –

пришло время заключить мир. О том, как то сделать, надо подумать особо. Велики обиды, государь, что нанес тот Стефан чести и вере нашей. Но Русь в долгу не обвыкла оставаться. Светил бы месяц и звезды, согревало бы нас красное солнышко, а русская сила расти будет. Она еще свое слово скажет. Вырастет вот какая!

Годунов широко раскинул руками. Молодое, мужественное лицо его раскраснелось.

Иван Васильевич с удивлением остановил свой взгляд на Годунове:

– Мир?!

– Истина, государь.

– Говоришь, вырастет? – прошептал царь. – Вон ты какой!

– Вырастет! – твердо сказал Борис, обтирая пот на лбу, выступивший от волненья. – Вижу, государь, вижу славу нашу!

Иван Васильевич испуганно схватил его за руку, прошептав:

– Тише!.. Тише!.. Молодой ты! Горячий! Не услыхал бы кто! Думаю, и впрямь помиримся пока со Стефаном... помиримся... Надо подумать – как? «Слава!» Чудно ты сказал! Кругом беда, а ты... «слава»! Борис, ты не сильный. И не храбрый, и не смелый, а властвовать можешь... Твои честные глаза обманут хоть кого. А меня не обманешь! Нет! Какая «слава»! Не сделал я того, что заповедано мне! Мой отец, дед осудят меня там, в вышнем мире. Однако спасибо тебе! Ты

веришь, ты ждешь славы, ты не склонил головы перед несчастьем. И не склоняй! Мне такой нужен! Царству нашему такие нужны. Мой царевич Иван не таков... И Федор не таков... В одном бушует страсть властолюбия и самовольства, а любви к труду не вижу, в другом – малоумие смешалось со страхом и тоской... Он все молится о счастье, а не добивается его. Не радуют они меня. Ох, не радуют! Не таков я!

– Государь, не мне судить о том. Твои дети – мои владыки; в них твоя царственная кровь. Это ставит их выше нас.

– Они выросли! И чем они старше, того более я их опасаюсь, Иван вкусил яд властолюбия. Он честолюбец, он избалован мною! И матерью! Моя юница, мой ангел-хранитель, покойная Анастасьюшка, любила его. Она пророчила ему счастливую жизнь, без страха, без тоски, без сомнений... Она просила тогда подарить ему шлем и доспех. Детский его шлем я берегу. Смотрю на шлем и вспоминаю Анастасию. Нередко и по ночам любуюсь им. Бедная моя, святая моя, царица Анастасия!.. Моя гордая, прекрасная жена! О, сколь много я согрешил перед тобой и ныне грешу! Окаянный я мытарь!

Закрыв глаза, Иван Васильевич опустился в кресло. Голова его устало поникла на груди. Едва слышно он прошептал:

– Перемирие! Так ли это?!

Годунов отошел к окну, отвернулся, услыхав шепот царя: «Да! Пусть будет так!»

За окном тихий отдаленный благовест. Наступали сумер-

ки. Кремлевский двор опустел. Вчера один мужик говорил на царевом дворе, что в деревнях хлебами довольны. Годунов вспомнил об этом. Такой незврачный, маленький, общипанный какой-то мужичонко, а говорит с таким достоинством об урожае. Урожай! Его с трепетом ждет вся Русь. Истомился народ от голода и мора. Обнищал от войны.

– Ты о чем при царе задумался, Борис?! – раздался тихий, прозвучавший подозрительно голос Ивана Васильевича, вдруг открывшего глаза.

– Думаю о хлебе... Народ ждет урожая...

– И я жду его...

Царь, как бы ухватившись за какую-то сокровенную мысль, воскликнул торжествующим голосом:

– Хлеб сильнее всех владык в мире. Чудно!

Посидев некоторое время молча, он усмехнулся:

– Мы по вся дни чего-то ждем... Вон мои бояре, почитай, два десятка с лишком ждали, когда я умру, а я все жив, пережил многих ожидальщиков. Я тоже ждал, всю жизнь ждал, когда же я буду править царством один... как хочу! А вот видишь... До сей поры жмут меня бояре. Они переживут еще многих царей. Боярская дума – сила! Разве ее переживешь?! Но то, чего я жду, будет, будет.

И опять шепотом, едва слышно, произнес:

– Боярской думе я вынужден пока поклониться... Вяземский, Басмановы, Грязные, Малюта!.. Царство небесное! Нет уж их! Да и помогли ли бы они царю теперь? Не то время.

Царь приподнялся и помолился на икону.

– Да. Нагрешила вдосталь моя опричная дружина. Бог с ней! Жаль Малюту. Недолго мне пришлось пожить с ним – добрым, храбрым рыцарем. Погиб он, изрубили его проклятые немцы. Такие люди на своем куту не умирают.

Годунов сказал с гордостью на лице и в голосе:

– Позорят его, сыроядцем величают, а того не возьмут в толк, что своею жизнью и смертью Григорий Лукьяныч пример любви к родине показал. Первый взошел на немецкую крепостную стену, бился до последней капли крови. Пал, как честный, бесстрашный воин. Его смерть охрабрила войско – и крепость была взята. Я слышал злоречие и хихикание даже и по сему случаю. Опричнины не стало, государь, но верных, преданных тебе людей не убавилось, а стало еще больше. Опричные люди не без пользы для царства жили... Малюта убит, но он вырвал с корнем измену...

– А ежели Божья воля явится убрать и меня?! – заговорил царь. – То-то шуму будет! И многие из моих ближних вельмож отрекутся от меня... И никаких благих дел моих не почтут добрым словом. И, как сказано у пророка Ездры: «Возгласят „аминь!“ и, поднявши руки кверху, припадут к земле и поклонятся Господу!» Будут благодарить его, что убрал неугодного им царя. Подойди!

Годунов приблизился к царю.

Царь притянул его за руку к себе:

– Наклонись! А царевич Иван как?! – прошептал он ему

на ухо. – Не замечал ли чего? Не шатается ли?!

Годунов ответил не сразу. Задумался.

– Ну, ну! – нетерпеливо дернул его за рукав царь. Щеки Бориса коснулось горячее дыхание царя.

– Нет, великий государь, ничего не замечал. Я – малый чин перед лицом государевой семьи. Мне ли судить?! И думать я боюсь о том. Молю тебя, великий государь, не спрашивай меня о детях своих.

– Полно! Не хитри! Ты что-то знаешь?! А?!

– Ничего, милостивый батюшка государь, не ведаю.

– А я слышал, будто и он против меня... И будто осуждает меня за неудачи в Литве. Так ли это?

– Не слыхал я того... Мню я – умышление то злых, неверных людей. У многих на языке мед, а под языком лед. Прости меня, великий государь, не пытай! – Годунов опустился на колени. – Мне ли судить о том?!

– Так вот я тебе скажу: молод еще царевич, слушает людей. Последи! Вон около него Щенятев Петька крутит, как пес, хвостом. Нашептывает ему. Опасный человек. Хотел я Петьку удалить от него – не дает, сердится. Пожалел я его. Да! Жалость моя не в пользу ему. Увы! Не пришлось мне обучать детей своих, как бы того хотел я. Император Феодосий Великий искал наставника для сыновей своих Аркадия и Гонория. Он желал найти человека ученого и благочестивого. Ему указали на Арсения. Император принял его с величайшим почетом. Он призвал сыновей и, передавая их

Арсению, сказал: «Будь им более отец, нежели я, – ибо важнее дать детям разум, нежели жизнь, – сделай их добродетельными и мудрыми, сохрани их от соблазнов юности, и Бог воздаст тебе за труды твои. Не смотри на то, что они – сыновья царя, требуй от них полной покорности!» Мои же монахи многое истолковали Ивану и Федору в ущерб правде и не на пользу нашему царству. Не учителями они были, а льстецами и ласкателями, покорными холопами царевых детей.

– Одно осмелюсь молвить тебе, батюшка государь. Твое доброе сердце во зло употребляют. Ты зело печешься о подданных своих, и то во грех иных вводит и в заблуждение. Многие ни во что сочли твое благорасположение, так и монахи те, и многие до плахи довели себя в те поры своего распутства. И позволю себе я сказать: вон Щелкаловы да и Никита Романыч. На высокие посты возведены, обласканы тобою, а с голландцев мзду якобы тянут непомерную и тем аглицкую страну от нас отталкивают, обижают нужных людей... Забыли, что неправедно нажитая прибыль – огонь. В том огне сгорают государствия важные дела.

Иван Васильевич вскочил с места, сердито стукнул посохом об пол:

– Что ты сказал? Щелкалов, Никитка?!

– Точно, государь.

– А ты почем знаешь? Борис, будь прям! Не хули!

– Писали о том сами аглицкие люди...

– А где то писание? И справедливо ли оно?! Зачем дер-

жат его в ящиках Посольского приказа?! Не все одинаковы и аглицкие люди... Не всем верить можно! Будь осторожен.

– Оно у меня.

– Читай, коли так. Читай! – снова раздраженно стукнул об пол посохом царь Иван.

– Данил Сильвестр, аглицкий человек, толмач твоей государевой службы, перевел то и целовал крест, что-де писание это есть подлинный перевод того письма аглицкого посла.

– Читай!.. – нетерпеливо крикнул царь Иван.

Борис начал медленно, с расстановкой читать:

– «Объявляю, что, когда я выехал из Москвы, Никита Романович и Андрей Щелкалов выдавали себя царями и потому так и назывались многими людьми, даже многими умнейшими и главнейшими советниками».

Иван Васильевич побледнел, затрясся.

– Буде! Обожди! – махнул он рукой. – Не хочу! Устал. Побереги бумагу... Убери!.. Давай опять говорить о Студеном. Самому бы туда мне... посмотреть бы... Да вот, вишь, хворь мешает... Тебя пошлю... Ты расскажешь, а теперь иди! Оставь меня одного. Дай бумагу! – Царь выхватил ее из рук Годунова. – Однако же помни: царь не отказался и от своих балтийских берегов... Они – извечная земля наша...

Борис поклонился и вышел.

Царь Иван вынул из ларца зеркало и принялся внимательно рассматривать свое лицо. Морщинистое. Желтое. Седина в усах, в бороде.

«Вот она пришла... старость! За моей спиной даже Щелкаловы воровским промыслом занялись!»

Он гневно покачал головою, стукнув ладонью о стол.

Не вовремя старость, не к делу хворь! Воры торжествуют. Слуги развращаются, теряют страх.

«Проклятые!» – Царь с отвращением плюнул.

Ливонские немцы назло московскому царю распахнули дверь Ливонии перед Польшей, Швецией и Данией, чтобы не покориться русскому царству: «Пускай-де Швеция и Дания захватят нашу землю, только бы не русские!» Четверо против Руси! Приходится уступить. Боярская измена принесла свои плоды. Согрешили бояре. На веки вечные запятнали себя. Тяжело бороться царю и с внешними врагами, и с внутренними. Тяжело!

«Пятьдесят лет!»

Царь с сердцем бросил на стол зеркало.

V

Поутру выходит Анна из дома с красного крыльца кормить ягодами медвежонка. Она с детским восхищением следит за тем, как он день ото дня делается ростом больше и бедовее.

Но не только ради медвежонка теперь выходит она во двор. Она узнала, что из своего уединения, с вышки, на нее в это время тайком смотрит он, этот юноша, этот таинствен-

ный Игнатий, которого отец держит отдельно ото всех, не позволяя ему встречаться ни с матерью, Феоктистой Ивановной, ни с нею самой – Анной.

Отец и Хвостов верхом на конях ни свет ни заря уезжают куда-то, а возвращаются в полдень, к обеду, причем Игнатий тотчас же запирается в своей башенке-терему.

Однажды мать проговорилась: отец ездит с парнем на потешные поля, чтобы приохотить его к воинскому делу и к искусству огневого боя под присмотром московских пушкарей.

Но как ни оберегали родители Анну от встречи с юношей, все же однажды они встретились и даже успели перекинуться несколькими словами.

Случилось так.

В субботний день возвращалась Анна с матерью в возке ото всенощной. В одном овражке возок их застрял; лошади не могли вывезти его из глубокой грязи, несмотря на все старание возницы, немилосердно хлеставшего их.

Тою же дорогой возвращался домой Игнатий Хвостов.

Быстро соскочил он со своего коня, привязал его к возку и помог вознице вытащить возок из овражка. Когда Игнатий отвязывал коня, девушка выглянула из возка и спросила, кто им помог выбраться на дорогу. Увидев Хвостова, она смутилась, но как-то невольно крикнула: «Спасибо тебе, добрый человек!» Он разрумянился и, отвесив низкий поклон, произнес тихо-тихо: «Бог спасет, красавица!»

Только и всего. После этого у Анны появилось желание два раза в день ходить к медвежонку. Утром и в полдень. И каждый раз она чувствовала, что на нее смотрит этот красавец, этот сказочный гость, голос которого так очаровал ее. Недаром – она подслушала это однажды в разговоре отца с матерью – его полюбил и сам государь Иван Васильевич. Царь призывал его к себе уже не один раз.

Веселее стало Анне и приятнее смотреть на отцовский дом, на пожелтевшие березки вокруг их жилища, даже на усадебные ворота, в которые верхом въезжает он. А в медвежонке она уже стала видеть не лесного зверя, а своего доброго слугу, тайного сообщника.

Феоктиста Ивановна подметила в дочери перемену. Успешнее спорилось в ее девичьих руках и шитье, и вязанье, и всякое иное дело. Все выполняла она теперь с большою охотою, быстро и легко. И с родителями она стала ласковее. И в моленной дольше, чем обыкновенно, стояла на коленях и усерднее молилась.

Отец был молчалив. Посматривал озабоченно на оживленное, веселое лицо дочери, когда она сидела за прялкой или за вязаньем, а один раз даже произнес вслух, сокрушенно вздохнув:

– Трудно человеку побороть в себе дух сомнения. Прости ты, Господи! Испорчены мы, грешные!

– Господь милостив, простит... – стараясь успокоить мужа, поспешила отозваться на его слова Феоктиста Ивановна.

Шли беспечально дни за днями. И вот однажды государь вызвал Никиту Годунова во дворец и приказал ему немедля снаряжаться в дорогу, сопровождать в Вологду обоз с корабельными снастями. В последнее время стали случаться нападения разбойников на государевы и торговые караваны. Многие крестьяне из разоренных войною и мором сел и деревень ушли в леса и примкнули к ворам. И велел царь написать грамоты к разбойникам, что коли они покинут татьбу и покаются, то государь их простит и на свою службу возьмет. Эти грамоты велел царь раздавать в деревнях по дороге в Вологду.

Никита Годунов, помолившись в Успенском соборе, взял с собою две сотни стрельцов и, провожаемый посадскими ротозеями, двинулся с обозом в путь.

Перед расставаньем с семьей он долго поучал жену и дочь, чтобы они хранили пуще глаза честь семьи. Ни одним словом он не намекнул на Игнатия Хвостова, но и матери и дочери было ясно, о чем идет речь. Благословил жену и дочь, прижал их по очереди к сердцу и помчался без оглядки к своему стрелецкому отряду на тот берег реки Москвы, в Стрелецкую слободу.

Поплакали Феоктиста Ивановна с дочерью, погоревали, а затем с молитвою снова занялись своею обычною работой.

После отъезда отца Анна стала еще чаще кормить медвежонка, в один раз и вовсе осмелела до того, что сама глянула на вышку и увидела его... Игнатия. Он ей делал руками ка-

кие-то знаки. Она ничего не поняла, и ей было очень досадно это. Любопытство ее еще сильнее разгорелось.

Феоктиста Ивановна зорко приглядывалась к своей дочке. Она, как мать, как женщина, втайне сочувствовала ей. Вспомнила свою молодость, свои страдания из-за любви к Никите Годунову, вспомнила о тех преградах, которые мешали ее счастью, и ей стало жаль дочь. Но чем помочь, что можно сделать, чтобы дочь была счастлива?

Старинная русская поговорка гласит, что любви, огня и кашля от людей не спрячешь. Анна, как ни старалась спрятать свои тайные думы о поселившемся в их доме незнакомце, все же не раз выдавала себя. Феоктисте Ивановне немного нужно было, чтобы понять, что дочь думает и страдает о государевом молодце, – «любовь, как говорится, в глазах видна». Да и молодец-то тоже стал беспокойнее и не раз, сидя у себя на вышке, песни заводил, чего прежде никогда не бывало, а пел он очень грустные песни. Мало того, стал часто спускаться во двор, кормить зерном голубей, которых Годунов в изобилии приручил к своему дому.

Феоктиста Ивановна с тревогой наблюдала все это, но поделать ничего не могла, не хватало смелости остановить парня, да и жаль было его и совестно. У нее у самой постепенно стало появляться какое-то нежное, теплое, материнское чувство к юноше, смешанное с жалостью. Самое ее смущали его голубые, опушенные черными ресницами, полные наивного любопытства и как будто молящие о чем-то глаза. А

может быть, только так казалось, что молящие?! Может быть – обычные, как и у всех людей?! Нет! Нет! Молящие.

Борис Федорович упрекал Никиту за суровость и нежелание поселить юношу в его доме. Это слышала сама Феоктиста. Она слышала, как Борис Федорович напомнил своему дядюшке, что сам он в молодых годах не был тихоней и у всех на глазах шел в дом стрелецкого сотника, отца Феоктисты. Стало быть, Борис Федорович не против того... Он добрее!

Много думала обо всем этом Феоктиста Ивановна, многое втайне она осудила в своем муже и особенно – его непомерную строгость к дочери и, наконец, мысленно всею душою стала на сторону Бориса Федоровича: нельзя-де обращать свой дом в темницу и держать дочь в нем наподобие узницы.

Она решила не мешать попытке молодых людей встретиться, усердно помолившись о том, чтобы никакого худа от сего не приключилось.

Сема Слепцов долго ли, скоро ли, но привел-таки ватагу беглых мужиков в стан Ивана Кольцо. Рубаху хоть отжимай. Намучился Семен, а главное, народ ворчать начал, удержу нет!

– Ну вот, – сказал Сема. – Пришли. Где лад, там клад и Божья благодать.

Мужики перекрестились на все четыре стороны.

– Глупый я, черный человек, не родовитый, а думаю: в согласном стаде и волк не страшен, – обтирая пот с лица, с тяжелым вздохом произнес Семен.

Иван Кольцо – рослый, задумчивый детина, с большим вихром на лбу, толстогубый, осмотрел с кислой улыбкой вновь пришедших:

– Голь убогая! Заморыши! Кобыла и та вас всех улягнет. Господи! Где такие родятся?!

Он поморщился, укоризненно покачал головой.

– Кто малым доволен, тому Бог больше даст! Вот как, атаман! А между прочим, подай каждому из нас палец, а мы и руку укусим. Народ зубаст, осерчал. Коли что – не сдержишь, – проговорил Слепцов, кивнув головою в сторону своих односельчан.

– Ты не смейся, Божий человек! – вступил в разговор дедушка Парамон. – Мир по слюнке плюнет, и море выйдет. Народ у нас дружный, охочий, всего натерпелся. Спаси, Господи, и помилуй, если в деле струхнет! Николи! – сказал, с важностью оглядев толпу своих товарищей, и добавил: – Гляди, как смотрят!

Раздались и другие голоса:

– Ты, мил человек, не думай, что криво зачесаны, мысля в нас справедливая... Правды ищем. Семка обещал нас к правде привести. Добьемся ее – где умом, где кольем, рано либо поздно, а добьемся... Тяжко жить в вотчинах. Конец терпенью пришел!

– Добро, братцы! – сказал Иван Кольцо, повеселевший от прибауток вновь пришедших мужиков. – Ого! Ого! Видать, колючие! Гоже так-то! Пора, пора за дубинку взяться!

Он приказал своим есаулам выдать всем им оружие. Замелькали копья, шестоперы, кистени, сабли в руках слепцовских людей, рассевшихся на лужайке.

Место глухое; овраг глубокий, заросший можжевельником и папоротниками, окруженный дремучим бором, а со стороны реки Суры – прикрытый непреодолимым буреломом. На двух высоченных соснах ватажники устроили дозор: двое парней, словно птицы, прилепились к стволам, сидя на сучьях, только лапти сверкают.

Совсем рядом построенная великим князем московским крепость Васильсурск, но это Ивана Кольцо не страшит – чуваши, хорошо знающие местность, держат дозор вдоль реки Суры, и коли надвинется опасность от васильсурского воеводы – чуваши тотчас же уведомят ватагу. Дружба у беглых мужиков с чувашами и черемисой крепкая, надежная.

В откосах оврага ватажники нарыли множество землянок. Устроили там свое жилище. Вырыли место и для укрытия коней. Громадный навес из поваленного березняка соорудили над конским табуном.

– Теперь нас много, и все заодно супротив бояр и купцов, да и царского добра пограбить, коли на то Бог благословит, мы не прочь, – сказал, собрав ватагу в кучу, Иван Кольцо, – и случай такой нам Господь посылает... В Вологду из Москвы

вышел богатый царев караван: там и деньги, и кошт, и одежа. Выходит: надобно нам догнать его, окружить, да и стяжать, Господь что пошлет. Стрельцов при нем двести душ, а нас вдвое больше, да и нападем мы из засады... Мужайтесь, други! Совершим то святое дело. Не так ли?

Загудели ребята. Началась веселая кутерьма.

Руки у всех зачесались. Не нашлось в ватаге ни одного человека, чтоб от такого верного дела отказаться. Накипело у каждого на душе. Правду народ сказывает: несладко жить в боярской да дворянской неволе. Да и засиделись на Суре-реке. Пора!

– Сделайся овцой – волки готовы! – так говаривали деревенские, сбросившие с себя иго барщины. Теперь каждый из них чувствовал себя способным бороться с этими волками, потому что шли сообща, дружной толпой.

Лица ватажников оживились, будто в праздничек. Несчастья бояться – и счастья не видать. Кое-кто в кустарниках молился Богу, обратившись лицом к небу, молился о благополучном походе на царев обоз.

– Кто к Богу, к тому и Бог, – говорили молельщики. – Бог не в силе, а в правде. – И добавляли с улыбкой: – Бог-то Бог, да и сам не будь плох.

Правда?! Не за ней ли гоняется народ, убегая в леса. Правда – светлее солнца, дороже солнца. Правды нет в вотчинах боярских, на усадьбах дворянских, правды нет и в лабазах купецких. И недаром Иван Кольцо постоянно всем говорил:

– За правое дело стой смело! Нас зовут татью, разбойниками, а у нас о правде-то душа более царской да боярской болит. Моя совесть чиста, и ваша совесть должна быть чистой, как у святых угодников.

Рано утром поднялась ватага.

В рассвете прохладного утра четко топорщились вверху, на склонах оврага, сосновые и еловые лапы. По низинам туманило. Холодок забирался под одежду. В тишине слышалось бряцание оружием, ржанье коней, сердитое покрикивание на них ватажников.

– Путь держать будем на Волгу... – сказал Иван Кольцо, – к Ярославлю.

– Воля твоя, атаман!.. – радостно загорланили ватажники. – С тобой хоть за море!

Поп вышел из толпы, прочитал молитву.

С обнаженными головами выслушали его непонятные причитания ватажники, притихли...

– Господь простит рабов своих, коих на грех татьбы толкнуло своевластие и гордыня владык земных! – сказал он, убирая в сумку деревянный крест.

Поп-вассиановец – из заволжских старцев, усердно проклинавший на всех богомольях царя Ивана, благословил ватажников при выходе из оврага и сам верхом на тощей кобыле поплелся за ними.

VI

Сквозь клены пробивались лучи солнца на лесенку, ведущую в светелку Игнатия.

Прислонившись к бревенчатому простенку, стояла Анна в своем нарядном розовом шелковом сарафане, зажимая глаза от солнца. Она как бы невзначай столкнулась здесь с ним, этим загадочным юношей. Он крепко прижал к сердцу ее руку, произнес тихо-тихо: «Господи, не осуди нас!» И вдруг близко подошел к ней и поцеловал.

Она хотела оттолкнуть его и не смогла. Не хватило ни сил, ни смелости, да и жаль стало парня.

– Что ты?! Что ты?! Грешно! – прошептала она, когда он хотел увлечь ее к себе, быстро увернулась и, не помня себя от страха, скрылась во внутренних покоях дома. Но долго еще не покидало ее приятное ощущение его теплых сильных рук, прикосновения горячих губ к щеке, его прерывистого дыхания. В своей горенке она стала на колени и помолилась, прося у Бога прощенья за то, что случилось с ней. Но горечи раскаяния, к великому своему удивлению, не чувствовала она. Нет! Напротив – внутри что-то говорило: «Так нужно! Так нужно!»

На другой день ее мучили стыд и страх, когда она вспоминала об этой встрече с Игнатием.

Вместе с тем было приятно думать, что о случившемся

никто не знает, кроме них двоих, что это ее тайна. Любопытство еще более возросло. Появилось нетерпение. Томило желание поскорее узнать: кто он, о чем думает, о чем может поведать ей? Она почувствовала, что ее опять тянет к нему, к новой встрече с ним, и хотелось, чтобы это произошло непременно скорее, скорее!

Эта новая встреча не заставила себя ждать, – вечером, в сумерках, столкнулись они во дворе около медвежонка, когда она кормила звереныша хлебом с медом.

Неожиданно из конюшни вышел Игнатий. Остановился как вкопанный около Анны. И она уже не испугалась, а вся расцвела от радости, даже вздохнула с облегчением, сказав: «Слава Богу!»

Он заговорил тихо и вкрадчиво:

– Касатка моя, ненаглядная! Как я скучаю по тебе! Господь один то ведает! Пусть свет небесный погаснет, коль не суждено мне видеться с тобой! Ни в чем нет мне отрады, одна ты...

А сказал-то как?! Просто, нежно, словно бы давно-давно дружил с ней, с Анной. Сердце замерло от счастья. Она не могла сойти с места. Он нежно обнял ее стан своей рукой:

– Светик мой, цветочек аленький, посети мою горенку, осчастливь меня, одинокого. А я поведаю тебе о своей жизни сиротской, расскажу все начисто, как на духу. Не с кем мне разделять свое горе и радости. Пожалей хоть ты меня.

Растроганная его словами, она торопливо последовала за

ним.

А когда очутилась в его горнице, ей сразу стало легко, весело, словно улетела она на крыльях из дома в какой-то другой мир, где нет отцовской строгости, нет греха...

Едва дыша от радостного волнения, она прошептала:

– Мне здесь хорошо!

Ее привело в дрожь никогда не испытанное ею сильное, горячее мужское объятие.

– Что ты со мной делаешь?! Милый... милый!.. Грешно!

Игнатий, тяжело дыша, выпустил ее из своих рук:

– Прости меня, неразумного! Не знаю... я ничего не знаю...

Придя в себя, он взволнованно начал рассказывать ей о себе.

Она услыхала: он – круглый сирота, что отца его казнили или убили на войне – он этого сам не знает, а мать сослали в монастырь, после того как он родился. Ей сказали, что ребенок ее умер. Но он не умирал, был взят чужими людьми и детство свое провел в глухом лесу, в мужской обители, где один древний старец умудрил его грамоте, научил читать и древнее греческое писание святых отцов. А когда старец занедужил, то перед смертью приказал инокам монастыря отвезти его, Игнатия, к старушкам Колычевым в Москву – теткам и сестрам казненных бояр Колычевых. Почему его поместили к ним, он не знает, а старец тот оставил после себя много денег и отослал их тем же старушкам. Он был друг митрополита Филиппа, который тоже происходил из рода

Колычевых.

– Рос я среди монастырской братии, читал я там «Апостол» и Библию: о древних царствах, о войнах, о падении царских тронов; пел я стихиры и псалмы, и за то меня уважали в обители... Любил я на коне скакать в погоне за оленями по лесам и дубравам; любил я слушать пенье лесных птиц; научился я различать их голоса. Вместе с иноками я ходил на облавы медведей и диких вепрей, бился с ними один на один и много заколол я копьем диких зверей. А в святые праздники играл на гуслях и пел старинные былины о ратных делах русских витязей... Однажды зашел я в государев сад и пустил стрелу в коршуна. Царь приказал схватить меня и привести к себе во дворец. Он велел удалить меня от Колычевых и свести на вашу усадьбу. Борис Федорович часто берет меня в свои палаты, и там я читаю ему греческие книги.

Он говорит, что скоро царь меня возьмет к себе в дружину во дворец.

С глазами, полными слез, слушала Анна рассказ Игнатия. В терему ничего она не слыхала о том, как другие люди живут на белом свете. И вот теперь ей как-то страшно стало и очень жалко Игнатия,

Внизу раздался сильный шум, послышался громкий плач Феоктисты Ивановны.

Игнатий и Анна испуганно вскочили. Заглянули в окно.

На дворе стоял оседланный конь, а около него – стрелец, покрытый пылью, в изодранном кафтане.

Со всех сторон усадьбы сбежался народ. Бабы подняли вой.

Игнатий и Анна быстро сошли вниз.

Гонец рассказал народу о том, что за Ярославлем, по дороге к Вологде, на стрелецкий отряд, охранявший царский обоз, напали разбойники и многих стрельцов убили, а Никиту Годунова ранили. И находится он теперь в Ярославле, в монастыре, где его лечат знахари травами.

Стемнело. Из-за облаков выглянул месяц, осветив лицо рыдающей Анны.

Феоктиста Ивановна ушла в дом и там на коленях молилась о сохранении жизни мужу.

Игнатий принялся утешать Анну и, незаметно сам для себя, нарушил великий запрет – отвел Анну в ее светелку, куда ни один мужчина не должен был входить. А он мало того что вошел туда, но и стал, утешая, нежно ласкать девушку, целовать.

– Бились мы целый день, – рассказывал крестьянам стрелец, – да их сила велика, и напали они ночью, никто не ожидал того, и многие спали в шалашах. Ограбили они всю царскую казну, что дьяки везли при обозе. Дрались лесные бродяги зло, храбро, не боялись смерти. Немногим удалось спастись от них...

Мужики начали расспрашивать про разбойников, кто они, из каких, чьи.

Стрелец на эти вопросы не мог дать ответа. Мялся, огля-

дывался по сторонам, но так ничего и не сказал мужикам о тех людях.

– Чего ж ты?! – разочарованно вздохнул седенький старичок. – Э-эх, Господи, Господи! Не поймешь, что на белом свете творится!

В столовой избе царевича Ивана Ивановича большой пир. Боярские, княжеские и дьяческие сынки, забубенные головушки, изо всех сил пыжатся друг перед другом показать свою хмельную удаль. Молодой парнишка, безусый, щеголевато одетый, сын князя Масальского – Гришка – вскочил верхом на дьяческого сына Петруху и заорал во все горло: «Айда к аглицкой королеве!» Царевич Иван подбежал к нему и надел ему чашу, тяжелую, серебряную, на голову: «Вот тебе и корона аглицкая». Гришка Масальский свалился на пол под общий хохот знатных юнцов. Чаша с громом покатилась под стол. Боярский сын Енгалычев Михайла, краснощекий, откормленный маменькин сынок, полез под стол, поднял чашу, наполнил ее дополна брагой и выпил ее на глазах у всех до дна.

Иван Иванович обнял двух парней, затянул непристойную песню. Ему с одушевлением стали подтягивать.

Когда кончилась песня, царевич Иван поднялся и громко сказал:

– Вот кабы мы с вами пошли под Псков, на Батория... не было бы того стыда, что видим ныне... Всех бы мы переби-

ли! Всех бы в полон взяли!.. Сенька Милославский у меня был бы первым воеводой... Ты, Гришка Масальский, вторым воеводой... Прости, Господи, меня, грешного, – осуждаю я государя... Все не по-моему идет... Так ли говорю я?!

– Истинно, государь Иван Иванович! Истинно! – закричали полупьяными голосами молодые княжата, боярские и дьяческие дети.

– А теперь выпьем за батюшку государя! – воскликнул Иван Иванович, наполнив свою большую золотую чарку.

Кто-то крикнул: «Девок! Девок!»

Иван Иванович вскочил, оглядел хмельными глазами всех и строго сказал:

– Не забегайте вперед! Государь я ваш или нет? Лобызайте мою руку!

Все бросились к руке царевича, по очереди прикладываясь к ней.

– Или забыли, что я Ваньке Медведеву голову срубил?!

– Помним, батюшка, Иван Иванович, помним, – залепетали юные гуляки в страхе.

– Всех я вас жалую, но всех я вас могу и на плаху свести... – Лицо Ивана Ивановича исказилось злобою, он с силою ударил по столу: – Стань все на колени! Я – ваш государь и владыка!

Вельможные сынки уже привыкли к капризам царевича и знали, что всякая эта строгость его сейчас же сменится безудержным весельем.

Но не успел царевич сменить гнев на милость, как дверь в горницу распахнулась и в столовую горницу вошел царь Иван Васильевич, сопровождаемый Годуновым и Бельским.

Царевич Иван стоял на кресле во весь рост, а вокруг него ничком по полу распластались юные княжата и боярские сынки.

Несколько минут царь Иван молча осматривал находившихся в горнице молодцов, а затем, обратившись к Годунову и Бельскому, сказал:

– Вот глядите на боярских ребят! Любуйтесь боярскими сынками, как я вот теперь любуюсь на своего Иванушку... Каковы же плоды получим мы из сего семени?! О князья и бояре! Плачьте, плачьте! Страшусь я судьбы детей своих и ваших. Несчастные! Они хотят победить скуку от сытости и беспечности умножением забав. Не успеют еще вступить в жизнь – и все уже для них истощено. В своей вельможной молодости они уже знают высокомерное отвращение к жизни, к людям, они уже не смотрят с любопытством вперед. Сие прилично лишь выжившим из ума старикам. Каких слуг ты себе готовишь, царевич Иван?! – громко крикнул царь, ткнув жезлом в сторону лежавших на полу юношей. – Куда ты и себя готовишь, несчастный?!

И, обратившись к Бельскому, Иван Васильевич сказал:

– Богдан, вели выпороть их всех бичом на глазах царевича Ивана.

Бельский приказал боярским, княжеским и дьяческим де-

тям встать. Покачиваясь, глупо улыбаясь, двинулись юнцы вслед за ним.

Царевич Иван хмуро, исподлобья следил за тем, как Бельский уводил его товарищей.

– Оставим царевича одного. Пускай подумает о том, как он будет править царством, коли его отец Богу душу отдаст.

Царь вышел из хором царевича.

Проходя через сад к себе во дворец, Иван Васильевич повел речь о том, что его не радуют дети нынешних бояр и князей, что его царским глазам хотелось бы видеть богомольных, трудолюбивых, любознательных юношей, скромных, украшенных добросердечием и мужеством. Он упомянул имя юноши Игнатия, которого хотелось бы ему поставить в пример боярским сынкам. Зело умен сей юноша, на удивление начитан в писаниях святых отцов, знает древний греческий и латинский языки, отважный всадник и меткий стрелок, а вместе с тем и скромный, послушный слуга государю. Он, царь, намерен приблизить его к себе и даже доверить ему большое дело. Но этот Игнатий – безродный, много видевший в своем сиротстве горя. Он не избалован, как дети бояр.

...Оставшись один, царевич облокотился головою на руки. Его охватило глубокое раздумье. В глазах его застыло ожесточение, лицо побагровело; рукою он сжимал серебряный кубок с такою силой, что смял его. С шумом поднялся он с кресла, осмотрел хмуро бражный стол, налил себе вина в

чашу и залпом выпил его, а чашу швырнул на пол.

В мрачном оцепенении он прошелся несколько раз взад и вперед по горнице и затем отправился в спальню своей супруги Елены Ивановны. Маленького роста, полная, с наивно-девичьим лицом, она радостно встретила царевича, приподнявшись с постели. Он взглянул на ее большой живот и грустно покачал головою.

– Что ты, мой соколик, так смотришь? Аль не рад, коли я тебе сыночка принесу?! – сказала она, вспыхнув от охватившего ее волнения при виде хмельного мужа.

– Нечему радоваться. Ноне царевы дети не в почете. А уж приплоду их и того хуже будет. Грех ходит вокруг нас.

– Ты чем-то обеспокоен, царевич мой?! – испуганно спросила она.

– Елена!.. Ты – дочь Шереметева. Не довольно ли с вас, Шереметевых, бед от царя было? Пора бы вам знать, что горе по пятам за всеми нами ходит.

Царевна взглянула на мужа с испугом.

– Али беда какая стряслась?!

– Беда у всех одна: потемнел разум у нашего царя. Стар становится он. Неразумен в своих поступках. Наша земля посрамлена иноземною силой. Отец мой ослаб, потерял веру в себя. Читал я у одного грека: не относись-де ко всем с недоверием, но будь со всеми осторожен и тверд. Мой отец потерял и осторожность и твердость, осталось одно недоверие ко всем...

– Бог с тобой, Иванушко, что ты говоришь?! Тише! Тебя могут услыхать. Государь опалится на тебя!

– Не страшусь. Коли мне отец голову снесет, так тому и надо быть, но не стану я молчаливою овцой. Я – сын его, я – царевич! Мне после него сидеть на престоле. Должен я свою мысль иметь и своей волей жить!

– Ой, Иванушко, рано ты осмелел!.. Боюсь, боюсь, не ошибиться бы тебе.

– Не кручинься! Я не менее отца люблю Русь! За нее хоть на плаху.

Иван Иванович подошел к жене и нежно поцеловал ее в щеку:

– Хмельной я... Прости! С тоски пью. Не ладно воюет отец. Бог ему судья.

Сел около постели жены. Вздохнул.

– Турки... Крымцы... Ногаи... Литва... Поляки... Угры... [1] Немцы... Шведы... Вот, матушка, сколько врагов у нас!.. Вот знатная работа царева Посольского приказа!.. – взволнованно проговорил царевич. – Запорошило глаза государю... Не видит он, куда идем!..

– Тише, родной мой!.. Могут услыхать... боюсь! – прошептала Елена.

Царевич, ничего не сказав, склонился к жене, крепко обнял ее.

– Прости меня! Недосуг мне с тобой миловаться, распря

[1] Венгры.

с отцом гнетет меня, гложет тоска... От того и бражничаю... Прости! Не гневайся!

– Бог с тобой, государь мой! Могу ли я гневаться на тебя? Того и в мыслях у меня не было.

Она крепко прижалась к широкой, могучей груди царевича Ивана. Лицо ее было печальное, бледное.

– Боюсь я, Иванушко, боюсь. Сны мне снятся худые... Не приключилось бы чего с тобою?!

– Полно. Хуже того, что есть, уж и не придумаю. Разорили мы войною народ. Дворяне с посошным мужиком сравнялись. Бегут со своей земли, побираются, обнищали, кормиться им нечем... Воровским обычаем многие люди живут, на большие дороги уходят.

– Да что тебе, батюшка?! Бог с ними! Ложись. Приласкай меня. Соскучилась я!

– Глупая! В дни горести, слез, отчаянья и смерти могу ли я не думать о своем народе, о злосчастии дворян?! Государь гоняется за суетными триумфами... Честолюбие одолело старика. Никакая слава человеческая не изгладит позора, причиненного безумством моего отца... Горе нам, горе! Смерти я у Бога прошу.

Царевич Иван схватился обеими руками за голову, в ужасе глядя на жену.

– Успокойся! – поднялась она в тревоге. – Пугаешь меня! Не надо! Какие у тебя страшные глаза.

– Нет! Нет! Не пугаю!.. «Возвышающий себя – унизится»

– так сказано в Писании... Бедный отец, государь!.. Все наши соседи-короли смеются над ним... Обожди, я пойду к Годунову. Он успокоит меня. Он – мудрый. Не люблю его, но он... тверд, бесстрашен... Обожди!.. И государь его любит.

Царевич быстро вышел из опочивальни жены.

VII

Иван Васильевич велел огласить в Боярской думе извлеченную из сундуков копию донесения германскому императору Рудольфу его посла, некогда посетившего Россию, – Иоганна Кобентцль.

Немецкий посол расхваливал московский народ и царя, славил его могущество и даже намекал на замеченное будто бы им доброе расположение россиян к латинской церкви.

«Несправедливо считают их врагами нашей веры, – писал он. – Так могло быть прежде, ныне же россияне любят беседовать о Риме, желают его видеть, знают, что в нем страдали и лежат великие мученики христианства...»

Бояре и посольские дьяки с великим удивлением слушали громогласное чтение дьяком Леонтием Истомой-Шевригиным этого старого, шесть лет назад писанного немецким послом донесения.

«Чего ради понадобилась государю оная эпистолия? – думали они. – Мало ли всякого вздора пишут иноземцы о России!»

Чтение кончилось. Царь с загадочной улыбкой обвел глазами толпу недоумевающих бояр и дьяков.

– Слышали, что говорит о нас немчин?

– Слышали, батюшка государь, слышали! – ответили бояре.

– Писано то немчином три года спустя после злосчастной ночи, коя была у франков в канун Варфоломея... Россияне видели, сколь доблестно святой отец латынской церкви одержал победу над еретиками... Три десятка тысяч невинных душ загубили в едину ночь его попы и богомольцы!.. Святейший папа на радостях крестный ход учинил в Риме, из пушек палил, пляски срамные на площадях устроил... Не за то ли мы латынскую веру полюбили?!

Недоуменное молчание было ответом царю на его странную речь; бояре растерянно переглядывались: что такое с государем? Не помутился ли у него рассудок от военных неудач?!

Царь, видя смущение своих приближенных, рассмеялся, тем самым приведя их в еще большую растерянность.

– Осталось нам теперь денно и нощно молиться о здравии папы Григория... Да помогать ему войною противу турок... Обижают, бишь, турки венецийских купцов, не дают плавать с товарами... Немчин тот – посол Рудольфа – и тот утешил папу, писал императору, будто царь московский и противу турок пойдет... бить будет неверных во имя римского спокойствия, ради латынской веры... Не правда ли, зело добр

русский государь?! Где есть христианский владыка уветливее царя Ивана, более его почитающий святейшего папу?!

Бояре робко притихли; остолбенело, со страхом прислушивались к насмешливому голосу царя, звучавшему временами с каким-то непонятным мрачным торжеством, словно царь чему-то радуется, а чему – и сам не знает.

«Чему радоваться? Да и зачем ему понадобились эти разговоры о римском папе?!»

Вдруг...

– И вот решил ваш государь посла отправить в Рим к тому папе Григорию... Дружбу захотел свести государь со святейшим... Соскучился о нем – много наслышан о его премудрости. Писал тот немчин, будто хотим мы видеть Рим. Знать, тому и должно так случиться... Московским очам нелишне полюбоваться на тот древний город. Бывало то и при отце моем, Василии Ивановиче... Митя Мальт, то бишь Герасимов, ездил в Рим с грамотой к папе Клименту. То ж будет и у нас. А о прочем скажет вам дьяк Истома-Шевригин. Слушайте!

Высокого роста, красивый, широкоплечий, Шевригин к тому же обладал мощным голосом. Ведая в Посольском приказе делами австрийскими и фряжскими, он хорошо знал все о сношениях Москвы с папским престолом. И теперь он, обернувшись лицом к боярам, стал излагать им свои сведения о бывших в прежние времена попытках римских первосвященников завязать дружбу с Москвою.

– Много раз, – говорил он, – папы хотели послать своих послов в Москву, но польский король Сигизмунд всегда мешал этому. Венеция, богатый торговый город латынский, давно добивается счастья в торговле с Русью. В глубокой древности, еще при князе Игоре, венецийские торговые люди вели торг с Киевской Русью, и новгородские гости также сходились с венецийскими гостями. Но с той поры торга того уже нет. Посланцы папы Пия – Канобио, Джиральди, Бонифачио – были перехвачены в дороге Сигизмундовыми приставами, когда проезжали через Польшу. Король запугал фряжских людей.

В этом месте речи Шевригина царь Иван, стукнув с силой посохом об пол, перебил его:

– Много зла учинил нам король Жигимонд! И по сию пору то мы чувствуем, хотя польские и литовские люди и не хотели враждовать с Москвой... Говори!

Шевригин, вобрав в себя всею грудью воздух, басисто продолжал:

– Нунций Лаурсо договорился с двумя русскими послами в Вене – с Сугорским и Арцыбашевым, чтоб ехать с ними в Москву. Папский холоп при дворе императора, кардинал Мароне тоже поддерживал Лаурсо, чтоб он ехал в Москву. Но и тут королевские власти вмешались и не пропустили папских людей в Москву.

Царь Иван прервал Шевригина:

– Буде! Наслушались. Не береди раны. Не смущай!

И, обратившись к боярам, сказал:

– Бояре, не довольно ли вам того, чтобы понять: как заботятся о нас римские папы? И не пришел ли конец быть нам в сем деле ротозеями? Часом опоздано – годом не вернешь. Нам надо дружбу свести с римским Григорием – папою. Бог с ним! Загубленные им души и все грехи его на нем и скажутся, а нам нужно, чтобы он ярость Степана Батория поубавил, чтобы прыть его святым словом приостановил. Риму мы нужны, а кто из вас скажет, будто нам Рим в сие лихолетье не нужен? Кто?! Ну! Отвечайте!

Теперь только бояре и дьяки стали понемногу понимать, для чего государь поднял все старые дела о римских папах. И многие из них содрогнулись в душе от великого страха, подумав: уж не умыслил ли царь и в самом деле обратить народ русский в римско-католическую веру? Слух об этом давно когда-то уже ходил по Москве. Еще во времена княжения великого князя Василия, взявшего себе в жены красавицу Елену Глинскую, литвинку, униатку, болтали, что великий князь по своей слабости и любви к Елене вознамерился ввести на Руси унию. Не хочет ли ныне сотворить это его сынок, царь Иван Васильевич?! В нем ведь тоже польская кровь.

И, как бы угадав мысли сомневающихся, царь сказал:

– Не о вере мы будем вести беседу с папой, а о делах земных... Пускай, коли в нем есть христианская душа, он поможет христианам остановить кровопролитие... Пускай покажет нам духовную власть над своими латынянами, заставит

их прекратить неправды, обиды и насилия, чинимые Баторием.

Обратившись к дьяку Шевригину, царь Иван сказал:

– Леонтий! Будешь ты нашим послом в папском Риме. Зело ведомы тебе все хитрости папских иезуитов, а также и писания прежних пап и их друзей – посему держи наше слово твердо. Обсудите, Бельский и Годунов, с Шевригиным, каким путем ему в ту страну ехать – морем ли, сушею ли, где и как... И потом сказывайте мне: сколь и чего надобно.

Дворцовые люди в страхе: опять не в духе царь.

С утра до вечера молится он. Накрепко заперся в своих покоях.

Опять царевич Иван поспорил с отцом.

В кустарниках под окнами дворца царевича шмыгают тайные государевы люди: высматривают – кто теперь, после ссоры с государем, пойдет к царевичу во дворец. Подслушивают: какие речи между собою ведут царевичевы слуги.

Соборные звонницы время от времени нарушают сумрачную тишину кремлевских улиц и проулков нудным, тревожным звоном колоколов.

Царевы телохранители-стрельцы проболтались в столовой избе, будто царевич дерзко требует у царя войска, чтоб идти ему под Псков и сразиться со Стефаном-королем. И будто кричал он на всю цареву палату: «Душа-де не терпит моя той срамоты! Сам-де поведу я то войско и лучше слягу

в бою, паду от вражеского копья, нежели буду терпеть и далее Стефаново надругательство!» Государь будто бы, не дослушав царевича, посохом прогнал его от себя со словами: «Не твое то дело! Ступай, бражничай со своими похлебцами, питухами-княжатами!»

И будто бы говорили ближние к царю люди, что после ухода царевича царь плакал и на коленях Богу молился долго, а после спросил вина, а сам его не пил, не прикоснулся к чаше с вином.

И долго сидел в кресле, как бы в полудремоте.

Затем крикнул постельничьего. Велел позвать Бориса Федоровича Годунова и долго с ним наедине беседовал. А разговор тот шел о псковских делах.

В день раза три царевы гонцы бегали за Годуновым.

Вот и теперь: опять – во дворце он, Борис, одетый просто, печальный, молчаливый.

В этот раз царь, ухватившись своею большою рукою за рукав Годунова, отвел его в самую глухую комнату внутри дворца и, перекрестившись дрожащею рукою на икону, взял с Годунова клятву, чтобы он ни одним словом нигде не обмолвился о том, что поведает ему государь.

Борис, бледный, озадаченный, поклялся на коленях, что лучше умрет, нежели нарушит свое обещание, которое даст он царю.

– Добро. Поднимись! – хмуро приказал царь, усаживаясь в кресло. – Все изменники вот так же, преклонив коле-

ни, клялись мне в верности... Не гневайся на меня, Борис, невольно я так подумал. Вспомним покойного князя Володимира и его друзей бояр. Бедовое было время, нагрешили тогда мы все – и царь и бояре – премного; великие окаянства учинили.

Иван Васильевич сухо усмехнулся.

А затем сказал с невеселой улыбкой:

– Молод я был, правда, горяч, вижу то ныне и сам, но и силен я был, да и удачлив... Однако слушай! В те поры зело гневался я на колычевский род. Бог простит меня! Едва ли не весь тот неверный род извел я...

Годунов заметил, что царь и после клятвы, данной им, Борисом, все же колеблется, медлит говорить о том, о чем хотел сказать. И еще заметил Годунов, что у царя глаза опухшие, словно бы от слез.

– Так вот, друже, хочу я тебе открыть: не зря я того юношу, по отечеству Никитич, тебе сдал на попечение, не зря. Слушай! Один старец из Кирилло-Белоозерского монастыря наговорил мне такого, что я до сей поры опомниться не могу. Тот, бишь, парень, коего ты к дядьке своему отвел, есть чадо убитого Ваською Грязным боярина Никиты Колычева... Иноки хоронили дите колычевское от меня у себя до сей поры, именуя его Хвостовым, а мать сего парня ныне игуменьею будто в каком-то монастыре близ Устюжны. Заточена была в те поры. Парень того не знает, да и знать того ему не след. А подослали его ко мне в сад нарочно. Напомнили мне о былой

лютости моей. Как предстану аз пред Всевышним судией?! Доброе дело вручает мне сам Господь совершить... Обманем их!.. «Загубили древо, – подумал я, – взрастим же в холе и тепле семя его». Да будет парень верным слугою царства нашего и покроет своей праведною службою все грехи отцов своих... Обласкайте его, берегите. Назло всем хочу сделать Колычева непохожим на Колычевых. Совесть моя того требует. Настало время думать мне о предбудущих днях... Добрых дел жажду!

– Твоя воля, государь!

– Что же ты этак исподлобья смотришь на меня?! Аль не по сердцу сия затея?!

– Взираю с благоговением на тебя, государь. Краше солнца царская добродетель.

– Борис!

– Слушаю!

– Устоит ли Псков?! Хватит ли силы?! А?! Как ты о том думаешь?! Угроза ему великая.

– Устоит, государь. Знаю я хорошо прямого, храброго Шуйского Ивана Петровича и князя Андрея Хворостинина, а Скопин-Шуйский – мой ближний друг... Силою и смелостью Бог не обидел и его.

– Точно бы и так. – Царь тихо сказал: – Иван царевич просит у меня войско к Пскову на выручку идти... Боюсь! Ни одного воина нельзя нам снимать с Москвы... Жду нападения новых ворогов. Кто будет Москву оборонять?! Отказал

я царевичу. Что ты скажешь? Отвечай прямо, не бойся.

Годунов низко поклонился, тяжело вздохнул.

– Псков, думается мне, устоит. Обождать надо. Твое, государь, решение мудростью овеяно. Полки от Москвы оттянуть – стало быть, открыть дорогу татарам и другим кочевникам к царствующему граду Москве.

– Смотри, держи про себя, что поведал о царевиче... А того парня готовь к службе. Не худо бы и его с Шевригиным в Рим отослать...

Борис Годунов сказал:

– Пускай полюбуются – какие у нас красавцы есть.

Царь нахмурился, неистово шлепая ладонями по локотникам кресла.

– Вот когда я ломаю колычевскую спесь!.. Сломлю и поставлю на своем!.. Никакая казнь не утоляла моей жажды мести, как оная добродетель! Пойми, Борис! Радуйся такой перемене! Никита был враг мой, а его сын будет моим добрым слугой!

Борис не знал, что говорить, широким размахом руки осенил себя крестным знамением:

– Дай, Господи, моему чадолюбивому государю здравствовать многие годы! Вижу чудесные перемены впереди! Все должно совершаться согласно твоей, государевой, воле.

– Полно тебе! Все ли? – возразил царь, покачав недоверчиво головою. – Ни на един час не забываю я о свейском Делагарде. Гляди, уже к Нарве он рвется! На нашу новго-

родскую землю зарится. Отослал я туда Шереметева и еще двух воевод на подмогу. Что-то будет?! Стефана так я не боюсь, как свейских воевод. Сильны они! Крымского хана не так страшусь. Не до нас ему. Турецкому султану помогает он против персов... Война там у них. Нехристи передрались. Нагой все разведал, не зря его посылал я... Бусурманы меж собой в лютой злобе. С христианских королей пример взяли. Персидский шах с турками-собаками воюет, бьет их, а мне подарок прислал: зело нарядный трон. Шесть сотен алмазов на нем, да столько же рубинов, сапфиров, да смарагдов и бирюзы невесть сколько. А есть и в половину голубиного яйца. Знатно порадовал меня шах Аббас! Мне его надобно тоже одарить... Силу нашу видит Аббас. Не так ли?!

– Драгоценные дары не приходят без значения... Шах почтил могущество твое, государь...

– Большая надежда, Борис, у меня на северные наши вотчины, на Поморье. Коли укрепим там свою морскую силу, так и свейской державе в те поры не поздоровится. Грозное место – те берега.

Годунов с восхищением в глазах воскликнул:

– На Студеном море – непобедимою станет Русь, государь! Постоянно и я о том думаю.

– Не будем же терять времени! Монахи нам помогут. Вон печенгский игумен Трифон с чернецами в Вардегуз плавал и торг вел рыбой, рыбьим жиром и иным добром. О том мне поведал бродяга – монах Гавриил, коего принял я на свою,

государеву, службу... Рассказал он мне, будто в Печенгу приплывают для торга дацкие, свейские и голландские люди. Не будем чинить им препоны. Пускай без зацепки строят свои дома, кладовые на торговых путях между Москвою и Студеным морем... Гавриил назвал те пути «Божьей дорогой к великому морю-окияну». Велел я Бельскому снарядить обоз на Усть-Двину-реку, чтоб новое пристанище там оснастить. Того чернеца Гавриила приручить надобно. К обозу я приставил его. Пускай советником у воеводы будет...

Борис Годунов сделал над собой усилие, чтобы спокойно выслушать упоминание имени Бельского. Щеки его все же покрылись румянцем, весь он слегка вздрогнул. Царь не заметил этого, продолжая развивать мысль о своем намерении как можно сильнее оснастить пристань в устье Двины:

– А за монахом тем, Гавриилом, я наказал присмотр иметь... Не простой он человек. Беседовал я с ним. Знатно начитан и тверд в своих мыслях!.. Такие – либо зело полезны, либо вредны, попусту не живут на свете. Вот и Вассиан был таким же, и Максим Грек. Их надо опасаться, но и уважать, а коли нужда явится – и казнить.

К сотнику и государеву литцу Андрею Чохову в его дом на Кучковом поле [2] явился гонец от Бориса Годунова, принес ему поклон Бориса Федоровича и наказ немедля явиться в приказ Большой казны.

---

[2] Лубянка.

Время было под вечер. Андрей Чохов, высокий, широкоплечий богатырь с мягким, добродушным взглядом синих глаз, быстро поднялся со скамьи, поклонился гонцу и сказал почтительно:

– Бог спасет батюшку Бориса Федоровича, спасибо ему на ласковом слове, рад исполнить его приказание.

Гонец быстро вышел за дверь, и вскоре послышался топот его коня.

Из соседней горенки вышли жена Андрея Охима и его сын, пятнадцатилетний мальчик Дмитрий.

– Вот, Охимушка, в Большую казну к Борису Федоровичу Годунову требуют. Собирай. Где кафтан да кушак? Давай. Надобно идти без заминки. Сама знаешь – время-то какое!

Охима, тоже дородная, красивая, полная женщина, рассмеялась:

– У тебя постоянно: «время-то какое!» Как сошлись мы с тобой, с той поры все ты уходишь от меня: то ты в походе, то на Пушечном дворе, то в разряде... Уж привыкла я.

– И то сказать – плохо жить и без работы, особливо ежели ты никому не нужен. Скушно! Борис Федорович попусту людей не тревожит. Сапоги давай новые... Борис Федорович любит, чтоб его слуги нарядны были, опрятны...

– Батюшка мой, Андрей Осипович, не забывай нас, поторопись!.. Приласкай сынка-то: сегодня, почитай, ты его совсем не видал...

Андрей подошел к сыну, поцеловал его наспех, перекре-

стился, надел шапку, поклонился жене и быстро вышел во двор.

Охима приласкала своего сына, рослого, худощавого мальчика, погладила его по курчавой голове.

– Ложись-ка, чадушко мое, спать... Поработали и мы с тобою сегодня на огороде; устал, поди, утомился? Отец теперь не скоро вернется, уж как водится.

– Не время бы, матушка, спать-то. На птичьем дворе дверь надобно уделать. Батюшка вчера еще наказывал мне.

– Ну, будь по-твоему, сходи на птичий двор да дверь там уделай, чтобы не прогневать отца.

Мальчик вышел в сени. Охима села за прялку кончать свою работу. Села и задумалась: чего ради Годунов позвал Андрея? Гляди, опять куда-нибудь усылать будут. Уж не к Пскову ли? Ходят в народе слухи, будто к тому древнему городу на помощь псковитянам пушкарей отправят с большим нарядом, будто король Стефан намерен обложить тот город со всех сторон и гонит к Пскову обильное войско и много пушек. И еще говорят, будто сам царевич Иван пойдет с войском на подмогу псковитянам.

В тяжкой тревоге замирало сердце Охимы. Казалось бы, уж пора привыкнуть к боевой, беспокойной жизни мужа-пушкаря, но никак не может примириться Охима с его постоянными уходами на войну и со своим неизбывным одиночеством во время разлуки с мужем.

Таков государь Иван Васильевич. Всех слуг своих гоняет

по разным местам. Не дает сидеть дома. Беспокойный царь.

Восемнадцать уже лет, как поженились, а жили вместе, почитай, лет пять, если собрать все деньки те вместе, да и того, пожалуй, не будет. То война с ливонскими немцами, то с Литвой, то плавал по морю, а чаще всего походы к Большому Полю для охраны рубежа от крымских татар.

И всегда и везде пушкари в первую голову.

Да когда и походов нет, кто больше всех работает? Опять они – пушкари! Андрей тайно поведал Охиме, что уже две тысячи пушек ныне стало у царя, а он велит ковать и лить все новые и новые. На Пушечном дворе работа идет днем и ночью. Царь никому покоя не дает.

Еще беда: повадился Андрей и сына таскать с собой на Пушечный двор, приучать и его к своему делу.

«Что за беспокойное время! – думает про себя Охима. – Все война и война, да казни, страхи разные!.. Андрей хвалит царя, молится за него, а за что?! Коли собрать всех великих князей прежних – они все вместе столько крови не пролили, сколько один он, прости Господи!»

Охима вспомнила, как царь жестоко казнил своего двоюродного брата князя Старицкого Владимира Андреевича с женою Евдокиею, двумя сыновьями и матерью. Все они были отравлены, а мать утоплена в реке Шексне... Правда, говорили и другое. Никто этого не видел, но только одно известно всем, что князь, жена его, дети и мать казнены...

В новгородском походе был Андрей и своими глазами ви-

дел, как опричники грабили и убивали новгородских людей... Правда, царь потом отбирал у опричников награбленное, у немца-опричника Генриха Штадена все до нитки отобрал и кое-кого наказал, но все же это было... крови много пролито!

«Грех осуждать царя, – думает Охима, – а все же не по душе мне его лютость! О, горе, горе! Нет покоя Андрею! Когда же этому конец будет?! Народ ропщет. Народ голодает. Приходили мужики из деревни, жалуются: изнурились от работы на бар, живут в горькой нужде... В леса бегут люди из вотчин. Война не прекращается. Но царь никак угомониться не может».

Стало темнеть. Работа выпала из рук. Тоска! Страх перед будущим! В глазах у Охимы выступили слезы.

Из Ярославля прибрели усталые, пропыленные стрельцы во двор Никиты Годунова. Они принесли добрую весть о том, что Никита Васильевич поправляется и скоро вернется домой.

Феоктиста Ивановна прослезилась; накормила, напоила стрельцов, расспросила их про беду, которая случилась с ними, а затем приказала уложить их спать.

В то время когда мать беседовала со стрельцами, в башенке, где жил Игнатий, делилась радостною вестью с юношей красавица Анна. Оба обнялись и крепко друг к другу прижались, счастливые тем, что Никита Васильевич жив и вы-

здоравливает. Правда, в самую гущу радостных слов вдруг вплетались слова сомнения о том, как же дальше, когда вернется Никита Васильевич, как же тогда-то они будут встречаться. Но... тут же вдруг захотелось об этом забыть, не думать – ведь вот они вместе, ее щека прижимается к его горячей щеке, ведь они так счастливы сейчас, а там... что будет – прочь сомнения! В окно вливается ароматное тепло из сада; сгущаются летние сумерки; стрекочут кузнечики; поет о счастье, о любви предвечерняя тишина.

Но вот внизу послышались шаги матери, Анна вскочила, – наскоро поцеловала Игнатия и опрометью бросилась вниз по лестнице в свою светелку.

Наступил вечер. Феоктиста Ивановна вошла к Анне и позвала ее с собой в моленную, чтобы вознести благодарственную молитву Богу о благополучном исходе недуга Никиты Васильевича.

Но только что они кончили молиться, как во дворе появился верховой. Оказалось – гонец Бориса Федоровича. Феоктиста Ивановна, обеспокоенная, вышла на крыльцо, чтобы спросить гонца, зачем он приехал.

– Борис Федорович наказал мне, чтоб вместе со мною ехал к его милости Игнатий Хвостов.

– Что так поздно? – с удивлением спросила Феоктиста Ивановна, обеспокоенная тем, что в такой поздний час вызывают Игнатия. Она уже знала по опыту, что гонцы, посещающие служилые дома вечером, приносят с собою что-ни-

будь необычайное, срочное, нередко и худое, нарушающее мирное течение жизни семьи.

Гонец ответил, что он не знает, зачем вызывают к Годунову Игнатия Хвостова, но что ему приказали как можно скорее привести с собою того Игнатия Хвостова.

Юноша быстро собрался, сел на коня и в сопровождении годуновского гонца выехал из ворот усадьбы на дорогу. Оглянулся. Это видела из своей светелки Анна. Ей взгрустнулось. Феоктиста Ивановна не была удивлена, когда увидела невеселое лицо дочери, и, чтобы успокоить ее, сказала:

– Скоро батюшка, Никита Васильевич, будет с нами, – ласково погладила она по голове дочь.

Анна, слабо улыбнувшись, проговорила:

– Матушка, я рада, что батюшка приедет... – И вдруг дрожащим голосом на ухо матери сказала: – Но мне страшно! Боюсь чего-то... Сама не знаю...

И заплакала.

– Да Бог с тобой, Аннушка, дорогая доченька!.. Не сглазил ли тебя кто?! Порчи какой нет ли?! Ложись спать, помолись Богородице Скоропослушнице... Она услышит тебя... Помолись, чтоб злых духов от тебя отогнала... Не кручинься!.. Бог милостив!..

– Прости меня, матушка!.. Неразумная я, да и грешная... Мысли разные одолевают меня...

– Полно, дите мое!.. Полно. Бывало такое и со мной в твои годы... Стало быть, так уж Богу угодно, чтобы в юности страх

был о будущих днях... Не ведают юные девушки, что ожидает их, а ведать то им не дано, вот и плачут. Девичья доля – загадка. А плакать грешно. Вперед не забегай! Господь укажет каждому его путь... Каков он будет, – смирись с тем!

Анна с тоскою слушала причитания матери; ей уж давно наскучили эти слова, которые она постоянно слышит и от попа-духовника, и от отца, и от матери; всюду и везде ей внушают, что о «будущем на земле» думать грешно, надо постоянно заботиться о «будущем на небе», о том, что будет после кончины, и к этому нужно постоянно готовить себя... Матушка говорит «смирись!», а сама?! Разве она смирилась, когда ей выпало на долю быть женою Василия Грязного?! Ей, Анне, хочется жить, – душа не лежит печаловаться о загробной жизни!..

Пересилив себя, она кротко и ласково сказала:

– Слушаю, матушка, хорошо! Благослови меня и иди сама в свою опочивальню, а я лягу спать...

Феоктиста Ивановна перекрестила дочь и отправилась к себе на половину.

После ухода матери Анна уткнулась в подушки и дала полную волю своим слезам.

Борис Годунов ласково встретил Игнатия.

– Добрый вечер, молодец!

– Спаси Христос! – смиренно поклонился Годунову Игнатий.

– Ну, садись...

Годунов усадил юношу на скамью.

– По государеву делу мною ты позван...

Игнатий встал и снова поклонился Годунову.

– Слушай! Государю батюшке Ивану Васильевичу угодно послать своих людей во фряжский дальний город Рим к святейшему отцу латынской церкви... Ты изрядно знаешь тот латынский язык, и ты мне читал о римских папах и о Флорентийском соборе... Послов наших начальником будет Леонтий Истома-Шевригин. Ты дороден ростом и лицом леп и язык латынский знаешь, и не будет ущерба чести государя от того, коли ты поедешь провожать того Шевригина... Нам нужен мир с Польшей и Литвой... Царь не хочет воевать с единокровным славянским и христианским народом, нашим соседом. Папа римский, по мысли государя, должен остановить Батория, прекратить кровопролитие. Для сговора с папой государь и посылает в Рим Шевригина. Понял ли?!

– Добро, Борис Федорович, понял я. Но когда же, в кое время, из Москвы-то ехать нам?

– Через семь дней готово будет все, и вы тронетесь с государевой грамотой в путь. Вон ты какой! – с любопытством оглядывая с ног до головы Игнатия, сказал Годунов. – Молодец! Пускай за рубежом знают – какие люди у нас есть. Ну, что ж ты опустил глаза, ровно девица красная?! Что скажешь ты мне?

Зарумянившееся, смущенное лицо молчавшего Игнатия

рассмешило Годунова.

– Да ты и впрямь не девица ли?! Чего же ты молчишь?!

– Батюшке государю сие угодно – что могу сказать я?!

– Хочешь ли сам-то побывать в чужой земле?

– Кабы недельки две обождать? – робко произнес Игнатий.

Годунов удивленно вскинул бровями.

– Чего ждать?! Зачем?!

Игнатий замялся, щеки его зарделись румянцем сильнее прежнего.

– Никиту бы Васильевича хотелось мне повидать... Скоро, бишь, он прибудет домой... Стрельцы пришли тут из Ярославля...

Борис Федорович, слегка усмехнувшись, спросил:

– А зачем тебе понадобилось видеть Никиту Васильевича?

Игнатий, совершенно растерявшись, сказал:

– Так... Хотелось бы повидаться. Привык я к нему.

– Приедешь из Рима и повидаешься, а мы тут Богу помолимся, благодарственный молебен отслужим Никите Мученику за то, что он сберег жизнь моему дядюшке... Государь наказал через семь дней выезжать Шевригину с товарищами. Так и будет. Государево слово нерушимо.

– Слушаю, батюшка Борис Федорович...

Низко поклонился Годунову Игнатий, а в мыслях у него было другое... «Ах, Анна! Если бы ты знала, как тяжело рас-

ставаться с Москвой!»

Борис Годунов достал из шкафа маленький образок и благословил им в дорогу Игнатия.

– Будь достойным слугой государя в чужих краях, – сказал он. – Истома тебя научит, как чин блюсти за рубежом, что говорить там... Истома – бывалый человек. Ну, с Богом!

VIII

В одной из царских палат сошлась пестрая толпа простых людей разных возрастов и состояний. Их привел сюда с собой Борис Годунов.

В их числе находились Андрей Чохов и богатый новгородский колокольных и пушечных дел мастер, почтенный человек преклонного возраста Иван Афанасьев, прославивший себя знаменитым колоколом «Медведь», перевезенным по приказу царя из Новгорода в Москву, и зажиточный московский «художник» пушечного литья Богдан, и Семен Дубинин – московский же прославленный пушкарь, и Нестор Иванов – хитроумный псковский мастер на все руки. Его литья славился колокол «Татарин», висевший на колокольне Вознесенского монастыря в Кремле, было здесь много мастеров литейного дела и ковачей железных пушек, собранных из Замоскворечья.

В ожидании выхода царя Борис Федорович расставил всех так, чтобы каждый из них был на виду у государя.

– А станет спрашивать вас батюшка государь Иван Васильевич, отвечайте с глубоким поясным поклоном, без замешательства и не путано, дабы не затруднять его премудрую светлость излишним допросом, – поучал Годунов собравшихся.

Пушечного и колокольного дела мастера с прокопченными лицами, с почерневшими от огня и металла руками. Многие из них, одетые в поношенные кафтаны и грубую, вплоть до лаптей, обувь, робко сутулясь, становились на указанные Годуновым места и в страхе замирали.

Андрей Чохов, которому уже много раз приходилось бывать во дворце на приеме у царя, держался ровно, спокойно, посматривал искоса на приезжих пушкарей. Особенно смешными показались ему своею угловатостью и нерасторопностью некоторые приезжие замосковные ковачи.

Встретил он тут и устюженских рудоискателей, с которыми свел дружбу во время наездов в Устюжну-Железнопольскую. Они привезли с собой в подарок царю тридцать выкованных в Устюжне пушек. Грубая выделка их не понравилась Андрею, и он заявил им об этом прямо, в глаза. Те смиренно выслушали слова Чохова, с улыбками смущения переглянулись и, как бы оправдываясь, сказали – мы-де копачи, рудоискатели, и к тому художеству, что видим в Москве, не навыкли. Меди у нас нет, и литье нам не под силу.

– Видит Бог, – с тяжелым вздохом шепнул один из них на ухо Чохову, – ковали мы те пушки с великим усердием, а

ныне, как осмотрели московский наряд, страх взял нас – как бы не прогневать своим подарком батюшку государя Ивана Васильевича, согрешили мы: имя царское на тех пушках чеканили без его дозволения.

Андрей успокоил их, сказав, что государь примет их дар приветливо. Не такое теперь время, чтобы не радоваться новым пушкам, каковы бы они ни были. Со всех сторон жмут Русь враги, и какие ни будь пушки, все одно они способны к убоистой пальбе по врагу. А это и есть главное в нынешние времена. Вон рассказывают: псковские сидельцы смолу готовят, бревна, кирпичи, чтобы сбрасывать на толпы воинов Стефанова королевского войска, коли оно подойдет к стенам Пскова. Будь у них эти тридцать устюженских пушек – веселее бы стало в те поры воевать псковичам и смолу бы и бревна, пожалуй, не понадобилось бы готовить.

После этих Андрейкиных слов совсем приободрились устюженские его приятели.

Но вот Борис Федорович, оставив с пушкарями двух дьяков с подьячими, удалился на царскую половину дворца. Старший дьяк, Михайла Вавилов, грузный, степенный человек средних лет, одетый в нарядный кафтан, сверкая перстнями на пальцах, поднял руку вверх, взмахнул ею и громко сказал:

– На колена! Государь жалует!

Засуетившись в страхе от этого выкрика, с глухим шумом опустилась на колени толпа пушкарей.

В необычайной тишине стояли пушкари на коленях, обратившись лицом к дверям во внутренние покои дворца. Слышны были отдаленные благовесты в тишине и хриплые покрикивания царевых конюхов на лошадей под окнами во дворе. Напряженно, едва дыша, ожидали пушкари выхода царя.

Двери медленно отворились. В палату вошли двое рынд, за ними несколько одетых в боевую кольчугу воевод, затем толпа бояр и, наконец, Борис Годунов. Когда все вошедшие стали полукругом позади царского трона, в дверях показался царь.

Он ступал медленно, мелким шагом, как-то размашисто, с громким стуком передвигая посох. В дверях остановился, хмуро и пристально вглядываясь в стоявшую перед ним на коленях толпу простолюдинов. Сам – высокий, слегка сутулый, сухой, с желтым морщинистым лицом. Большой, крючковатый, заостренный нос и жесткая молчаливость его стиснутых губ, вместе со всей мрачной осанкой его фигуры, привели в сильный испуг впервые видевших его прибывших из отдаленных уездов пушкарей. Тут же вспомнилось и все то жуткое, что рассказывали там, в глуши, о грозном царе.

Едва дыша от страха, оцепенелые, неподвижные, они опустили глаза, не выдержав проницательного, испытующего царева взгляда.

Бояре и воеводы, ожидавшие царя у трона, тоже застыли, неподвижно ожидая восхождения царя на трон.

Царь вдруг быстро повернулся и крупным шагом, тяжело топая, поднялся по ступеням на трон.

По знаку, данному Борисом Годуновым, дьяк Вавилов прокричал имена и звания находившихся в палате мастеров пушечного и колокольного дела, а также и то, откуда прибыл тот или иной мастер.

Выслушав, царь опустился в кресло.

Борис Годунов, находившийся у подножия трона, сказал пушкарям, чтобы они поднялись, а когда они встали, обратился к ним со следующей речью:

– Православные люди, верные чада царства Русского! Государь ваш батюшка, Иван Васильевич, зело отечески заботясь о рабах своих и о земле нашей, милостиво собрал вас тут, в чертогах царских, чтобы сказать вам: зарубежные вороги вконец преградили дорогу иноземным мастерам в наше царство. Ныне его царская милость надежду возлагает на вас, коим ведомо художество литейного и иных дел мастерства.

Ответом на речь Годунова было продолжительное молчание. Никто не решался говорить.

– Ну, что же вы молчите? – зарумянившись от волненья, недовольно поморщился Годунов.

Царь нетерпеливо заерзал в кресле, окидывая внимательным взглядом пушкарей.

Вперед выступил молодой, хорошо известный царю мастер Семен Дубинин – его литья пушки когда-то громили

шведов под Ревелем.

Маленького роста, курносый, обросший курчавыми волосами, он говорил быстро, слегка картавя:

– Видел я пушки венецийского мастера Павла Дебосис да немчина Якова – худо сделаны, и других видел немало в Ливонии. Незавидно. Да и воеводы наши знают, сколь удобны и легки наши пушки и убоисты. Одно бы, прошу прощенья у государя и у бояр, одно бы...

Дубинин запнулся. Царь Иван в нетерпенье топнул ногой.

Годунов озабоченно кивнул Дубинину: «Ну!»

– Одно бы теперь надобно нам... Колокольных мастеров у нас избыток. Доброй руды утекает на колокола великое множество, да и мастера дюже хитроумные на колокольном деле сидят, а нам в такое время пушек бы поболе. Как вот тут? Прошу прощенья за свое слово, я бы хотел...

Не успел он досказать своих слов, как вперед бурею выскочил широкий, с большим красным лицом, псковский колокольных дел мастер Тимофей Оскарев. Охрипшим голосом, размахивая рукой, он выкрикнул:

– Не слушай его, батюшка государь, – еретик он, супостат! Колокола – Божье дело! Пушки – сатанинское! Колокола в беде спасают, сзывают христиан к любому месту, колокола в Божий храм на молитву зовут, колокола твое царское имя славят...

Царь поднялся с трона, стукнул посохом об пол и гневно крикнул:

– Уймись, неразумный! Дед наш, блаженной памяти великий князь Иван Васильевич, и родитель наш, светлой памяти Василий Иванович, в ратной нужде не раз переливали колокола на пушки. Коли у нас не будет огневой силы отстоять святую церковь, к чему нам и колокола?! Покудова в силе войско государево, до той поры крепка и Божья церковь... Острый меч и огонь – защита веры Христовой... Колоколами ворогов не побьешь. Что станет делать воевода Шуйский во Пскове, коли у него будут одни колокола? Пушка «Барс» погонит прочь от крепости Литву своим огнем, а не соборные колокола. Не сатанинское дело пушки, а вельми божие! Архангел Михаил, именуемый в писаниях архистратигом, не красы ради держит меч в руке... Он – архистратиг, небесный воевода, его меч – орудие непобедимое... Оно спасает веру. Твоя укоризна, бедняк, диаволу и прилукавым гонителям на радость... Отрекись, несчастный, от сего заблуждения!

С грохотом упал на колени грузный колокольный мастер Тимофей Оскарев.

– Отрекаюсь!.. Помилуй, великий государь! Не ведаю, что говорю... бью челом, прости меня, убогого!

Иван Васильевич снова сел в кресло и, обведя строгим взглядом всех присутствующих, кивнул головой дьяку Вавилову.

– Царь всея Руси Иван Васильевич велел спросить вас, добрые люди, – воскликнул Вавилов, – хватит ли у вас силы и смекалки обойтись без помощи иноземных пушечного

дела мастеров, чтобы дать его государеву величеству многое множество убоистых орудий огневого боя?! Задуман государем большой поход, а куда, то узнаете после. Нужны для сего дела не токмо полевые, но и крепкие могутные, сидячие пушки крепостного боя. Что скажете, добрые молодцы, на то государево слово к вам?!

Несколько голосов сразу крикнуло: «Што нам заморские?! Сами мы положим все силы, чтоб то дело вершить своими руками!..»

– Сами! Сами! – понеслось из толпы разгоряченных словами Вавилова мастеров пушечного и колокольного дела.

– Не надо нам чужеземцев!.. Чужим добром не скопишь дом! – крикнул что было мочи Андрей Чохов.

Царь пристально посмотрел в его сторону и, увидев лицо его над головами других, велел Годунову подозвать его к трону.

– Старый ты пушкарь... Знаю, – сказал тихо, слегка наклонив голову к Андрею, царь Иван. – И послужил исправно воеводам нашим, о том мне ведомо, и за то не раз ты был обласкан нами. Ныне вновь послужи... Боярин Годунов укажет тебе, на какое дело послан будешь. Иди!

Чохов поклонился царю и стал на свое место, взволнованный, обрадованный вниманием государя. Другие пушкари и колокольные мастера косились на него с завистью.

Вновь высунулся вперед Тимофей Оскарев и, упав на колени, крикнул душераздирающим голосом, напугав товари-

щей:

– Батюшка государь! Прости! Хочу я быть пушечного дела мастером... Пошли меня на Пушечный двор!

– И меня! И меня! И меня! – раздались громкие выкрики в толпе колокольных мастеров.

Борис Годунов замахал на них обеими руками.

Дьяк Вавилов с остервенением зашикал, сверкая своими крупными белками.

Шум прекратился.

Царь с улыбкой шепнул Годунову:

– Кто ж теперь нам колокола лить будет?

– Остались, государь, серебряных дел мастер Иван Оспуговенский и другие. Их немало. Я созвал и их – позволь, батюшка Иван Васильевич, привести их.

Годунов послал дьяка Обухова, худого, гибкого молодого человека, с иконописным, безбородым лицом, за «художниками» серебряного дела, который вскоре и вернулся, ведя за собой толпу нарядно одетых мастеров.

Вот он – Остафьев Третьяк. Ему за искусную отделку икон золотом и серебром недавно дано государево жалованье: сукно в два рубля, тафта бургская в два рубля с гривною.

А вот рослый детина с громадными усищами и чубом на голове – Некрас Михайлов. Своими громадными руками он выткал жемчугом и драгоценными каменьями немало царских одежд и церковных парчовых тканей. Он же знаменит деланием драгоценной посуды для царева стола.

За ним следовал сутулый, с опущенной, трясущейся головой толстяк Исидор Никитин. Он прославил свое имя искусной отделкой раки святому Сергию Радонежскому. Ему дано жалованье государево – сукно в два рубля.

Тут же, в толпе вошедших, находились два новгородских «художника», два знаменитых серебряных дел мастера – братья Петровы: Артемий и Родион. Оба не имели соперников в искусном тиснении серебряных и золотых окладов на образа. В 1556 году они были вызваны в Москву из Новгорода самим царем Иваном Васильевичем. Вот уже двадцать пять лет пользуются добрым расположением царя. Оба имеют подарки от самой покойной царицы Анастасии Романовны, для которой сделали ларец и золотые, украшенные бирюзой поручни.

Булгак и Иван Лисицыны, Лашук и Иван Лопухины, Никита Макаров, Богдан Максимов и другие, известные своей тонкой работой по серебру и золоту мастера, находившиеся в толпе, были не раз жалованы государем за свою удивлявшую иноземцев работу.

Когда все разместились в соседстве с пушечного и колокольного дела мастерами, дьяк Обухов обратился к ним с царским приветствием, на что они ответили смиренным поклоном и стали на колени. Он сказал им, что хотя они и хорошие мастера своего дела и что хотя заморские люди дивуются на их добрые изделия и государю батюшке Ивану Васильевичу от того приятность превеликая, – однако время та-

кое, что они, золотых дел мастера, должны оказать помощь государеву делу в войне с врагами Русского царства.

Колокольные мастера будут лить пушки для государевой надобности, а им, «художникам» серебряного и золотого чеканного и литейного мастерства, в случае нужды потребно приноровиться к мастерству колокольного литья.

– Время грозное, трудное для нашей святой матушки Руси, и всякое дело должно вершить с молитвою и верою на пользу государствию Московскому, – закончил свое слово к «художникам» серебряного и золотого дела дьяк Обухов.

Ответное слово держали: Левушка-псковитянин, незаменимый замочный, часовой и серебряных дел мастер, и Григорий Романов. Положив земной поклон, они сказали:

– Послужим тебе и родине нашей, батюшка государь, с честью, коли то твоей царской милости угодно, и во всяком ином деле, коли твои царские слуги то нам укажут... Так, стало быть, Господу Богу угодно, чтоб наши люди и свою лепту вложили в общее великое кровное дело.

Царь приказал им подняться с пола.

В палате стало душно от многолюдства и жарко. Пот градом лил с царедворцев и мастеров. Однако царь сидел неподвижно, с большим вниманием приглядываясь к пестрой, разношерстной толпе «черных» людей, с которыми ему почти не приходилось никогда так близко сходиться, а тем более обращаться к ним за помощью при подобном многолюдстве.

Все притихли, молчали.

Борис Годунов, бояре и дьяки неподвижно ожидали, когда поднимется царь, тем самым давая знак, что прием мастеров закончился.

Несколько минут в палате царила неловкая, напряженная тишина.

Но вдруг царь громко подозвал к себе Богдана Бельского и, указав на Тимофея Оскарева, тихо и строго сказал:

– Того крикуна допроси и плетью посеки... Пушки – не «сатанинское» дело, чтоб он то запомнил, а всех прочих в столовой избе угостите.

Еще тише стало в палате после этих слов царя.

Тимофей Оскарев затрясся в страхе, побледнел. Широко перекрестившись, обвел товарищей растерянным, слезливым взглядом.

Царь поднялся и медленно спустился по ступеням с тронного места, окруженный царедворцами.

Пушечного, колокольного, серебряного дела мастера стали на колени, провожая царя робкими поклонами.

Когда он удалился во внутренние покои, Тимофей Оскарев остался в одиночестве – мастера от него шарахнулись в стороны.

К Андрею Чохову подошел дьяк Вавилов и сказал, что Борис Федорович Годунов опять примет его завтра в приказе Большой казны. Государь велел послать его, Андрея Чохова, к Студеному морю.

IX

Дремучий лес. Места болотистые. Туман, сыро. Проселочная дорога, едва-едва доступная даже для всадника, но пробирается по ней не всадник, а целый караван; тут и повозки, и верховые, и просто неоседланные кони, гуськом следующие за повозками. Люди в караване соблюдают строжайшую тишину. Нарушается она только скрипом колес и фырканьем лошадей. Разговор у всадников вполголоса. О чем он? Главное, как бы незаметнее и безопаснее пробраться к Пернову.

Государь дал наказ отборным кремлевским всадникам беречь пуще глаза посольских людей, отъезжающих в далекую заморскую страну, в папский город Рим. Важно доставить в целости и невредимости посольский караван до берегов Варяжского моря, где стоит город Пернов; пускай сядут на корабли да поплывут, тогда и от сердца отлегнет, и на душе станет легче. «В те поры, – подмигивают друг другу всадники, – уж не наш ответ».

В головной повозке Леонтий Истома-Шевригин, а с ним рядом толмач Вильгельм Поплер; в следующей – Игнатий Хвостов и другой толмач Франческо Паллавичино, в третьей – два подьячих: Васильев Антон и Голубев Сергей.

Шевригин оглядывается слегка прищуренными глазами по сторонам подозрительно, настороженно. Да и как же не

быть настороже?! Ведь совсем невдалеке шведское войско. И по лесам немало бродит шаек ландскнехтов короля Иоанна. Хитрое дело – пробраться к морю через леса и поля Лифляндские, едва ли не полностью захваченные шведами и панами. В проводниках – пожилой латыш, лесной житель, охотник, некогда находившийся на службе у московских воевод, воевавших ливонскую землю. Он едет впереди каравана, сутулясь на маленькой косматой лошаденке, едет уверенно, хмурый, сосредоточенный.

Его взял с собой в дорогу сам Шевригин, уже не раз ездивший по Лифляндии.

На спине и на груди в своем кафтане Шевригин зашил под подкладку царские грамоты к императору аламанскому и папе римскому. Никто не должен знать, кроме него да его помощников: Игнатия Хвостова и подьячих, зачем едет он, царский посол, в Рим. На огне будут пытать – никто из них не выдаст государевой тайны. Случится опасность по дороге, на море – лучше он, Шевригин, в воду бросится и утонет в морской пучине, нежели отдастся в руки врагу, а на суше – лучше сожжет свой кафтан и сам сгорит, но опять-таки живой не отдастся в руки врага. В том он принес нерушимую клятву царю. За рубежом болтают, будто московский царь – деспот, тиран и что нет у него добрых слуг, что он насильно держит на Руси своих служилых людей, – не то давно бы все утекли за рубеж.

Если бы ненадежные были русские воеводы и насильно их

держал бы при себе царь, стояли бы они тогда так крепко за Русь?! Плохо знают русских людей заморские мудрецы, плохо знают и дела московские. Он, Шевригин, горд тем, что он – посол московского царя. Если бы его спросили: кто мудрее, кто добрее, кто Богу угоднее, кто величественнее в своем сане: царь Иван Васильевич или святейший глава Римской церкви папа Григорий Тринадцатый – он бы тотчас же ответил: «Наш батюшка Иван Васильевич премного выше всех пап и королей на свете!»

Никакой робости от того, что он едет в дальние края и что ему придется встречаться с римским [3] императором в Праге и римским папой в Риме, Шевригин не испытывает. Наоборот, ему кажется, что его везде должны встречать с почетом и трепетом, ибо он – посол московского царя. А в Италии ему к тому же бывать уже и не впервые.

Сидевший рядом с ним толмач Вильгельм Поплер, выведенный из терпения молчаливостью Шевригина, спросил его:

– Вам спать захотелось, герр Шевригин?

Только тогда посол вспомнил, что рядом с ним сидит немец-толмач.

– Нет. У нас по-русски говорится: много спать – добра не видать. Вот что, Вильгельм! Я думаю, ты тоже не будешь много спать... Наш государь сам мало спит и слугам своим не позволяет много спать, а ты ныне тоже государев слуга. Я

[3] Так назывался в те времена германский (аламанский) император.

надеюсь, что ты, с Божьей помощью, послужишь нам честно. Не так ли?

Немец не ожидал, что у Шевригина вдруг молчаливость сменится таким наставительным разговором. Он тяжело вздохнул.

– Божья помощь во всяком деле нужна, – уклончиво ответил он.

– И в особенности в добром, успешном выполнении службы русскому государю, которому ты ныне служишь. Ты – немчин. Не наш! Однако поклялся служить нам верою, так и служи. Иначе Бог накажет.

– Старинная немецкая поговорка гласит: «Надо веять, пока ветер дует». Вот и я: понадобился я вашему государю, одарил он меня и еще одарит. Буду услужлив сверх меры, так надо.

– Добро!

Шевригин, лукаво улыбнувшись, с силою похлопал немца по коленке.

В следующем возке изнывал от тоски по Анне Годуновой красавец Игнатий. Никогда ему в голову не приходило, что можно так страдать из-за девицы. Суровая монастырская быль, окружавшая его в детстве и юных годах, наставления старцев, погруженность в чтение писаний древних летописцев – все это вселило в него робость и недоверие к жизни, происходившей за монастырскими стенами.

Теперь он не узнавал себя.

Когда он покидал гостеприимный дом Годунова Никиты, то сам хозяин дома, оправившийся от болезни, его супруга Феоктиста Ивановна и дочь их Анна провожали его до ворот усадьбы со слезами. Никита и Феоктиста благословили его, как сына, а красавица Анна тайком подарила ему маленький образок Богоматери в серебряной оправе. Теперь этот образок, надетый на цепочке, он крепко прижимал к груди.

Никита Годунов сказал на прощанье:

– Господь с тобой! Не посрами земли Русской!

Облобызались на прощанье.

Навсегда запечатлелось в памяти Игнатия, как во время их прощанья тихо падали с кленов сбиваемые ветром пожелтевшие листья. Медвежонок и тот глядел на Игнатия из своей конуры какими-то печальными глазами. Так казалось теперь Игнатию. Вспомнилось, как он, Игнатий, и Анна кормили его в тихие солнечные утра, в дни отсутствия Никиты Годунова, и как медвежонок довольно облизывался, а маленькие глазки его хитро поблескивали.

С грустью мысленно прощался теперь Игнатий с мелькавшими по сторонам елями, соснами, с пожелтевшими березками, с родной землей.

Сидевший рядом с ним толмач Франческо Паллавичино, худой, с острой бородкой итальянец, все время вздыхал. Уроженец Венеции, он опасался, как бы его не схватили в Риме и не отправили в Венецию.

– Я боюсь своей родины... – покачивая задумчиво голо-

вой, говорил он. – Страшно!

– Зачем ее бояться? – спросил Игнатий.

Франческо рассказал: сто лет назад управлявший Венецией Совет Десяти передал управление над страной трем государственным инквизиторам. Им предоставлена безграничная власть над всеми без исключения подданными республики: над дворянами и священниками, над народом и даже над самими членами Совета.

Они могут тайно или явно предать смерти каждого; они схватывают на улицах кого захотят и пытают, мучают в глубоких подвалах темниц. Если кто-нибудь пропадает и можно догадаться, что его схватили инквизиторы, то его родные, боясь страшного судилища, не решаются даже спрашивать, куда девался их близкий.

Игнатий удивился внезапно побледневшему лицу Франческо. Он спросил толмача: что с ним?

– Синьор Луиджи донес на меня... Меня объявили еретиком... бежал я из Венеции... Именем Христа меня повесят, если поймают, или обезглавят...

– Тебе дали государеву охранную грамоту. Ты состоишь в толмачах у государя. Никто тебя не тронет. Ты – при царских послах, – успокоил его Игнатий.

Франческо усмешливо вздернул бровями и недоверчиво покачал головою:

– О, вы не знаете!.. Русский человек не знает, что есть инквизиция... Храни вас Бог от святых отцов инквизиции! Они

никого не признают, даже самого Бога. В Риме вы услышите страшные рассказы про инквизиторов. Московскому человеку придется много раз удивляться, какое великое множество насилий, пороков и бесстыдства исходит от святейших пап! И нынешний папа не безгрешен. Он – достойный преемник папы Пия Пятого. Папа Пий писал нашим венецианским инквизиторам: «Поместите над вашим трибуналом в Венеции железные распятия с надписью: „Место сие страшно, это врата ада или неба“. Помните, что наш Божественный учитель сказал: „Любящий отца своего и мать свою, сына своего или дочь свою больше меня не может быть моим учеником. Человек должен сделаться врагом домашних своих, ибо я пришел отделить супруга от супруги, сына от отца, дочь от матери. Не мир я пришел принести в мир, но меч! Сражайтесь же за меня, без страха и устали!“ Так писал папа Пий Пятый!

Итальянец замолчал. От волнения он еле переводил дыхание. Бледное лицо его покрылось красными пятнами. Он про себя шептал молитву.

– Не я еретик, а они!.. Слушайте! Еще Пий писал венецианским инквизиторам: «Пытайте без жалости, терзайте без пощады, убивайте, сжигайте, истребляйте вашего отца, вашу мать, ваших братьев и сестер, если окажется, что они не преданы слепо католической апостольской римской церкви». Я говорил своим друзьям, что великий грех следовать сему указу. С тех пор я должен был скрываться, прятаться от

папских сыщиков и от слуг инквизиторов. И вот я убежал в Москву... Там я прожил много лет, стал слугой государя, а на родине меня называют изменником... Но у меня уже нет той юности, той беспечности, которая была в те времена. Я надеюсь – меня никто не узнает. Я свое имя переменил... У меня уже нет в Венеции ни друзей, ни родных... Всех их замучили инквизиторы! У меня нет родины. Я – скиталец, странник, бездомный человек.

Франческо замолчал.

Игнатий спросил:

– А в Москве как ты живешь?

– Москва сердцу моему ныне ближе Рима, Вены, Праги, где я также бывал. Я полюбил русских людей.

Немного помолчав, Франческо сказал:

– Папа Григорий Тринадцатый не лучше Пия... Это известно всему миру... Он натравил католиков на гугенотов в Париже... Он радовался страшным убийствам. Этого не скроешь. Слишком много крови пролито папою.

Игнатию наскучило слушать унылую речь итальянца. Он снова задумался об Анне. Сразу стало на душе светло, прочь отошли мрачные, тяжелые думы, навеянные рассказами Франческо об инквизиторах и римских папах.

Ему казалось, что он слышит нежное дыхание Анны, чувствует, как бьется ее сердечко... Она представляется ему загадочной сокровищницей радостных, неземных услад, о которых думать только – уже счастье. Все человеческое в ней

казалось теперь ему сказкой, райским видением, в сладостных лучах которого жизнь сильнее смерти...

Подьячие Васильев и Голубев втихомолку опустошали баклажку с хмельным, поэтому были серьезны, сосредоточенны.

– Вот уж истинно: грехи сладки, а люди падки, – обняв за шею Голубева, по секрету произнес подьячий Васильев.

– А отчего?! – лениво отозвался Голубев, вполоборота оглянувшись на него. – Скажи: отчего? Ну!

– Не знаю... – растрепав губы, небрежно ответил тот.

– А вот отчего: грех, батенька, дает много утех! – Голубев сочно захихикал, содрогаясь от смеха всем своим жирным туловищем.

– Запрещены нам утехи-то, Сережа, запрещены! – сокрушенно покачал головою Васильев.

– Верно сказал дьяк Писемский однажды Борису Годунову: «Строгий закон виноватых творит». Правильно. Грех вокруг нас так и ходит. Хвостом виляет.

– Молчи, Митрич, не пугай!.. Боязлив я... с тобой будем мы ровно ягнята... Добрые, послушные, приветливые... Люблю я таких! Под таких сам дьявол не подкопается. Попробуй-ка какой-нибудь король либо папа римский меня рассердить. Ни за што!

– Меня тоже. У нас с тобой сердце на привязи, не даем мы ему воли... А коли неудача, то наше дело: что же делать! А ваше: как же быть! Три месяца просидели мы у дацкого

короля, так и не удалось ему нас осилить. Видим – делу конец, король упирается, а сам жалеет, что не сговорились. Мы ему: «Что же делать!», а он: «Как же быть!»

Оба подьячих громко расхохотались.

– У государя батюшки терпенью научишься!.. – сказал Васильев.

– Во всех царствах не найдешь посольских людей терпеливее наших. А почему?! Сережа, молви слово: почему?! Не знаешь?! А оттого, что у нас мысль: «Не поймал карася, поймаешь щуку». Много раз бывало так-то у наших послов. Што нам иноземные мудрецы... Пускай мудрят, а мы знаем – и за морем горох не под печью сеют! Антоша, друг, дай обниму тебя, не задумывайся!

– О государе я. Ладно ли, што мы к папе тому едем? Не зазорно ли нашему батюшке государю первому к нему послов посылать?! – Васильев ударил кулаком себя в грудь. – Люблю свою землю! Обидно, коли тот папа сочтет нас ниже себя! Плюну ему в харю тогда!

– Уймись! Мужичок неказист, да в плечах харчист! Што папа?! Все на Божьем свете просто. Наш Истома-Шевригин слово знает. Увидишь! Чванства много в Риме; насмотрелся я, а ведь чванство не ум, а недоумье. Берегись и ты, Антон! Негоже тебе заноситься. Учись у Писемского. Приходилось мне видеть, как беседует он с королями. Со стороны взглянешь – подумаешь: два короля сошлись, а между прочим, и король не в обиде, и государева честь соблюдена.

– То-то! Дай Бог! – перекрестился Васильев...

Вот и кончилась лесная чаща. Перед глазами открылся необозримый простор. Повозки, выйдя из леса, спустились по дороге вниз на равнину.

– Ну, вот и свет Божий увидели! – обрадованно сказал Шевригин, стараясь не выдавать своего волнения. Ему было хорошо известно, что путь по этой равнине предстоит небезопасный. И чтобы занять своего соседа-немца разговором, внушающим особое уважение к Российской державе, он начал рассказывать о том, как великий князь Василий, отец Ивана Васильевича, недружелюбно относился к римскому двору. Однако папе в конце концов удалось все-таки уговорить великого князя отправить в Рим послов; поехали Герасимов и Трусов.

– Но ваш великий князь Василий, я слыхал от австрийского дворянина Штейнберга, хотел принять унию. И будто бы те послы им были посланы затем, чтобы объединить вашу церковь с католической? – сонно проговорил, покачиваясь в повозке, Поплер.

Шевригин рассмеялся:

– Сила наших государей еще и в том, – сказал он, – что их считают простачками зарубежные умники. Великий князь Василий не умел кривить душой, это верно. Когда его послы говорили о торговых делах и присылке итальянских мастеров, чужеземцам мерещилась уния... Государи наши не обманывают никого и себя не позволяют обмануть никому.

Живем домовито, по-христиански, кланяться никому не будем. И Бог не забывает нас! Наша вера – наша родина. Измена вере – измена родине.

Шевригин широко перекрестился, подумав: «А ну, если немчин выдаст нас! Убью тогда его. Непременно убью!»

Продолжая креститься, он сказал:

– Господь многомилостив!.. Он поможет нам благополучно прибыть в тот город Рим. Да и толмачей Господь послал нам добрых, совестливых.

Поплер молча пожал руку Шевригина, приветливо ему улыбаясь.

Всадники, окружавшие посольский караван, зорко оглядывались по сторонам, держа наготове обнаженные сабли.

Но кругом не было ни души. Прежние бои напугали жителей деревень – дома стояли обгорелые, пустые. Все население их ушло в леса, в глухие места, проклиная войну, проклиная немецких рыцарей.

– Вот гляди... – указывая рукой на опустевшие жилища, говорил Шевригин, – хотел ли этого наш государь?! Наш государь ищет мира с соседями, он печется о благе своего народа, и не гневен он на мирных людей, да еще в чужой земле. Не мы жгли деревни, а сами немцы да шведские разбойники. Боимся Бога мы, любим правду, и не нашим бы глазам видеть сие разорение... О том бы и хотелось нам поговорить, о мире, – с королями да князьями зарубежными.

Поплер молча, лениво слушал слова Шевригина. Ему дав-

но надоели европейские неурядицы. Он искал теперь тихой выгоды, поэтому свою саблю ландскнехта он и променял на должность толмача. Плохо, невыгодно становится быть ландскнехтом, особенно в войне с московскими людьми, того и гляди с жизнью расстанешься, а тут кое-что перепадет и от московского царя, и от его гостей иностранцев. Жить можно!

X

Холодно. Ветер воет в трубе. За окном рев деревьев в саду.

В своем ковельском замке задумчиво сидит князь Андрей Михайлович Курбский, греясь у камина.

Отсвет огня падает на мрачные, под низкими каменными сводами стены, убранные разным оружием.

Здесь индо-арабские мечи в серебряной оправе с широкими кожаными поясами, вышитыми серебром и шелками; алебарды, сабли индо-персидские, сталь которых излучает в полутьме синий блеск; шестоперы, на рукоятье и перьях украшения набивного золота. Этими алебардами, саблями и шестоперами он, князь, и его приближенные били под Великими Луками московских воинов. Этому оружию особый почет – вот отчего оно и развешано на коврах.

В другом месте – сабли, копья и прочее оружие, развешанное просто на каменной стене в большом беспорядке. В уг-

лах также сложено много оружия. Все это – трофеи, собранные с мертвых воинов-москвитян. Это оружие брали с собою люди князя Курбского, когда он водил их на татьбу.

Да, у него, у князя Курбского, много накопилось на совести прегрешений.

Вот и теперь. На полу около него лежат разные доспехи и шлем закрытый с низким гребнем и крутым профилем забрала. Эти доспехи и шлем захвачены князем при нападении его на имение князя Чарторыйского, а принадлежали они когда-то одному из рыцарей войска графа Валленштейна.

Получилось и в этот день так, что только князь Андрей собрался тайно напасть на имение пана Красинского, который славился своим богатством, как в замок примчался королевский урядник и привез указ короля выступить в поход ко Пскову.

Сердито сплюнул Курбский, взглянув в угол на рундук, где лежала брошенная им королевская грамота.

Еще раз, на закате лет, ему, Курбскому, предстоит обнажить меч против своего отечества.

Мысли тяжелые, печальные тянутся в голове.

Неладно сложилась его жизнь на чужбине.

Во всем обманулся он.

Когда он вздумал самовластно распоряжаться в подаренных ему королем Сигизмундом владениях, – против него восстала шляхта. На Люблинском сейме она жаловалась на него королю и требовала у Сигизмунда-Августа, чтобы име-

ния, пожалованные Курбскому вопреки литовским законам, были отобраны у него.

Много крови себе испортил он, князь, униженно отстаивая свои имения.

Король не уважил просьбы шляхты, но и не успокоил Курбского. Шляхта еще больше озлобилась на «московского Иуду», как некоторые в гневе его обзывали даже в глаза.

Чтобы забыться, отойти в сторону от борьбы со шляхтой, вступил он в брак с княгинею Марьей Юрьевной Голшанской. Она была владетельницей обширных и богатых поместий. Вступая в этот брак, он, Курбский, думал осчастливить себя богатством жены и родством ее с важнейшими литовскими фамилиями, но и тут все сложилось иначе, чем думалось.

Жизнь семейная не удалась. Вечные ссоры из-за денег, из-за родственников. Жена озлобилась на Курбского, сделала однажды попытку отравить его.

Дело кончилось разводом, для чего потребовалось вмешательство самого короля.

В это же время пришло известие о гибели брошенных им в России жены, сына и матери. Они умерли в темнице. Царь Иван истребил даже всех единоколенных ему, Курбскому, княжат ярославских, отнял его имения и роздал их своим новым людям.

Теперь он опять женат и новою женою своею, княгиней Александрой Петровной, доволен; уже она родила ему дочь,

княжну Марину. Небогата княгиня и знатностью рода не блещет, но нрава добродетельного и предана мужу, семье до самозабвенья.

Полночь.

Тихо в замке. Слышна только возня крыс в подполье.

Жена и ребенок спят. Они не знают, какая гроза нависла над ним, князем Курбским, ленным данником сурового и непреклонного короля Стефана Батория.

Всем известно, что король Стефан далек от покровительства Курбскому. Однажды, на приеме у короля, Андрей Михайлович сам уловил явно недружелюбный взгляд Стефана Батория, брошенный в его сторону. Притом же ему хорошо известно, что король ради угождения средней и мелкой шляхте никого не пожалеет, а эта шляхта далеко не на стороне московских князей, бежавших в Польшу.

Что делать?!

Курбский вышел в соседнюю комнату, где спал приехавший к нему королевский посланник, ротмистр Ляшевский. Ротмистру было поручено королем не только известить Курбского о королевском предписании выходить в поход, но и набрать в его владениях гайдуков для войны. Надлежало выбирать самых рослых и крепких людей на королевскую службу.

Постояв несколько минут в раздумье около спящего ротмистра, князь стал его будить.

Ляшевский испуганно вскочил со своего ложа.

– Что случилось?! – спросил он сонно.

– Ничего... – улыбнулся Курбский, похлопав его по плечу.

Ротмистр с улыбкой потянулся.

– Спать хочется... – сказал он, сладко зевнув.

– А мне не спится... Хочу спросить тебя, пан... В каких мерах я у короля?!

Ляшевский удивленно посмотрел на князя.

– Не знаю. Не мое то дело... – холодно ответил он, пожав плечами. – Мое дело гайдуков у тебя набрать. Помоги мне в этом.

– А если я не позволю тебе... Я – хозяин здесь!

– Хозяин всех земель наших – его величество король Стефан. У тебя плохая память, князь. Здесь не Московия, а наше королевство. Мои уши не должны слышать слов высокомерия от простого шляхтича... Война! Помни об этом, князь.

Ротмистр поднялся, совсем оправившись от сонливости. Был он высокого роста, с большими усами и холодным взглядом синих глаз.

Курбский счел себя оскорбленным резкостью слов ротмистра и поэтому покраснел, надулся.

– Сам я пойду на войну, – сказал он, нахмурившись. – А гайдуков не позволю вам набирать у меня.

Насмешливая улыбка скользнула по лицу ротмистра.

– Вам легче идти воевать с Москвою, чем отпустить в войско несколько парней... Мне это непонятно, князь. Я бы на вашем месте поступил иначе.

Он рассмеялся.

Курбский догадался, на что намекает ротмистр. Ему стало больно и стыдно; мелькнуло в голове: «И этот!..»

– Пускай будет так, но я не дам никому хозяйничать в моем именье, – упрямо произнес он.

– Ну что ж! – беззаботно рассмеялся ротмистр. – Завтра я уеду. Доложу королю.

Курбский промолчал.

– Из Праги прибыл гонец... Он уведомил королевскую ставку... В Рим через Прагу едет московское посольство... Император и папа готовят богатую встречу царским послам.

Насторожившись, Курбский побледнел.

– Зачем едет московский посол?

– Ищет союза с императором и папой.

– Против кого?

– Не знаю.

– И еще – царь требует выдачи московских беглецов... Даст большой выкуп за них.

Снова краска залила лицо Курбского.

– Так ли?! – глухо спросил он.

– Говорят, что так... Не знаю.

– Царь Иван давно добивается этого. Видимо, он дорожит теми беглецами. Они ему нужны для войны, – стараясь совладать с собою, наружно спокойно заметил Курбский.

– Не знаю... – с безразличным видом сказал ротмистр. И, став спиной к Курбскому, добавил: – Я думаю, вы мне поз-

волите продолжать мой сон?!

Курбский, ничего не ответив, вернулся в ту комнату, где был раньше. Комната эта была названа им в давние времена «комнатой мести». Здесь он некогда предавался радужным мечтам о походе на Москву, о низложении с трона царя Ивана Васильевича, о возведении на престол князя Старицкого Владимира Андреевича, о возвращении своем в удельное Ярославское княжество и о многом другом.

А теперь смешно об этом думать. Владимир Андреевич давно покоится в земле. Ярославское княжество обращено в область Московии.

Горькая улыбка мелькнула на лице князя.

Когда-то он писал в своей заветной тетради. Вот она перед ним:

«...Чем затруднений больше, чем борьба сильнее, тем возвышеннее доблесть души».

«Борьба с затруднениями – неизбежный удел человека. Печатью терпенья отмечен гений великих людей. В затруднениях они видели не врага, а друга и помощника. Благо человека – в борьбе с препятствиями, стоящими на его пути».

«Страдания – тяжелый заступ, управляемый железной рукой. Он врезается в неподатливую почву, но, разрыхляя ее, дает обильнейшую жатву. Неудачи – столпы успеха».

Тяжело вздыхая, князь поднялся и убрал тетрадь в темном углу, в ящик.

Почти два десятка лет прошло с тех пор, как он бежал из

России. Но чего же добился он за столь долгий срок?

Ничего!

Надежда была на короля Сигизмунда-Августа, много обещавшего и ничего не сделавшего. Вельможные паны оказались сильнее его. Страшно!

Другая надежда была на свержение с престола царя Ивана заговорщиками-боярами. Увы! Царь прежде того сам их переловил и казнил.

Третья надежда на то, что изнуренный войною, обнищавший народ поднимет бунт, но русский народ оказался во все время многолетних войн послушным государю.

Терпенье и страдания только состарили его, князя Курбского, сделали его маловерным, слабым, уже неспособным на дальнейшую борьбу... Да и к чему она теперь?! Царь Иван дочиста истребил всех друзей князя Старицкого, уничтожил и самого его, вместе со всей семьей, а Московская держава окрепла, стала грозой для соседей... И жена, и сын, и мать самого его, князя Курбского, погибли! Теперь душа не лежит и возвращаться в Москву хотя бы и победителем. Не лежит душа и воевать с Москвой в рядах Стефанова войска. Новый польский король Стефан Баторий не раз грозил ему, русскому князю, что его будут судить королевским судом за непослушание. Однажды уж было: за сопротивление воле короля и постановлению сейма Курбский подвергся штрафу. А теперь над ним висит угроза короля Стефана лишить его, Курбского, уряда и всего имущества по жалобе князя Чарто-

рыйского, на замок которого было им совершено нападение.

И теперь... чего можно ждать от короля, если ему донесут о новом непослушании князя Курбского?!

Гайдуки!.. Посылая к нему в имение ротмистра для отбора гайдуков, король ясно показывает, что не признает его ни вотчинником, ни даже ленным владельцем ковельского имения, а только своим «державцею» – управляющим.

Холодный пот выступил на лбу князя.

Он поднялся, взял свечу, стал в нерешительности против двери, ведущей в соседнее помещение. Осторожно приоткрыл ее, заглянул.

Ротмистр спал крепким сном, оглашая своим могучим храпом комнату.

Курбский, дрожа всем телом, взволнованный, не помнящий себя от охватившего предчувствия, подошел к ротмистру и с силой стал теребить его:

– Берите! Берите моих гайдуков! Раздевайте меня! Казните! Что хотите – делайте!

Ротмистр испуганно вскочил, схватился за пистоль.

Увидев князя, он изумленно расширил глаза:

– Опять вы?! Что вам надо?! Почему не спите?!

Курбский крикнул что было мочи:

– Берите моих гайдуков. Слышите?! Или я вас убью!

Ротмистр остолбенел. Лицо его перекосилось от негодования, он сжал рукоять пистолета.

– Вы с ума сошли?!

– Да, пан Ляшевский, я – безумец! Мне дальше некуда идти. Я пришел к концу... Я молю Бога о смерти... Я желал смерти царю Ивану, а теперь желаю себе!

– В таком случае война вам кстати, – холодно сказал ротмистр. – Вы мне не даете спать... Мы не любим плаксивых людей. Ваш царь-деспот испортил своих воевод, запугал их. Вы находитесь ныне в Польше, будьте бодры и веселы! Ради короля и Польско-Литовской державы вы обязаны пожертвовать всем... Не попусту вы присягали польской короне. А пятнадцать гайдуков – невелика жертва... Стоит ли из-за этого волноваться?! Спите!

– Спите! – тихо повторил каким-то упавшим голосом Курбский и, покачиваясь, разбитой походкой вернулся в соседнюю комнату.

Из нее он вышел в длинный коридор, освещая себе дорогу свечой. В одну из дверей он с силою постучал кулаком. Дверь отворилась, и князь вошел в небольшую, заваленную конскими седлами и сбруей комнату.

Из темноты вылез косматый, неопрятный бородач в наскоро наброшенном на плечи кафтане:

– Чего изволишь, князь?!

– Колымет... Иван... Постой!..

– Что с тобою, Андрей Михайлович?! На тебе лица нет. Аль беда какая стряслась?

– Опять война!.. Опять пойдем на Русь! – простонал Курбский. – Опять... К Пскову пойдем... Снова...

Князь не договорил, в изнеможении прислонился к косяку, схватившись за голову.

– Стар становлюсь... Немощен... Жизнь впустую прожил, ничего не добившись. Что имел – и то потерял... опозорил себя. Гласом вопиющего в пустыне остался. Никто меня не слышит. Но я не изменник! Нет, нет! Я люблю свою родину... Я хотел добра...

– Полно, князь! Нужно ли оправдываться?! Да и перед кем?! И поздно. Мы – верные слуги короля. Мы проливали русскую кровь. Так и надо. Неужели ты сокрушаешься о том?

– Да, проливали! Мы должны были проливать. За нами следят. Нам не верят. Прости, Господи! – Курбский перекрестился.

– Храбростью своею ты заслужил награды и почет... Гордись этим, князь! Чего же ты?!

– Молчи, Колымет! Не напоминай! Сними у меня со стены оружие, отнятое у русских. Не хочу его видеть!

Склонившись к уху Колымета, Курбский прошептал:

– Не хочу я на войну идти... Не могу! Избави Бог! Не в силах. Псков громить?! Нет... нет... Господи!

Колымет крепко сжал руку Курбского и горячо заговорил:

– Не падай духом, князь, спаси Бог! Если ты уронишь себя в глазах короля, то уж нам-то в те поры что делать. Мы тобою токмо и держимся. Негоже, Андрей Михайлович, губить нас. Подумай о том. Соберу всех наших, оседлаем коней – и айда на войну! Нам нечего терять. Не гневи короля. Он не по-

щадит никого. Он не похож на прежних польских королей. Воинская честь для него превыше всего. Чуешь, князь, что нас ждет?!

– Чую! – тихо ответил Курбский.

– Так ты хочешь этого?!

Курбский задумался.

– Ради вас себя теснить?! Думать о вас, а не о себе. Этого не хочу.

Колымет зловеще прошептал:

– Поздно, князь. Если мы захотим, ты погибнешь прежде, нежели до тебя доберется король. Знай это. Иди на войну! Слышишь?!

Курбский притих, в изумлении глянул в лицо Колымета.

– Иван, что ты говоришь? Ты угрожаешь?

– Я говорю то, что знаю. За тобой не так следят королевские сыщики, как твои верные слуги – москвитяне. Горе будет тебе, коли ты всех нас поставишь под секиру короля. Говори: идешь?!

Курбский робко произнес:

– Иду.

Курбский совсем ослаб. Дрогнувшим голосом спросил:

– Колымет, вы способны убить меня?!

– Да! – нагло глядя в глаза князю, отчеканил Колымет. – Ты увел нас из России... И теперь помни прежде всего о нас.

Курбский возмущенно воскликнул:

– Я?! Увел вас?! Опомнись, Иван! Ты же сам ушел и дру-

гих подбивал!

– Не будем спорить, Андрей Михайлович! Я сказал то, что думают все московские беглецы. И прошу тебя – не спесивься перед королем и панами. Они наши хозяева и благодетели.

Курбский, опустив голову, побрел во внутренние покои замка, к себе в опочивальню. По щекам его текли слезы.

– Не узнаю себя... – шептал он.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Из Пернова морем на датском корабле царский посол Леонтий Истома-Шевригин и его спутники приплыли в Копенгаген. Здесь дружественные Москве власти оказали послу достойную его звания встречу и снабдили королевской охранной грамотой для дальнейшего следования по Европе.

Через Лейпциг, Прагу, Вену, Мюнхен, Инсбрук и Триест московский посол прибыл в Рим. Везде в дороге Шевригина встречали с почетом, как представителя сильнейшего из европейских государей. Имя царя Ивана произносилось с плохо скрываемым страхом и любопытством.

Путешествие было крайне трудное. Немало и недружелюбия против Москвы приходилось видеть в попутных городах, смотревших свысока и даже с ненавистью на русских; немало и опасностей угрожало Шевригину и его спутникам в дороге. Особенно во владениях германских князей, не одобрявших сношения императора Рудольфа с московским царем.

Деловой, смелый, верный слуга царя Ивана, Леонтий Истома-Шевригин с суровым упрямством преодолел все препятствия и даже сумел добиться в Праге приема у импера-

тора, выполняя попутно тайное поручение своего государя. Он передал Рудольфу в собственные его руки грамоту, а в ней говорилось:

«Изо всех мест немецких нам сказывают, приезжая, торговые люди, что ты, брат наш дражайший, им заповедь учинил: кораблей в наше государство ни с какими товарами не пропускать и Дацкому королю Зундом в наше государство пропускать кораблей не велел, особливо с медью, свинцом и оловом...»

Императору были поднесены от царя Ивана сорок соболей.

Император Рудольф поблагодарил за подарок и просил Шевригина передать государю, что он никогда таких приказов своим служилым людям не давал и что он отнюдь не желает мешать тому плаванию.

...В Рим посольство прибыло раннею весною, в теплое, солнечное утро.

В пяти верстах от столицы московские люди увидели ехавшее им навстречу множество нарядных колымаг, в которые впряжены были красивые белые кони, покрытые шелковыми узорчатыми попонами. Колымаги окружали более сотни всадников.

Увидев московское посольство, всадники остановились, а из колымаг вышли люди. Впереди шел одетый в богатую одежду папский архиепископ, назвавший себя кардиналом Медичи.

Первое, что бросилось в глаза русским людям, это его безбородое, безусое лицо. Весь он в своем одеянии скорее напоминал женщину, нежели мужчину.

Шевригин, выйдя из своей колымаги, с достоинством в словах и важностью в осанке назвал себя послом его величества царя и великого князя всея Руси Ивана Васильевича.

После обмена приветствиями кардинал Медичи предложил московскому послу с его провожатыми пересесть в особо предназначенные его святейшеством папою для посольства три большие, убранные коврами и цветами колымаги.

Но не успели посольские люди отъехать и двух верст, как увидели скачущих им навстречу тройными рядами многих всадников, предводимых одетым в блестящие доспехи красавцем рыцарем. Всадники, отдав воинские почести послу, присоединились к толпе ранее встретивших папских слуг.

Франческо Паллавичино стал усердно переводить Шевригину приветствия папы и кардиналов. Медичи заявил, что из уважения к посольскому сану сеньора Шевригина его святейшество папа предлагает ему, послу московского государя, стать на квартиру во дворце его сына Якова, который будет к тому же сопровождающим посла вельможею, подобно тому как в Москве к послам назначают для сопровождения и для ухода при иноземных послах приставов.

Шевригин и сопровождавшие его люди, низко кланяясь, благодарили кардинала Медичи за столь радушный прием, оказанный им его святейшеством папою Григорием Трина-

дцатым.

Папа до этого был предупрежден хорошо знавшими русские нравы и обычаи иезуитами, чтобы царского посла не помещали в такие палаты, где стены украшены изображениями нагих людей или с каким-либо безнравственным мифологическим содержанием, «так как московиты удивительно смущаются такими вещами». Пускай для них по стенам развесят изображения святых, лучше всего с бородами, а также изображения Христа, Богоматери и т. п. Заботливые иезуиты наперебой лезли со своими советами. А один из них даже особо предостерег от показа послам Бельведерской Клеопатры.

Иезуиты сообщили папе, что прежние московские послы распространяли в Праге и других городах невыгодные слухи о нравах Ватикана, говорили с негодованием о кардиналах, имеющих сыновей, и о прочем, позорящем якобы священнический сан католиков. Русские люди чересчур строги в своих суждениях о священнослужителях.

И вот теперь Шевригин и его друзья ходили по отведенным им трем большим палатам и с любопытством и удивлением рассматривали обильно развешанные по стенам изображения бородатых праведников, мучеников, великомучеников, кротких праведниц, ангелов и херувимов, порхающих в лазури небес.

– Ну, братцы, мы точно в рай попали, – отдуваясь и разводя недоуменно руками, произнес Шевригин.

– Зело густо... Будто в монастыре! – покачал головою подьячий Антон Васильев.

– Картины картинами, – хмуро произнес Шевригин, – а лукавого беса все же поостерегайтесь. От баб подальше будьте. Хитры, я вижу, они, да нас не перехитрить. На слова скупитесь. Лучше споткнуться ногою, чем словом.

Подал свой голос и Франческо Паллавичино:

– Коварнее здешних иезуитов едва ли кого найдешь! Вам говорит это итальянец. Прошу хранить в тайне.

Шевригин рассмеялся:

– Какая тайна! Весь Божий мир об этом знает. А у меня такая мысль: пусть бы не любили, да только бы боялись. И то ладно. Ну, да уж там увидим. Думаю, что не продемьянимся и не прокузьмимся. Заморская мудрость нас не пугает.

Только что успели московские гости перекинуться своими словами, как в палату вошли слуги и стали собирать на стол.

Появился и сам Яков, сын папы. Объявил гостям, что им будет отпускаться к обеду и ужину по тридцати блюд на человека; да овощей по двенадцати блюд в каждую еду.

– Не много ли? – учтиво спросил Якова Шевригин.

– Благородные синьоры могут верить в доброе расположение к ним святейшего.

С великим усердием, однако, пообедав, осушив кувшины с вином, посол и его спутники отправились в сопровождении двух чичероне-рыцарей на прогулку по городу. Им было

весело и приятно в солнечном, утопающем в зелени городе предаваться мыслям о том, что, стало быть, в них нуждаются, коли так ухаживают за ними.

Через узкий длинный коридор между высоких каменных стен, где только над головой полоса ласкового голубого неба, залитого ярким солнечным светом, вышли они на просторную площадь.

Шевригин сказал весело:

– Благодать!

Рыцари поинтересовались, что произнес посол.

Франческо перевел. Слуги папы самодовольно улыбнулись.

– Знайте, братцы, теперь это мое слово будет передано папе. Это хорошо.

Чичероне опять спросили о словах Шевригина.

Франческо ответил:

– Они сказали: лучше этого города ничего не знают.

Еще более довольными стали лица юношей.

По дороге встречались то боковые переулки, то крохотные площади. Иногда стоило вступить на такую площадь, как на путников внезапно изливались потоки солнечных лучей и охватывало приятным, ласковым теплом, но стоило пройти несколько шагов и очутиться в тени, как снова становилось прохладно. Долго бродили московские путники по улицам Рима. Свет и тени, шумные места и тихие уголки то и дело чередовались на пути.

Но вот перед глазами предстала гигантская мраморная колонна. Шевригин и его друзья остановились перед ней.

– Что это? – заинтересовался Истома.

– Колонна Траяна.

Игнатий Хвостов рассказал товарищам о том, кто был Траян, и о том, каким жестоким преследованиям подвергал он первых христиан.

Шевригин зло сплюнул:

– Надо бы разрушить эту дрянь, коли так.

– Римляне считали его мудрым правителем... За это и поставили ему этот памятник, – сказал Хвостов.

– А тут есть и другое местечко... – вмешался в разговор Франческо, – Колизей... Много там было пролито христианской крови... Ой, как много! Земля, думается, на версту пропиталась здесь кровью.

– Посмотрим и на это чудище, а приедем в Москву, государю доложим, какие здесь были добрые люди, – деловито произнес Шевригин. – Все нам пригодится. Люблю послушать, как иные люди живут. И чем больше знаю того, тем сильнее начинаю свое любить. А солнце доброе здесь, братцы, и воздух пригож. Избалованы они тут. Посадить бы их на наши снега!

С одной из возвышенностей Шевригин стал внимательно рассматривать окрестности. Все эти холмы, покрытые зеленью и множеством домов и домиков, невольно натолкнули мысль на воспоминание о Москве. Куда ни заедешь, на

что ни посмотришь, – непременно матушка-Москва на ум приходит, хотя и растительность здесь иная: вместо зеленых березок – суровые, какие-то чужие, неприветливые и высокие, голые пальмы, кипарисы, – и дома, совсем не похожие на московские бревенчатые домики, и улицы и площади не такие, как в Москве. Находишься здесь, а душа дома...

На другой день московским гостям предложили верхом ехать осмотреть древние постройки Рима. Перед москвичами развернулась картина величия некогда гордого, всемогущего вечного города. В лучах полдневного солнца горделиво высились получившие неизгладимые раны, но не стертые с лица земли временем Капитолий, Колизей и другие древнеримские здания. Чичероне, которого дал Шевригину Медичи, рассказал, что Рим можно разделить на три города: новый, старый папский и древний.

– Вот видите, – говорил он, часто моргая своими густыми черными ресницами, – стоят дома, а до них стояли на этом месте другие здания, а до тех пор еще были другие постройки... От того времени, вон видите, башня, а рядом построенный совсем недавно домик. Башня та времен Цезаря. Рим – вечный город, три мира таятся в его стенах. Вон смотрите – между домами виднеются террасы, крепостные брустверы, башни, дворцы, церкви, развалины... А там, глядите, какие громадные, страшные откосы римских фундаментов, а здесь фонтаны и кресты... Чудеснее нашего Рима нет городов на свете...

Смуглое красивое лицо проводника-итальянца сияло самодовольством. Черные глаза блестели трудно скрываемым торжеством, когда он замечал на лицах московских гостей выражение восхищения.

На каждом шагу взорам Шевригина и его спутников представлялись следы глубокой старины.

Начиная с Капитолия и вплоть до Колизея развернулись во всей своей сказочно-причудливой нагроможденности развалины уснувшего вечным сном древнего Рима. Это обиталище видений прошлого было уже вне деятельного, живущего мира.

– Все, что вы видите, – пояснил проводник, – вмещает в себя Форум, Капитолий и Колизей, а направо – глядите... То скала Торейская, тут же и развалины дворцов цезарей, налево Мамертинская темница, а те громадины – остатки храма Константина... Здесь было сердце Рима. Здесь кипела жизнь...

У Форума путники соскочили с коней. Потянуло подойти поближе ко всем этим зданиям и каменным колоннам, посмотреть, потрогать их пальцем, прислушаться к тишине, к тишине особенной, как будто неслышно о чем-то говорящей.

Колонны некоторые разбиты в вершине, другие у основания; немало их лежало совсем вросших в землю, покрытых плесенью и травой. Всюду валялось много разбитых украшений древних храмов, дворцов, статуй...

– То, что вы видите, разрушалось не раз дикими варвара-

ми, нападавшими на наш священный город, – грустно произнес проводник.

При этих словах московским людям опять невольно пришла на память Москва, совсем недавно сожженная и разоренная татарами. Сердце сжалось от боли.

Невольный вздох вырвался у всех у них: «Скоро ли снова застроится наша-то?!»

Шевригин сказал, что он чувствует какую-то тоску после всего виденного и усталость и просит проводника проводить их обратно во дворец Медичи.

По вечерам в палаты к московскому послу приезжали из Ватикана кардиналы и знатные дворяне. Они привозили с собою много вина и самые изысканные яства, угощали ими московских гостей, да и сами бражничали до того, что уже с большими усилиями возвращались домой, а были и такие гуляки, что даже ночевали тут же, во дворце Медичи.

Однажды с ними приехал бойкий, расторопный католический священник Рудольф Кленхен, знавший хорошо русский язык. Когда папские вельможи, сильно захмелев, вышли из палаты в сад, Кленхен по секрету поведал Шевригину, что папа сам первый хотел послать дружественную грамоту к царю Ивану Васильевичу. Его, Кленхена, однажды вызвал к себе кардинал Морон.

– Так как ты бывал в Московии, – заявил он, – избираем мы тебя послом к царю Ивану. Когда с помощью ангела Господня ты прибудешь в Москву, отдай царю письмо его свя-

тейшества и наше. И жди ответа.

Далее Кленхен сообщил Шевригину, о чем было написано в грамоте папы. Прежде всего папа посылал царю Ивану «благословение святого Отца» и затем сообщал, что «его святейшеству известно о добром расположении московского венценосца к Римской церкви и к наместнику Христову – папе. Его святейшество знает о могуществе русского государя, о многочисленных его народах, об обширных владениях, о великих одержанных им победах над врагами христианства, о доблести, о военном его искусстве, благоразумии, великодушии, коими он всех удивляет и пленяет, соединяя все это с живейшей ревностью к вере».

– Кардинал Морон, – продолжал Кленхен, – сказал мне: «Заяви царю, что римские первосвященники издревле привыкли своими отеческими наставлениями побуждать великих монархов ко всему изящному для славы Божией, как свидетельствуют летописи и памятники всех народов. Упомяни и о знаменитых ополчениях христианских для завоевания Иерусалима, о славной победе, одержанной над оттоманским флотом при островах Ионических во времена папы Пия Пятого... Внуши царю, что дружество святого отца для него будет зело полезно, что многие властители за их добродетель были удостоены римскими папами королевского сана и титула». А потом кардинал Морон шепнул мне на ухо: «Главная цель твоя будет не только склонить великого князя к политическому союзу с Римской церковью, но к церковно-

му. Сумей возбудить в нем желание к принятию веры католической!»

Шевригин, охваченный любопытством, не успевал вина подливать в сосуд Рудольфа Кленхена. С таким увлечением священник поверял Шевригину тайные дела, что не замечал того и сам, как неуемно опорожнял вино чашу за чашей.

– Ну, а еще что говорил кардинал?! – подвинувшись совсем вплотную к Рудольфу, спросил вполголоса Шевригин.

– А еще сказал он, что государь российский может убедить и шаха персидского к соединению с Европою против оттоманов.

– Но ведь шах персидский – язычник?!

– Когда дело выгодное, не грех дружить и с диким зверем, с носорогом.

– Ну, а еще что говорил кардинал? – покраснев от напряжения и крепко сжав руку священника, прошептал Леонтий Истома.

Совсем уже опьяневший, Рудольф произнес хмуро:

– Сказал... сказал... что император – ворона... и... глупец... Не любит он цесаря за слабость!

– Почему он так сказал? Отче, не скрывай! – продолжал расспрашивать попа Шевригин. – В каких мерах папа с цесарем?

Собравшись с силами, тот ответил:

– Император... должен был заключить союз с Москвой, он и сам хочет... да князей своих боится, его надо убить, папа

нашел бы на его место достойнейшего. Может быть, его и убьют. Папа сердит на него.

Шевригин, красный, лукаво улыбающийся, откинулся на спинку высокого остроконечного готического кресла и многозначительно закрыл глаза, что-то обдумывая...

Вдруг, встрепенувшись, он спросил:

– Но ты мне, отче, не сказал: почему же ты не попал в Москву?

– Смешной ты человек! – пьяно расхохотался Кленхен. – Папе уже донесли, что царь собирается тебя послать в Рим к его святейшеству... Тайные люди есть у папы близ московского великокняжеского трона... Через Польшу пришло известие еще в ту пору, как ты и не знал, что тебя пошлет царь к папе.

Не ожидавший такого ответа Шевригин привскочил на месте, пораженный словами попа.

– Тайные люди?! – с недоумением повторил он.

– Что же ты удивляешься? Его святейшество по всему миру рассеял своих приверженцев... Разве ты не знаешь, что на земле Божией идет великая борьба католических праведников с еретиками-протестантами? Его святейшество должен иметь при государях своих людей. Да и ваш государь может быть полезен папам... В Ватикане давно интересуются московским двором. Как же папе не иметь своих людей?!

В это время из сада в палату вернулась толпа ватиканских дворян и рыцарей. С ними явилось несколько красивых жен-

щин, которые вдруг подлетели к Истоме-Шевригину и, грациозно поклонившись, с задорными улыбками на лицах поднесли ему букеты цветов, назвав посла «любезным синьором Леонтием».

Шевригин поднялся с кресла, растерянно погладил свою бородку и сказал смущенно:

– Благодарю... по какой причине оная честь?!

Подскочил Франческо Паллавичино, услужливо перевел сказанное Шевригиным, лукаво подмигивая ему.

Мужчины и женщины весело рассмеялись; а одна из них подошла к нему и сказала, жеманно улыбаясь:

– Вы – посол знаменитого монарха... Этого достаточно.

Затем Шевригин пригласил всех сесть за стол.

Откуда-то явились музыканты с флейтами и арфами.

Началось веселье с новою силой, шумное, дикое веселье.

Вскоре глаза всех женщин были обращены в сторону Игнатия Хвостова.

– Какой красавец! – громко сказала одна из них. Это же повторили и все остальные.

Хвостов понял их слова, слегка покраснел, отвернулся.

Хмельной поп Рудольф Кленхен погрозился на женщин пальцем и сказал им тихо, вероятно, что-нибудь непотребное, ибо все женщины смущенно захихикали, закрыв лицо ладонями.

Один из дворян вскочил с места и, подняв свою чашу, громко провозгласил тост за русского великого князя.

Поднялись с места все находившиеся в палате.

Московские люди, не понимая восклицаний, которые то и дело раздавались в толпе быстро опьяневших мужчин и женщин, чувствовали себя великими грешниками. Шевригин крепился, стараясь и во хмелю в полной мере сохранять свое достоинство посла.

Священник Рудольф закричал по-русски:

– Мы – соль земли, а соль надо мочить, нехороший дух в сухой соли...

И выпил залпом вино из бокала.

Чем дальше шла гульба, тем теснее льнули к московским гостям охмелевшие черноглазые женщины и тем сдержанней становились Шевригин и его друзья. Особенно осмелели женщины, столпившись около Игнатия Хвостова.

– Неужели, – крикнули они попу Рудольфу, – в Московии все красавцы не умеют пользоваться близостью красоток?

– Москва – не Ватикан! – с пьяной грубостью ответил поп.

– Остерегись, парень! – кивнул Хвостову Истома. – Неспроста это! Не верю я здесь никому ни на грош.

– Помилуй, Истома, буду ли я?! Одну я люблю и век ее не забуду, – неловко сторонясь от назойливых красавиц, сказал Игнатий.

Зато Франческо Паллавичино совершенно потерял голову и куда-то исчез с одной из девиц у всех на глазах.

– С него пример не бери, – хитро улыбнувшись, сказал Шевригин. – Он – итальянец.

Рудольф взял под руку Шевригина и, пошатываясь, вышел с ним в сад.

– По-русски говорят: «спасибо!» Так и я тебе скажу. Давно уж не приходилось мне веселиться. Его святейшество папа Григорий наш не такой, как то было прежде. Он – суровый... Он... не любит распутства и пьянства... Он – великий человек... Он трудится над искоренением еретичества в Европе... Папу честные люди уважают. Упрекать его не за что. Он – одержимый... Ему хочется окатоличить даже домашний скот, кур и петухов. Его надо бояться... Он – король иезуитов... Нет таких средств, которых бы он чуждался. Варфоломеевскую ночь он праздновал, будто Пасху... Он хочет именем Иисуса покорить весь мир... А на Москву он давно глядит своим хищным оком... Ты можешь быть очень полезен царю, коли будешь умно вести дело с ним... Во все страны он разослал своих людей. Они поднимают Ирландию против королевы Елизаветы. Они помогают испанскому Филиппу сеять смерть среди лютеран... И к вам он пошлет... Обязательно пошлет иезуита... Передай царю, что я говорю, а за это и не забудь меня... Я – бедный, одинокий... Меня некому пожалеть... Ах, как тяжело стало служить у престола нынешнего первосвященника!.. Он хочет, чтобы мы были святые. Обидно! Кардиналы теперь развратничают втихомолку.

На глазах Рудольфа выступили слезы.

– Только молчи... Никому не говори моих слов о папе. Не то меня сожгут... Живьем, без всякого сожаления... О вашем

царе болтают разные страсти, но где больше ужасов, чем у нас?! Я думаю, в аду менее строгие порядки, чем у римских первосвященников... В аду жарят на огне грешников, в Риме – праведников. Вся земля объята смутой, везде льется кровь по милости пап! Только молчи!.. Никому не говори!

В саду Шевригин и поп Рудольф наткнулись на Паллавичино с его дамой. Шевригин от стыда покраснел и, перекрестившись, прошептал: «Охрани нас, Господи, от дьявольских искушений!»

Из палаты Медичи неслись дикие выкрики, визг женщин, хохот, звон посуды...

Над головой в темно-синем небе светились жемчугом мириады звезд. Где-то звенели струны гитар. Шевригин тихо сказал попу Рудольфу:

– Служи нам... Батюшка государь озолотит тебя...

Поп скромно промолчал и затем, глубоко вздохнув, сказал:

– Я уже начал служить... Скажи об этом своему великому князю...

II

В палате дворца Медичи – Истома-Шевригин и Игнатий.

Шевригин тихо говорит, Игнатий пишет:

«Кардиналы есть советники папы, его вельможи... Те люди прилагают усердие к возвеличению власти папы, и к тому

ж каждый из них втайне норовит быть сам папой... Кардиналы носят красные шапки, а сам папа венец... Тот венец прозывается тиарой... Кардиналов много, около шести десятков, почитай. Кардиналы, что были монахами, могут жениться, а те, что не были монахами... не могут. Они держат при себе непотребных женок, именуемых „любовницами“... При папском дворе многое множество подобных женок, кои кормятся около папского престола... А в каких мерах они с теми кардиналами и прочими священниками – о том грешно писать... блудницы искушали и моих подьячих Васильева Антошку и Голубева Сережку... И хотя оба подьячих во хмелю были, но колдовству их не поддались, как потом они мне сами сказывали... Поведал мне один ихний человек о покойном ныне папе Александре Шестом... А рассказы те передать не имею сил... Тот папа даже дите имел от родной дочери. Лукреция ее прозывали. Прости нас Господи, куда мы попали!.. Тут даже грехами торгуют... На разные грехи разные цены. У них, сколь хочешь, греши, потому что от греха можно потом откупиться, не как у нас. А доход идет в пользу папиной казны. А он богат и дюже скуп... Сказать попросту: народ здесь, у папы, неверующий, по названию токмо христианский, многие попы больны дурною болезнью, и, коли не государева бы воля, во всю бы жизнь я к папе оному не поехал, ибо бес вокруг нас так и ходит, так и толкает в пропасть грехопадения...»

Послышался шум. Игнатий испуганно спрятал написан-

ное за пазуху.

Явился сам Медичи, одетый в шелковые одежды; от него пахло розовым маслом. Он был весел. Его сопровождали несколько ватиканских дворян. Учтиво раскланявшись, Медичи поздравил Шевригина с предстоящей аудиенцией у его святейшества.

– Сегодня после полудня святой отец изволит допустить вас в свои покои для беседы с его святейшеством... Надеюсь, что благородные синьоры столь благоразумны, что сумеют соблюсти необходимый ритуал при отдании полагающихся папе знаков уважения и почета. О том в Ватикане благородным синьорам будет указано особо.

Шевригин и Хвостов низко поклонились в ответ на эти слова Медичи.

– Московские люди – верные слуги своего государя, – сказал Шевригин. – А батюшка государь наш, царь всея Руси Иван Васильевич, посылая нас, велел почтить его святейшество исконно обычными у нас на Руси знаками великого почета, как и прочих владык, дружественных его величеству, нашему государю... Господь Бог умудрит достойно собеседовать с его святейшеством.

Медичи, стоя неподвижно, с лицом, выражавшим почтительное внимание, выслушал слова Шевригина, а выслушав, низко поклонился.

– Я передам его святейшеству приветливые слова благородных синьоров, послов государя.

Переводчиком при этом разговоре был вчерашний католический священник Рудольф Кленхен, которому во время происходившей накануне попойки Шевригин тайком подарил золотую чарку. Уйдя вместе с Медичи, он вскоре вернулся и попросил у Шевригина вина. Тот с громадною охотою стал угощать каноника.

– Полюбили мы тебя, Рудольф, простяга ты... Не похож на тех, что ходят к нам, – добродушно похлопывая Кленхена по плечу, сказал Шевригин. – Одарим мы тебя, коли будешь держать московскую сторону.

Он налил вина ему и Хвостову.

– Поведай нам что-нибудь о папах. Нам нужно побольше знать о святейших правителях, чтобы было что государю потом доложить, да и самим чтобы дураками не остаться.

Рудольф тяжело вздохнул, выпил свое вино и, обтерев широким рукавом губы, покачал головою:

– Теперь уж не то, что было, далеко не то! Ограбили немцы Рим. При Клименте Седьмом на Рим напали шайки реформистов. Осадил нас своим голодным войском Карл Бурбонский... У него было пятнадцать тысяч немецких ландскнехтов. А вожаком их был Георг Фрундсберг. Этот немец ненавидел папу. Он носил при себе золотую веревку... Добивался повесить на ней святейшего. Папа бежал в замок Ангела. В ту пору Рим попал в лапы немцам. Они грабили все, что только находили. Они крали и убивали, сколько их душе угодно. Ландскнехты надели на себя шляпы кардиналов и

их длинные красные сутаны, разъезжали по городу на ослах, ломались, кривлялись. Здоровенный немец Вильгельм фон Зандицелл в одежде римского папы нарочно разъезжал перед замком Ангела. Немцы, одетые кардиналами, кричали: «Мы заставим тебя, безбожный папа, слушать нашего императора... Мы сделаем Лютера папой».

Продолжая потягивать вино, Рудольф с досадой махнул рукой:

– Не было счастья у того папы Климента, не было и ума. Сатана, видимо, надоумил его отлучить от церкви английского деспота – короля Генриха Восьмого... Генрих со всей страной после этого отрекся от Рима, а папа потерял «грош святого Петра» – ежегодный налог, который английское государство платило папе... А это значит: тридцать восемь миллионов гульденов убытка! Недальновидный был папа Климент! Не то уж стало теперь в Ватикане.

Сокрушенно вздыхая, Кленхен с чувством горечи и обиды жадно поглотил десятую чарку вина.

Он встал, поклонился и, сказав, что ему нельзя находиться долго в отлучке, ушел.

Шевригин с бедовой улыбкой почесал под бородой:

– Ну и дела тут! А еще мы у себя горюем: это не так да это не так, а посмотришь кругом – везде столь богато и весело, что хоть волк траву ешь! Ты, Игнатий, потом все это запиши. Государю доложим...

За окном солнце. Благоухают цветы в саду. Апельсиновые

деревья со своими сверкающими на солнце листьями разомлели. К косякам окон жмутся гирляндами листья плюща и дикого винограда. Вокруг них, кажется, трепещет дымка нежной испарины. На статуи в саду то и дело садятся ярко-желтые, одурманенные теплом бабочки. Где-то по соседству играет орган духовные песни.

– Долго не идут наши подьячие! – сказал, глядя в окно, Шевригин.

Он послал их вместе с Франческо Паллавичино за книгами для царя. Вчера один из вельмож приказал ватиканскому библиотекарю выдать из книгохранилища принадлежащие папе, как дар его святейшества государю Ивану Васильевичу, книги на сербском и греческом языках, которые печатались в Ватикане по желанию самого папы Григория. В них было подробное изложение споров на Флорентийском и Тридентском соборах.

Игнатий Хвостов на слова Шевригина отозвался шутливым замечанием:

– Тридентский собор восемнадцать лет длился. Не беда, коли наши подьячие немного и задержатся...

– Восемнадцать лет?! – удивился Истома, обернувшись.

– Иезуиты хозяйничали на нем... Могла ли от таких споров быть прибыль реформатам? Папа всех перехитрил.

– Вот куда мы с тобою, Игнатий, попали!.. Власть тут, видать, поповская! Можно ли ждать чего-нибудь доброго от такого управления?

– Война братоубийственная в здешних царствах... Ихняя распря на долгие годы... Меняют веру с пролитием крови, с яростью звериною. И убивают кощунственно: с крестом и молитвою.

– Папа того же хочет и у нас... Шепнул мне поп Рудольф. Молчи пока – что я тебе скажу. Шепнул он мне, бес, такое, что мороз меня пробрал по коже. Будто папа пошлет с нами какого-то своего кардинала-иезуита, чтобы он нашего батюшку Ивана Васильевича в ихнюю веру, папскую, обратил... Царь ждет посла – князя либо дворянина, а нам посылают иезуита. Кажи вид, будто того ведать не ведаешь, а когда объявят – кажи вид не в пример радостный... Будем благодарить папу. Пускай едет. Государь всякого найдет своим словом. Его иезуитом не испугаешь.

Явились и подьячие. На тележке, запряженной двумя осликами, они привезли пять больших книжиц в кожаных мешках, обвязанных серебряными цепями. Оба подьячих были потные, красные и что-то чересчур разговорчивые.

Шевригин посмотрел на них подозрительно.

– Что это вы зело бойки пришли?! А?

– Винца хлебнули фряжского из ягоды... Угощали нас.

– Смотрите! – грозно проговорил Шевригин. – За непослушание – в Москве ответ держать будете.

Оба подьячих кротко поникли головами.

– Зря угощать здешние святые не станут! Цель свою имеют.

– Винимся, Леонтий Истомыч, соблазнились... Денек-то уж больно веселенький, солнечный... Мы с бусурманами ничего не говорили... Ни слова... Они пробовали попытать нас, да нешто мы скажем... Пили молча, в благочинии. Денек-то уж очень веселенький, будто ангелы улыбаются.

– Ладно. Веселенький денек!.. Уберите книги в мой сундук. После полудня мы с Игнатием пойдем в папин дворец, а вы останетесь здесь. Блюдите порядок.

– Добро, Леонтий Истомыч, добро, батюшка. Будем блюсти порядок.

В одной из палат стояло два сундука, привезенных из Копенгагена. В эти сундуки, деловито пыхтя, подьячие поровну разложили книги.

– Эвона, сколь много нечести навьючил на ослов римский папа... – усмехнулся Шевригин, следя за работой подьячих. – Долгонько, однако, мы уж тут, в Риме ихнем, засиделись. Пора бы толку добиться, да и домой... Буду просить папу отпустить нас скорее, – озабоченно поглядывая в окно, добавил он.

На улице послышался конский топот и скрип колес. Шевригин высунулся в окно.

– Едут. Ну-ка, Игнатий, погляди: много ли там их, провожатых, да и все ли высокого звания?.. Государеву честь надо соблюдать по чину.

Хвостов быстро вышел на крыльцо, а вернувшись, сказал:

– Десятка два рыцарей и столько же дворян... Три повоз-

ки...

– Ну, слава Богу! Не обидно, – облегченно вздохнув, произнес Истома.

Он подошел к большому зеркалу в золотой оправе, внимательно осмотрел себя. На днях он коротко подстриг бороду и усы. Царь разрешил, коли явится необходимость при дворе папы, и совсем обрить бороду. Так нередко бывало в посольских делах московского двора. Игнатий Хвостов оставил только небольшие усики, от чего стало еще прекраснее его румяное чернобровое лицо. Римлянки, пылкие и несдержанные в своих чувствах, нередко дарили ему прямо на улице при встречах цветы. Подьячий Антон Васильев, втайне считавший себя красавцем, носивший из франтовства золотую серьгу в правом ухе, постоянно завидовал его красоте, но виду не показывал, а один раз и вовсе громко вздохнул, оставшись наедине с Хвостовым:

– Что мне делать? Здешние девки мне проходу не дают... Зарятся на меня, а я женат и дите имею... Вот беда-то!

Игнатий посмотрел на него своими умными глазами и строго сказал:

– Полно тебе, Антоша, постыдись! Думай о государевом деле. Не к лицу тебе такие речи.

Смутился, покраснел подьячий Васильев, внутренне упрекая сам себя за свои слова: хотел сделать больно Хвостову, а вышло наоборот.

Держал себя ровно, спокойно Игнатий, где бы ни нахо-

дился, и тем снискал большую привязанность к себе Истомы-Шевригина и возбудил еще большее любопытство у посещавших дворец Медичи женщин.

– Борис Федорович не ошибся – тебя послал со мною. В посольском деле ты пригожий человек... Из тебя выйдет толк. А главное, в чужих странах не верь никому, особливо уветливым словам. Держись твердо. Да и на рожон не лезь. Бывает – лучше гнуться, чем переломиться...

В палату едва слышно вошли посланные папою к Шевригину дворяне; они поклонились Истоме. Один из них сказал:

– Его святейшество изволит приглашать вас к себе.

Оставшись одни, подьячие некоторое время сидели молча, лукаво переглядываясь между собой.

Антон Васильев мечтательно закрыл глаза:

– В этой стране, где солнце даже под рубаху залезает, трудно быть праведником... Дорогой брат Сергей, не суди меня! Слаб я! Каюсь!

– Дорогой брат Антон, и ты меня не суди. Грешен и я. Не скрою.

– В Посланиях к коринфянам сказано: «Осквернитеся людие блужданием с дочерьми Мсавли... И разгневался Господь на Израиля!»

– А в книге заволжских старцев и вовсе сказано: «Будь проклят имевший блудное сожитие с иноплеменными!»

– Теперь я вижу, брат Антон, не зря государь головы ру-

бил заволжским старцам. Запугали нашего брата своею праведностью.

Антон рассмеялся:

– Да что же это мы: «брат» да «брат»?! Будто латынские монахи...

– С кем поведешься – от того и наберешься, Антоша.

– В Писании же сказано: «Человече, не гляди на деву многохотну, на деву красноличную, да не впадеши нагло в грех, о красоте бо женстей мнози соблазнишися, дерзновенно упивашеся и в грехе затеряшеся...» Что ты на это скажешь?!

– Даю зарок – сторониться змеиного ихнего бабьего соблазна... Попробую.

Только что он произнес эти слова, как в палату вошли четыре молодые девушки с цветами в руках. Прикрыли свои лица букетами роз.

Оба дьяка вскочили со своих мест, как ужаленные, низко поклонились девушкам. Те подошли совсем близко к ним и вручили им букеты.

Антон Васильев как-то нерешительно подвинул кресло одной из них. Голубев – другой. Васильев – третьей. Голубев – четвертой. «Вчерашние!» – шепнул Васильев на ухо товарищу незаметно.

Девушки были молоденькие, смуглые, черноглазые. Одна из них начала что-то говорить тоненьким, приятным голоском, все время опуская взгляд долу. Другие, слушая ее, улыбались. А улыбка была такая у всех приветливая, неж-

ная, невинная, что Антону показалось, будто это сами ангелы вдруг слетели с небес.

– Ах, девка, девка, хорошо ты говоришь, да ничего не понимаем мы... Видать, говоришь ты нам что-то хорошее... Дай, я тебя облобызаю по нашему старинному русскому обычаю. Ух ты какая! Господи!

Он быстро подошел к ней и крепко ее обнял.

Девушки ахнули и, уткнувшись друг в дружку, весело расхохотались.

– Антон, – послышался унылый голос Сергея Голубева. – Не пугай невинных голубиц! Грешно! Не смущай ангельские души, подосланные к нам иезуитами!

– Сережа!.. Забыл, как вчера ты вечером, в саду?!

Подьячий Васильев указал пальцем девушкам на Сергея.

– Развеселите его... Ну!

Одна девица быстро побежала к Голубеву, села ему на колени и обвила руками его шею.

Звонкий смех девушек зазвенел в ушах подьячих.

– Антоша, я погибаю!.. Тону, опускаюсь на дно погибели!.. Антоша!..

– Крепись, Сережа... Не поддавайся... испытывают!

Васильев, указывая девушкам на дверь, несколько раз вразумительно повторил:

– Наши ушли... ушли... к папе ушли... к папе!

Девушки, ничего не понимая, смеялись, повторяя: «папа», «папа»!

– Сережка, крепись!.. – бормотал Антон, обхватив своими руками двух римлянок. – У-х ведьмы! Бес бы вас, окаянных, побрал!

– Креплюсь, да ровно огнем хватает... Горю!

– Вот те и Послание к коринфянам!

– Кого, Сережа, черт рогами не пырял! Ничего не поделаешь... Уф! Не сидит, бестия, спокойно... Ровно белка... Все одно ничего не выпытаешь... Не поддамся!

Антон вдруг вскочил, словно сумасшедший, закричал:

– Айда в сад! Там не видно! Меньше сраму.

Только это одно и поняли юные римлянки: послушно побежали в сад, откуда доносился пьянящий аромат жасминов.

Ватикан показался Шевригину и Хвостову целым городом, мрачным, громоздким, невеселым. Всюду стража, закованная в железо; стража какая-то хмурая, жуткая, будто неживая. Громадные бронзовые ворота, в которые пешком вошли Шевригин и Хвостов, сопровождаемые офицерами и камерариями [4] папы, давили своею громоздкостью. Мозг московского человека привык к восприятию просторов, свободного пространства как на земле, так и над головами, а эта тяжесть каменных громад стискивала мысль, связывала человеческую волю.

Миновав множество площадок, огражденных то колоннадами, то каменными стенами, московские послы попали, на-

[4] Доверенные слуги при папе.

конец, во дворец к папе. Пока шли, поминутно останавливала стража, опрашивала, и, когда камерарии что-то тихо страже говорили, проход становился беспрепятственным.

Во дворце папы можно было заблудиться – столько разных палат, комнат и коридоров. Всюду бросались в глаза роскошь и богатство в убранстве великолепных покоев ватиканского жилища папы.

Шевригин, как человек бывалый, привык не удивляться и не восхищаться чужеземными редкостями. И потому спокойно, равнодушно созерцал окружающее. Хвостов пытался высказывать ему свое удивление и восхищение по поводу виденного. Истома резко остановил его: «Делай вид, что нас не удивишь». Однако парня трудно было заставить быть бесчувственным в созерцании редкостей, рассеянных по залам и комнатам папского дворца.

Но вот Шевригин и Хвостов предстали перед папой. Шевригин внимательно вглядывался в умное бородатое лицо Григория Тринадцатого. Согласно обычаю, поцеловали туфлю на ноге папы, сидевшего в Малой Тронной зале на бархатном троне. Около него находились два кардинала, одетые в красные сутаны. Сам папа был в белой шелковой мантии, а на голове у него сияла золотая в драгоценных камнях тиара.

Папа выглядел усталым, желтым, только глаза смотрели остро.

После обмена приветствиями, о порядке которых было

Шевригину подробно рассказано самим Медичи, Шевригин передал папе грамоту царя, а в ней говорилось:

1) В прежние годы между отцом нашим и римскими папами были переговоры о любви и союзе. С своей стороны и мы неоднократно пересылались посольствами с братом нашим императором Максимилианом, причем наши послы сказывали, что он имеет сердечное желание стоять с нами заодно против недругов и что на это он имеет твой совет и согласие. Дружественные сношения продолжались у нас и с преемником Максимилиана, сыном его Рудольфом, и мы питали душевное желание, чтобы дом цезарей утвердился на польском престоле.

2) Но случилось, что польская корона перешла к посаженику турецкого султана, семиградскому воеводе Стефану Баторию, который сначала хотел иметь с нами мир на три года. Но когда мы отправили к нему своих великих послов, он их обесчестил и у себя задержал и, чего ни в мусульманских, ни в других городах не бывало, нарушил крестное целование и перемирную грамоту к нам назад отослал. Заручившись затем союзом с султаном и крымским ханом, пришел в нашу отчизну в Полоцк и поныне, не переставая, разливает кровь христианскую. Желая прекращения кровопролития, мы опять отправили к нему послов, а его люди в то же время пришли на наши украины и добывают наши города.

3) А Стефан король разгневался на нас за то, что мы хотели союза с цезарем и прочили польскую корону одному из

императорских принцев.

4) И вот мы, видя такую безмерную его гордость и союз с неверными на пролитие христианской крови, посылаем к тебе с извещением, что желаем быть в союзе и единении с тобою и цезарем Рудольфом против бесерменских государей, «дабы христианство было в тишине и покое и освободилось от мусульманских рук».

5) А посему «ты бы, Григорий папа, пастырь и учитель Римские церкви... к Стефану еси королю от своего пастырства и учительства приказал, чтоб Стефан король с бесер-менскими государи не складывался и на кроворазлитие христьянское не стоял».

6) В заключение высказывается желание, чтобы впредь между Римом и Москвой были сношения по-прежнему, и чтобы «наши люди» свободно ездили из нашей страны в вашу и наоборот, как было при отце моем, и чтобы папа прислал своего человека с известием, «как ты с нами и Рудольф цезарь и иные христианские государи против бесерменства во единстве и в добром согласии быть хотите».

Папа, познакомившись с грамотой, приветливо улыбнулся:

– Честь и хвала государю твоему: решился он по примеру предков вступить в дружественные отношения с Римом.

После этого, согласно царскому приказу, Шевригин поднес папе пару великолепных соболей. Папа с улыбкой удовольствия стал рассматривать подарок.

Далее папа говорил о своей готовности и желании поддержать мир и союз между христианскими народами. Он с явным удивлением на лице заявил, что ему не было известно о союзе польского короля с султаном и крымским ханом, «ибо тому уж два года, как тот король явственно писал и извещал» о противном. Папа давал совет прекратить вражду и возвратить то, что один у другого взял кривдою. После того надо польские и русские силы, по мнению папы, направить против неверных. Единения не может быть, сказал он, вне любви христианской, и нет места любви вне союза с церковью Римской. Константинополь потому и пал, что не остался верен постановлениям Флорентийского собора. Турецкое порабощение угрожает всем, кто не стоит в союзе с Римом.

– Передайте мой совет вашему государю подумать об этом и ознакомиться с постановлениями Флорентийского собора. Для государя вашего будет сделано все со стороны Рима и христианских государей, если он будет в союзе с апостольскою церковью.

Папа указал на стоящего недалеко от трона священника.

– Вот мой посол к царю – Антонио Поссевин. Он поедет вместе с тобою в Москву. Знакомься с ним.

Поссевин низко поклонился Шевригину.

Шевригин ему.

Договорились: завтра поутру встретиться у московского посла, во дворце Медичи. Поссевин сказал:

– Его святейшество поручил мне убедить короля Стефана

Батория, чтобы он войною на ваши земли не ходил и христианской крови не проливал.

Вернулись Истома и Хвостов из Ватикана уже поздно, под вечер, сопровождаемые слугами, которые несли перед ними факелы. В небе выступили звезды. В садах слышался женский смех и нежный звон струн. Скрытые в зелени музыканты нежным трепетанием звуков, уж конечно, проникали в самые сердца видимых и невидимых слушателей.

Когда посол и его помощники вошли в отведенную им палату, то их глазам представилась такая картина: подьячий Антон Васильев, сидя за столом и положив на него руки, а на руки голову, спал крепчайшим сном, оглашая палату богатырским храпом, а около его головы в беспорядке были разбросаны четыре букета цветов.

Подьячего Сергея Голубева в комнате не было.

Шевригин и Хвостов вышли в сад. Там они нашли и его. Он лежал навзничь на мраморной скамье; у изголовья его была привешена на ленточке дощечка, на ней написано:

«Omnia tempys habent!»

Игнатий рассмеялся:

– Это латинская надпись: «Всему свое время!»

Шевригин и Хвостов растолкали Голубева. Протирая с удивлением глаза, он спросил:

– Ехать?

– Не ехать, а посла встречать своего. Что это с тобой?

Голубев тяжело вздохнул:

– Девки тут какие-то приходили. А мы ничего.

Разбудили и Васильева. Шевригин показал им дощечку с надписью.

– Тут по-латынски писано: «На все свое время!» Что это обозначает? К чему это?

Васильев ухмыльнулся:

– Это не я... Это он, Сережка, лез к ним...

– К кому «к ним»?

– Тут девчонки бусурманские приходили... Вон добра тут нам принесли, вон, гляди!.. – Васильев указал на цветы.

– Они вас ни о чем не расспрашивали?

– Нет. Только вот о нем, – кивнул в сторону Игнатия Сергей Голубев. – Уж очень полюбился он им...

– А зачем ты сам-то лез к ним?!

Голубев опять тяжело, даже со свистом, вздохнул.

– Винюсь! Токмо так... Попусту приходили... Выведать им ничего не удалось. Ей-Богу!

– Вы не унимаетесь? Ну, ждите государевой грозы! – сердито произнес Шевригин.

Из Рима посольство царя выехало большим караваном. Присоединился веселый, расторопный иезуит Антоний Поссевин, посол папы, со своими провожателями. Он немного говорил по-русски. Без посредничества Франческо Паллавичино, однако, не обошлось. Поссевин склонил Шеври-

гина ехать через Венецию. Правда, в государевом наказе послу было твердо указано, что «опричь грамоты приказу нет никакого», но иезуит сумел доказать Шевригину, что, кроме пользы, от поездки в Венецию ничего не будет.

Шевригин остался беседою с папой не совсем доволен. Царь Иван о вере ничего не говорил. Он писал, чтобы папа римский подумал о союзе с Москвою против турок, причем в грамоте государевой ясно было сказано, что союзу «для борьбы с врагами христианства – турками» мешает Стефан Баторий; он льет христианскую кровь при поддержке турок. При их помощи он владел и польско-литовским престолом. А папа твердит о необходимости присоединения России к католической церкви. Одно утешало Истому, что папа отправляет своего посла в Москву. Этого желал царь. Пускай там сам государь и разбирается!

– Его святейшество, – сказал Поссевин, когда Рим остался позади, – поручил мне поговорить с венецианцами о торговых сношениях с Москвой, для чего нужно разъяснить Республике благочестивое намерение его святейшества... От сего будет великая польза религии и торговле Венеции. Вот почему не надобно проходить мимо Венеции.

Шевригин хмуро спросил:

– А нам какая польза, нашему батюшке государю, от того?

– Польза будет немалая, коли богатые венецианские купцы станут ездить к вам, да и союз против турок поддержат, а государь ваш, мудрый Иван Васильевич, рад будет новому

союзнику. Венеция сильна на морях. Венецианцы – свободный народ; они не признают власти ни цесаря-императора, ни папы. Они сами по себе.

Шевригин не прочь был выслужиться перед царем. Слушая Поссевина, он загорелся желанием обрадовать Ивана Васильевича торговлею с Венецианской республикой, поэтому и согласился направить путь посольства в Венецию.

Поссевин был розовощекий, широкоплечий монах. Глаза его немного косили, и от этого на лице лежал отпечаток хитрости. Толстые чувственные губы и крупный красноватый нос вместе с жирным отвисшим подбородком намекали на то, что человек пожил в полное свое удовольствие на белом свете. Шевригин был доволен его разговорчивостью. Он с большим вниманием прислушивался к его бойким речам. Нравилось ли ему, Шевригину, то или иное рассуждение иезуита или нет, он все равно слушал молча, стараясь извлечь из его слов что-нибудь для себя полезное.

Колымаги, в которых ехали Шевригин со своими людьми и Антоний Поссевин, сопровождали конные мушкетеры в круглых войлочных шляпах под начальством двух скакавших впереди офицеров. Кроме мушкетов, воины были вооружены шпагами.

Поссевин сказал сидевшему рядом с ним Шевригину:

– Его святейшество, увы, обеспокоен тем, что коли на нас нападут разбойники, каковых в этих местах немало, тогда навеки рушится дружба с вашим государем. На дорогах кру-

гом Рима происходят постоянные грабежи и убийства, к тому же разбойники здесь крайне жестоки и бесчеловечны. Они не нападают только на бедняков, у которых не имеется и гроша за душой. А главное... О, стыд, о, позор! – Поссевин закрыл лицо ладонями. – Язык мой не поворачивается, чтобы сказать вам это.

– Полно... говори... Худое и останется худым, хорошее останется хорошим...

– О дорогой брат, это чудовищно, что вы теперь услышите от меня! – всплеснув руками, голосом, в котором слышался страх, смешанный со стыдом, воскликнул иезуит.

– Ничего... Бог спасет, говори, – добродушно улыбаясь, произнес Шевригин.

– Так слушайте! Именно эти разбойники помогали многим нашим знатным синьорам богатеть и расширять свои владения. Ими за деньги пользовались те, кому они были нужны. Такие важные господа, как Стефан Колонна, не стыдились быть в сговоре с разбойниками... Их оружием он сводил счеты с неугодными ему вельможами. Здесь недорого продается рука убийцы с кинжалом... Наемные убийцы здесь в большом употреблении. Дорогой монсиньор, я прошу вас: не рассказывайте об этом никому в Москве. Я не хочу, чтобы о нас думали плохо. Если дойдет слух до Колонны или Орсини, что я рассказал вам, они могут меня лишить жизни. Для этого у нас особого труда не требуется. Правосудие у нас не в почете. Видите, монсиньор, с каким доверием я

отношусь к вам.

– Спасибо! Я знал, что ты человек правдивый, – сказал Шевригин.

Сидевший за спинами Поссевина и Шевригина Паллавичино, выполнявший обязанности переводчика, насмешливо улыбнулся, чего не могли, конечно, заметить ни Поссевин, ни Шевригин. То, о чем так таинственно и с такими оговорками рассказывает Поссевин, невелика тайна: об этом давно знает вся Европа, да и в других государствах разбойничьи шайки охотно привлекаются вельможами для сведения личных счетов и для выгодных нападений на замки других вельмож. Стоит ли просить Шевригина хранить это в тайне?! Таковы иезуиты: любят морочить головы другим людям. Паллавичино ненавидел иезуитов. Он хорошо знал их «работу» по Венеции, куда он со страхом теперь ехал.

Дорогою между Антонием Поссевином и Шевригиным было много разговоров о короле Стефане Батории.

Шевригин первый начал их. Он сказал:

– А ведь то правда, Антоний, что Стефана на престол в Литву посадили турки.

– То правда, монсиньор, но и то правда, что поляки и Литва сильно хотели видеть у себя на престоле вашего царя либо его сына, да царь сам будто бы не очень того хотел, выставлял невыполнимые требования, а то сидеть бы на польском престоле вашим русским царям.

– Не государь наш, а вельможи польские с Замойским и

другими королями не захотели того... Помню я, у меня память хорошая.

– Император Максимилиан помешал. То я верно знаю, – возразил иезуит. – Сам ваш государь не прочь был поддержать эрцгерцога Эрнеста... Ваш государь в ту пору сдружился с императором. Этою сумятицей около польского престола воспользовался Стефан Баторий.

– А кто его поддержал, кто за него стоял? Его хозяин – турецкий султан. Не так ли?! – оживился Шевригин.

– И то правда, – ответил Поссевин.

– Государь наш в немалом удивлении, – продолжал горячиться Шевригин, – как же так?! Папа хочет воевать с бусурманами, врагами христианской церкви, врагами самого папы, а король, вашей же веры и друг папы, заодно с турками, с его врагами?

Поссевин чувствовал себя прижатым к стене, и все, что он мог сказать, это:

– Не моего ума то дело... Святейший знает, что делает.

– Наш государь всегда прямит. Идет прямой дорогой, а так не делает. Вот о чем он и просит папу, чтобы папа вмешался в нашу войну с Польшей, прекратил кроволитие христианской веры и склонил Стефана стать заодно с другими государями против врага всех христиан – турецкого султана.

Поссевин в раздумье закусил губу.

– Об этом мы поведем беседу с самим мудрейшим из государей, царем Иваном.

– Добро, коли так, – облегченно вздохнул Шевригин, а сам подумал: «Знаем мы, что у тебя на уме, – обратить Русь в латынскую веру! Того не будет!»

Во второй колымаге сидели Игнатий Хвостов и подьячий Антон Васильев. Все время подьячий зевал и крестил себе рот.

– Свят, свят Господь! – говорил он.

– Ты чего это? – спросил Хвостов.

– Грех один, Игнатий! Так вот все время в голову и лезут нагие бабы с отбитыми руками... Истинный Господь! На кой бес этакую вещь придумали?! Да и разбросали еще повсюду. Бесстыдники! Третий день все я думаю о том и никак понять не могу.

Хвостов с удивлением посмотрел на него.

– Не тужи о том, дядя Антон. Не наше дело. А коли грешно, грех тот взыщется не с нас с тобой, а на древних римлянах... Наша забота, как бы государево дело справить. Да так, чтобы государь батюшка доволен остался.

Антон Васильев почесал затылок:

– Оно вестимо. Государево дело превыше всего, токмо я все одно своей бабе о тех голых девках ни слова не скажу, будто и не видел их... Совестливый я дюже человек.

Игнатий рассмеялся.

– Расскажи ей лучше о тех, что цветы тебе приносили.

Лукавая улыбка мелькнула на лице Васильева, он покраснел.

– Как сказать... – произнес он, смутившись. – Панкрат лезет на небо, а черт тянет его за ноги. Так вот и мы... Всяко бывает.

В душе уже теперь Антон Васильев раскаивался, зачем завел разговор о каменных девах, никак не ожидая, что Игнатий коснется его грешных тайн. Немного подумав, он, как бы выразив свою мысль вслух, сказал:

– В каждом мужике бесово ребро играет. Все мы – адамовы ребятки: все на грехи падки... Да и то сказать: наслушался я там всего про римских пап да про ихних монахов – соблазн великий получился. Между прочим, нигде я и не видывал таких ласковых красавиц, как в оном граде. Ни в свейской земле, ни в дацкой, ни в немецкой. Э-эх, Господи! Грехи тяжки!

– Везешь чего-нибудь жене-то в подарок?! – спросил Хвостов.

– Образок везу... Распятие... да Пресвятую Деву... Баба у меня уж такая богомольная, такая богомольная...

Хвостов промолчал. Он вез в подарок Анне Годуновой расшитую шелком большую узорчатую шаль да ожерелье из янтаря. Где бы он ни был, кого бы ни видел, мысли его всегда были об Анне, о том: по-прежнему ли она его любит, не забыла ли, здорова ли? Он постоянно видел обращенные на него взгляды девиц и женщин, но он их старался не замечать, они просто докучали ему. Анна! Одна Анна!..

Путь к Венеции лежал через Флоренцию и Болонью. Про-

ехать около пятисот верст Поссевин предполагал с остановками в дней десять, тем более что приходилось перебираться через снежные хребты Апеннин.

– Эти земли суть владения святейшего папы... Мы везде найдем приют и гостеприимство с грамотою, выданной нам его святейшеством, – сказал Поссевин.

И хотя в природе была весна, апрель, но дико и бедно показалось Шевригину все, что встречалось ему на пути. А таких обнищавших сел и деревень, какие были здесь, у отрогов гор, не приходилось Шевригину видеть даже в разоренной войною родной земле.

Горы были высокие, мрачные, речки мутные, озера какие-то темные. Дорога извивалась между ущелий, холмов, нависших над головою жутких скал, и всюду виднелись высокие вершины Апеннин, сверкающие белизной снежного головного убора.

В одной долине, стиснутой с обеих сторон отвесными скалами, вдруг из бокового ущелья, как из норы, тихо выехали несколько всадников, пытаясь загородить дорогу, но, увидав поодаль, позади колымаг, отряд мушкетеров, всадники снова скрылись в ущелье.

– Грабители... – спокойно сказал Поссевин, даже не повернув головы к Шевригину.

Истома, озадаченный его спокойствием, спросил его через Франческо: почему он так спокойно говорит о разбойниках? Поссевин ответил:

– Я был бы более удивлен, если бы нам попались навстречу честные люди.

Немного подумав, Поссевин добавил:

– А если у нас было бы лютеранство, то итальянцы все бы друг друга перерезали... Итальянцы – народ, живущий чувством, а не умом. Они должны быть католиками. Лютер – безбожник, развратитель народов... Счастье Италии, что на ее земле живет папа. Счастье наше, что Ватикан оберегает Италию от протестантов.

Поссевин стал объяснять Шевригину, какие преимущества католического вероисповедания перед лютеранским. Он подчеркнул с особым самодовольством в голосе, что недаром на Флорентийском соборе император Иоанн Восьмой Палеолог и патриарх Иосиф приняли унию с Римом. Взятие Византии турками, говорил Поссевин, не есть ли небесная кара, наказание греков за их продолжительное исповедание православия?

Тут Шевригин не выдержал и сказал с негодованием:

– Византия пала не за это, а за отступничество, за измену православной вере. Сам святой проповедник, старец Филофей это же сказал. Да и то сказать: тогда же на соборе многие епископы откачнулись от унии, уничтожили свои подписи. Не надо было Византии принимать вашу веру!

Дальше Шевригин стал доказывать, что подлинная Византия не пала... Православная вера не покорена никем. Цареград во власти турок, но не вера. Власть церковная ныне

в Москве. После падения Цареграда Москва стала Третьим Римом.

Поссевин не возражал, а с добродушной улыбкой произнес:

– Не будем спорить. Имея свой Рим, мы не будем тягаться за первенство с Третьим Римом!.. С нас довольно и нашего Рима.

«Не будем – так не будем!» – подумал с веселой улыбкой Шевригин, довольный тем, что заставил иезуита прекратить его хвастовство католической верой.

Во Флоренции путники осматривали монастырь Марии де Лорста. Они прослушали интересный рассказ монахов о том, как Мария пришла из Иерусалима через море в папину землю, где горы покрыты хвойными лесами, где реки тихо перешептываются с цветами...

Ночи стояли светлые. Погода хорошая. Караван с московскими гостями и их поклажей быстро подвигался вперед. Вот уже показалась и Феррара, а затем предстояло переправиться на плотах и через реку По, недалеко до Венецианского залива. Из гущи зелени кое-где выглядывали стены и башни.

Много раз в пути отдыхали. Меняли лошадей. В Ферраре полюбовались красивым замком Бельфиоре. Герцог Феррары оказал дружеский прием московским гостям. Осторожно он справился у Шевригина: «Правда ли, что ваш государь весь оброс шерстью и ест младенцев?»

– Наш государь – добрый христианин, – ответил Шеври-

гин. – Он добрый и заботливый отец русского народа, и то, о чем ты меня спрашиваешь, недостойно слушать моим ушам.

Герцог остался доволен ответом московского посла и вздохнул с великим облегчением.

– Стало быть, меня обманули те, кто мне говорил это. Спасибо тебе, государев человек, за правду!

Он даже облобызал Шевригина.

– Много худого мне пришлось слышать в чужих странах о нашем царе, о нашем народе, да и о порядках наших. Все это – яд зависти и страха, – покачав головою, с тяжелым вздохом произнес Леонтий Истома.

– Не может быть плохим тот владыка, у которого такие преданные слуги, как синьор Шевригин, – громко сказал Поссевин с приятной улыбкой...

После ночевки в Ферраре московский посольский караван двинулся дальше, сопровождаемый благими напутствиями герцога и его дворян. В провожатые послу были даны двести всадников с офицерами.

Через реку По переправились в нарядно украшенных зеленью и цветными материями галерах.

Везде итальянские горожане и поселяне с большим любопытством рассматривали приехавших из далекой Московии знатных людей, встречая их дружелюбно.

Наконец посольский караван добрался до берега Адриатического моря.

– Вот и все, – сказал, облегченно вздохнув, Поссевин. –

Опасности кончились... Теперь прямо в Венецию, морем.

Вскоре послу подали и корабль.

Перед глазами путников раскинулась необозримая водная ширь. В корабль сели на рассвете. Судно это называлось «Нефа». Громадная галера, окрашенная в красный цвет. Паллавичино объяснил, что этот цвет теперь в ходу в Генуе и Венеции. Вымпелы и флаги всюду на рейде виднелись красные. На корабле стояли две высокие мачты из цельного дерева. На их вершинах приделаны были особые коробки, или беседки для наблюдения, что происходит на море: нет ли судов, много ли их, дружественные ли они или враждебные, виден ли берег. Паруса «Нефы» своими размерами удивили Шевригина и его друзей.

Паллавичино сам некоторое время плавал на «нефах» матросом, поэтому с увлечением принялся описывать устройство этого громадного судна разгуливавшим по палубе московским путешественникам...

Рассветало. Апрель – самое лучшее время года в Венеции. Блестящая гладкая поверхность моря покрылась рябью. Но вот она стала серебриться и бледнеть. Казалось, она хочет быть светлее самого неба. На необъятных просторах ее кое-где застыли белые остроконечные трехугольные паруса; черные головастые гондолы шныряли между судами и берегом. Легко дышалось, легко думалось, все располагало к отдыху, к удовольствиям и любви. Нежные переливы зеркальных вод – словно осколки разбитого зеркала, разбросанные по бере-

гам лагуны. О, этот простор великого солнечного царства, которому с севера оградою служат высокие снежные Альпы, а с юга – Апеннины!

– Моя Венеция – морская держава... – с гордостью шепнул на ухо Шевригину Франческо, подозрительно покосившись в сторону Поссевина. – Как грустно прятаться мне, скрывать свое имя в родном городе, и когда? Весной! Пожалейте меня, синьоры и синьориты, мои земляки!

– Ладно... – успокоил его Шевригин. – Недолго будем здесь, а там поедем опять на твою новую родину – в Москву.

Небо на востоке постепенно начинало розоветь, потом налилось густым пурпуром; яснее проступала в вышине и бирюза небес. Брызжущее радостью восхода лучистое морское утро улыбалось московским путешественникам. Венеция, словно видение, в солнечном осиянии, поднималась из воды.

Венеция!

Как часто слышал Шевригин разговоры о ней в Посольском приказе, но никогда не думал он, что это расположенное на островах государство так мало, так ничтожно по сравнению с Русской землей. Ему теперь интересно было знать: в чем же сила Венецианской республики, почему Поссевин нашел необходимым сюда путь держать да и добиваться сношений Московского государства с этакой незначительной державой? Его настроенный деловито ум не поразили волшеб-

ные красоты этого города. Он думал о том: не явится ли ненужной потерей времени его пребывание здесь? Не сделал ли он ошибки, послушав совета Поссевина?

Поссевин вкрадчиво сообщил Шевригину, что сначала он один представится дожу, а затем пойдет во дворец вместе с московским послом.

Шевригин возразил Поссевину. Он пожелал идти к дожу обоим вместе, ибо он, Шевригин, важнее папского посла, он – посол государя Московского. Поссевин, мягко, ласково улыбаясь, старался доказать, что он будет говорить с дожем Венеции не о московских делах, а только о сношениях Рима с Венецией. Между Римом и Венецией замечается охлаждение. Миссия его, Поссевина, в том, чтобы наладить дружбу Венеции с папой. Его святейшество, к сожалению, не видит явного желания со стороны венецианского правительства к вступлению Венеции в союз против турок. Поссевин шепнул на ухо Шевригину, что благородный синьор дож Венеции Николо да Понте сам по себе склонен к дружбе с Ватиканом. Он был представителем Венеции на Тридентском соборе [5], а с ним были там и влиятельные сенаторы Венеции – Барбариго и Тиеполо. Все они трое во всеуслышание заявляли на соборе о своей приверженности к Риму; они не поддерживали протестантов. Это очень верующие люди. Они помогут

[5] Тридентский собор был в 1545 году созван папой Павлом III и императором Карлом V. Цель его – восстановление единства католической церкви, нарушенного Реформацией. Решение собора было в пользу католицизма.

папе в его замыслах.

Поссевин много всего наговорил Шевригину, доказывая необходимость сначала ему одному побеседовать с дожем, но Шевригин, выслушав терпеливо Поссевина, сказал – идти надо вместе.

Поссевин, озадаченный таким необычайным упорством и гордостью московского посла, уступил.

– Да, – засмеялся он заискивающе, – ваш государь имеет замечательных помощников.

Шевригин, которому перевели эти слова, выслушал их как должное, сурово насупившись.

Дож назначил свидание на следующий же день.

Франческо Паллавичино, которому всюду грезилась тройка инквизиторов, наводившая страх на всю Венецию, отказался быть переводчиком и проводником у московских гостей, в ужасе заявив Шевригину, что его могут узнать и тогда никакие силы не спасут его от смерти. Трясущийся, сразу похудевший и побледневший, он остался в квартире, которую в одном из узеньких, темных переулочков отвели Поссевину и Шевригину с помощниками. Поссевин велел одному из каноников, явившемуся к нему на поклон, прислать московским гостям расторопного проводника-чичероне, который показал бы им город. Вскоре такой нашелся. Звали его Асканио.

Он сразу же повел Шевригина и его спутников к Дворцу

дожей.

– Этот чертог, – сказал Асканио, – мозг, сердце и душа Венеции.

Они вступили в роскошный дворик мавританского стиля.

Вдруг Асканио быстро повернулся, сказав тихо:

– Уйдем. Дальше нельзя.

Когда удалились от этого места, он сказал, что сегодня будет большой суд. Инквизиторы третьего дня схватили двух еретиков, «и, чтобы нас не заподозрили в чем-либо, лучше нам уйти отсюда подальше».

Московским людям было удивительно видеть стены домов, уходящие в воду и покрытые черною плесенью. В местах, где вода набегает на камни, виднеются зеленые водоросли, примкнувшие к камню.

Чтобы лучше осмотреть город, пришлось сесть в черную, мрачную гондолу. Проплывая Большим каналом, путешественники любовались множеством каменных дворцов со светлыми галереями, тянувшихся по бокам водяных улиц. Им доставило удовольствие следить за тем, как венецианские женщины и дети быстро сбегают по каменным лестницам, спускаясь прямо к воде, и как они прыгают в ожидавшие их гондолы. У всех лестниц торчали из воды столбы для лодок. Затем они попали в целый лабиринт узких переулочков и мелких каналов, стиснутых высокими тяжелыми каменными стенами.

Подьячий Васильев и тут подметил, что на Игнатия Хво-

стова слишком внимательно посматривают венецианки. В таких случаях он иногда толкал его в бок и буркал ему в самое ухо: «Видишь?!» Хвостову он надоел, и тот сказал: «Не лезь, а то в воду спихну!»

В некоторых местах неподвижность мелких вод, безлюдье, тишина охватывали таким покоем и миром, что забывалось все на свете: и дож, и папа римский, и то, что еще длинный путь предстоит на родину...

Подьячий Сергей Голубев, сидевший рядом с переводчиком Поплером, глядя на воду, вслух мечтал:

– Теперича нам бы ушицы из судачка либо из стерляди – вот бы не худо поесть.

Все молча с ним согласились.

А проводник, чичероне Асканио, указывая то на это, то на другое здание, говорил:

– Есть у нас много подземных тюрем, туда посадят, а потом казнят. – Сказав это, он стал испуганно озираться по сторонам. – Совет Десяти сегодня будет судить. В этот день многих горожан наших будет трясти лихорадка. Страшный день. Всякий боится доносов.

Гондола проплыла мимо трех соборов, базилики святого Марка и многих других зданий.

После этого проводник показал московским людям мосты, какой-то сад, башню... Тихо всплескивалась мутная, маслянистая вода, рассекаемая носом гондолы.

Выбравшись на землю, Шевригин сказал:

– Ну, слава Богу! Тут, однакож, тверже чувствуешь себя. Одно на воде хорошо, пыли нет.

Побывали Шевригин и его спутники и на площади святого Марка, полюбовались на башню. Насмотрелись на громады домов, на церкви; крылатого льва видели. На площади Марка было много голубей. Они совсем не боялись людей, садились к кормившим их девушкам на плечи, принимали из их рта еду.

Всего насмотрелись московские люди и, усталые, голодные, вернулись к себе на квартиру, отпустив чичероне...

Из-под одной постели вылез Франческо.

Шевригин и его друзья от души расхохотались, видя жалкое, испуганное лицо Паллавичино.

– Что, брат! Плохо же тебя принимают соотечественники, – проговорил Шевригин, похлопав его по плечу. – Царь Иван Васильевич, видать, добрее вашего дожа.

Франческо, улыбаясь, сказал:

– Однажды я во Флоренции целую неделю у одной красавицы жил под постелью... Тоже было страшно, но все же не так.

После того как все помолились на свои иконки, постоянно хранившиеся у них за пазухой, приступили к обеду.

– Ну как, ребята, понравилась вам Венеция? – спросил за обедом Шевригин своих помощников.

Все молча продолжали есть рыбный суп.

– Воды много... Куда ни сунешься – везде вода... Непонят-

но! – угрюмо мотнул головою подьячий Сергей Голубев.

– То-то и дело, что вода, да еще и мутная, – не верю я, чтоб у нас с дожем получился толк. Поехал я сюда, не спросясь царя, а будет ли что – пока не вижу... Мало оное царство! Душа болит. Не обмануться бы?! – озабоченно посматривая на своих спутников, проговорил Шевригин. – Самовольно сюда заехали.

Паллавичино рассказал о строгостях, царящих в Венеции.

– У нас тут до всего добираются... Каждый шаг известен властям. Только мысли распознавать еще не научились. Здесь следят за всем: и за нарядами, и кто как живет, сколько денег тратит, за усердным посещением церквей, за тайными грехами и пороками, за свадьбами, за похоронами, за балами. Наша яснейшая Венецианская республика во власти иезуитов и инквизиторов. А любовь здесь продается, как и все, на деньги... Наши «лупонарии» полны прекрасных дев, которые имеют разные цены. Об этом вас могут осведомить добрые «мамаши» этих дев.

Паллавичино столько всего наговорил о своем городе, что Шевригин невольно пошутил:

– А ты зело сердит на свою родину, коли так срамишь ее...

– Я говорю правду, – смутился Франческо...

Настал день встречи с венецианским дожем и его сенаторами.

Паллавичино предупредил Шевригина быть смелее с дожем и его советниками, ибо нет людей, которые бы так вы-

соко себя ставили и так гордились своею властью, как правители Совета Десяти, управляющие Венецией. В словах Паллавичино было много желчи – видно было по лицу его, как насолили ему его правители.

Шевригин не нуждался в таких советах – он и без того считал своего московского государя самым великим среди владык земных. И честь царя он поддерживал во всех странах, куда его посылали, с отменным достоинством, поэтому он и посмеялся над предупреждением Франческо.

В пышной обстановке состоялся прием Шевригина и Поссевина во Дворце дожей. Все сенаторы были в сборе. У всех у них на лицах было написано снисходительное, усмешливое любопытство, когда они осматривали с ног до головы московского посла. Шевригин, в свою очередь, обвел их гордым, равнодушным взглядом.

Коротко и негромко передал он дожу приветствие государя.

В ответ на это дож справился о здоровье государя и велел передать ему приветствие от Совета Десяти и от себя лично.

Стал говорить Поссевин.

Он доказывал, какое огромное значение имеет связь итальянских государств с восточными, и особенно с Москвою. Постановления Тридентского собора, говорил он, приняты во многих местностях; восточные христиане приходят учиться в Рим. Антиохийский греческий патриарх и тот при-

знал главенство папы и просит утверждения в своем сане. В Пирее есть католический епископ. Божественная служба свершается при воротах Стамбула. Рагузские иезуиты продвигаются в Македонию и достигли Белграда. Другие стали твердою ногою на вершинах Ливана, они распространяются по всей Сирии.

Поссевин, восторженно размахивая руками, с нарастающим энтузиазмом описывал успехи католичества.

Как ни чувствовал себя теперь лишним московский посол, но ему приходилось сидеть и слушать неуемную похвальбу иезуита. Теперь ему стало понятно, почему Поссевин хотел один идти к дожу.

Поссевин начал было восторгаться успехами короля Стефана Батория, но, увидев хмурое лицо Шевригина, умерил неуместный пыл.

– Венеция, – сказал он более спокойным тоном, – должна поддержать католическое движение и воспользоваться представляющимся случаем сближения с великомочным Московским царством. Если Москва захочет завязать торговые сношения, то можно испросить у царя вольностей для торговых людей республики и уравнения их в религиозных вопросах с лютеранами и мусульманами, которые в Москве пользуются полной свободой своей веры.

Далее Поссевин говорил о том, что царя можно постепенно привлечь к лиге против турок и приготовить путь к религиозному единству. Он сказал, что Москва стоит на защи-

те сербов, болгар и других балканских славян... Это мешает дружбе царя с Турцией.

Шевригин втайне с большим интересом слушал речь Поссевина, которую ему по приказанию дожа переводил толмач. Его удивляло – откуда иезуит знает о том, что государь Иван Васильевич имеет склонность помогать сербам и другим восточным славянам... Многое из этого царем хранится в тайне...

Иезуит сослался на мнение о московском царе престарелого синьора флорентийца Джованни Тетальди, который много раз был в Москве. Он хвалит гостеприимство и правосудие русского государя, воздержанность его от вина, терпимость к чужому вероисповеданию.

Это было по душе слушать Шевригину, на которого в эту минуту были обращены взгляды вельмож.

После того как Поссевин окончил свою речь, некоторое время длилось неловкое общее молчание.

Поссевин сел в кресло несколько смущенный. Поднялся со своего места дож, высокий, с мужественным, умным лицом пожилой человек. Он заговорил неторопливо, вдумчиво.

– На основании недавнего и горького опыта, – сказал дож, – Венеция не может возлагать надежд на лигу. Московский посол, в сущности, передал только приветствие республике. Венеция не меньше прочих государств сознает опасность от соседства с турками. Она, конечно, желает ослаб-

ления их. Можно приветствовать примирение московского царя с Баторием, коли тому Бог поможет осуществиться, ибо это усилит соединение христианских сил против турок. Это было бы лучшим разрешением восточного вопроса. Я пришел к такому выводу, после того как я совершил по Европе большое путешествие. Московское государство – огромная сила. Было бы благоразумно принять меры в этом смысле, не ожидая обращения московского царя в католичество. Надо быть осторожными в навязывании своей веры другим.

После этой речи дожа снова говорил Поссевин. Он был разочарован выступлением дожа.

– Миссию синьора Шевригина, – сказал он, – не нужно понимать как приветствие ради этикета. Надо ее понимать как желание московского государя завязать торговые сношения с Венецией.

Шевригин, не имея никаких указаний со стороны царя, сидел молча, не желая вмешиваться в эту беседу. Самому ему очень понравилась речь дожа...

Поссевин, возвращаясь из Дворца дожей в гондоле с Шевригиным, с удивлением разводил руками:

– Не понял дож того, что я хотел ему сказать...

Стемнело. Над фасадом церкви выступил бледный месяц. В вечерних просторах неба едва заметно, как-то стыдливо проступили звезды, сияние месяца легло нежной прозрачной позолотой на соборы, дома и мосты, проведя длинную серебристую дорогу по воде. На судах всюду засветились

многоцветные фонарики, повисшие на мачтах. На гондолах также были прикреплены фонарики, и в синем мраке они причудливыми блуждающими огоньками скользили над водой.

Где-то слышался женский смех, песни. Вероятно, рыбаки и гондольеры разъезжались по домам после дневного труда.

Шевригину взгрустнулось о Москве: скорей бы!

III

Робко перешептывалась царица Мария со своей бабкой Демьяновной, вынянчившей ее с самой колыбели.

– Глубоко в груди мое горе великое... Не в чести я у моего государя батюшки. Совсем забыл он меня... Смотрит косо, мало говорит. В сердцах готов побить. Бояться я стала его. Страшно!

Демьяновна вздохнула и ласково сказала:

– Государыня, у меня на примете старушка одна есть, ведунья, а у нее заговор в запасе на укрощение злобных сердец. Коли позвать ее во дворец да рубаху государеву ей припасти, то она порчу из царского сердца живо изгонит... бес жестокосердия скоком ускачет из государева нутра... Позволь, матушка, позвать ее во дворец.

Демьяновна поцеловала руки царице Марии.

– Ну что ж, Демьяновна, приведи. Да так, смотри, чтобы царь батюшка Иван Васильевич не увидел, не то худо будет

и тебе и мне. Пропадем навеки!

– Добро, красавица, болезная моя, Марьюшка. Коли приказывать изволишь, приведу ее во дворец, да так, чтоб государь Иван Васильевич и слухом не слыхивал и видом не видывал... Кто сам себя стережет, того и Бог бережет... Посиди тут, голубушка, одна, покудова я сбегаю за ней. Я скоро.

– Что же мне делать в моей неволе, как не сидеть? Докука возьмет – на колена стану перед божницей, да и Богу помолюсь...

Демьяновна поклонилась и вышла.

Мария вспомнила тот день, когда отец привез ее в Александрову слободу на смотр невест. Поместили ее тогда в большом доме, где было собрано множество красавиц со всего Московского государства, дочерей бояр и дворян. Она хорошо помнит, как трепетали в страхе и томительном ожидании собранные в этом доме боярышни и дворянки. Каждой из них полагалось подойти к царю, опуститься перед ним на колена и, бросив к ногам царя платок, вышитый золотом и жемчугом, поклонившись, удалиться.

А дальше... Трепетное, взволнованное ожидание всех девушек – кто царю больше всех понравился?

Помнится, как к постели, на которой лежала она после смотра, уткнувшись от только что пережитого стыда и волнения в подушку, подошел старый боярин, присутствовавший при смотре, и сказал:

– Вставай, Мария Федоровна, государь наш батюшка Иван

Васильевич остановил свой выбор на тебе. Поздравляю тебя!

Она помнит, с какой завистью смотрели на нее все красавицы, собранные в этом доме.

И почему-то тогда она вдруг разрыдалась.

Все теперь это ей ясно представляется. И опять ей хочется плакать, рыдать безудержно.

Та горница, где теперь происходил этот разговор царицы со своей мамкой, ютилась в верхнем житье большого терема. Его совсем недавно отстроили по приказу царя в дальнем крае дворца.

Стены и пол царицыной комнаты закрыты коврами, присланными Ивану Васильевичу персидским шахом «за недружелюбие царя к туркам» и в благодарность за пропуск англичан и других заморских купцов через русские земли в Персию. Резьба и затейливые золоченые узоры: листья, травы, птицы, выпиленные из дерева, обрамляли окна и двери горницы. Потолки – лазурные, в серебряных звездах. В углу – освещенная огнями лампад большая, в три раствора, божница.

Мария сидит на софе, привезенной с Кавказа государевыми послами от грузинского царя. Ее красивое юное личико задумчиво. Голову украшает шелковая с жемчугом повязка голубого цвета, что делает ее с виду совсем девочкой. Царя соблазнила ее юная чистота. Женитьбу тогда совершил он без церковного согласия. Духовенство, строго ведя счет женам царя Ивана, считало Марию Нагую седьмой женой.

Против этого восставало духовенство. Женитьба царя была приравнена к наивысшему греху, превосходящему даже богохульство.

Царица думает: уж не за то ли Бог ее наказывает, что вышла замуж она, нарушив церковные уставы? Да и как было ослушаться отца, Федора Федоровича, да его братьев, Семена, Афанасия и Александра Федоровичей, а также и двоюродного брата Михаила Александровича? Ведь все они только того и добивались, чтобы с государем породниться и к его трону поближе стать? Царь приблизил их к себе, своими милостями жалует, дворцы им понастроил, высокие должности дал в государевых приказах.

Теперь все они довольны и счастливы, и ей велят быть счастливой и довольной, и каждый день благодарственную молитву Богу они сообща читают за то, что Господь удостоил ее, Марию, браком с царем всея Руси. Поклоны бьют без счета и усталости.

Знают ли они, как тяжко ей-то самой выносить мучительную неволю в государевом дворце?! Прежде, живя в отеческом доме, она могла свободно выходить, куда ей захочется. Отец не кичился своим происхождением. Ведь и кичиться-то было совсем нечем заурядному дворянину, ее отцу. И незачем было ему свою дочь держать под замком, как то водится у именитых бояр. А теперь... каждый шаг на счету у дворцовой стражи, охраняющей покои государыни. И к себе водить, кого захотела бы она, царица, ей не положено без со-

гласия на то государя. Изменилась ее жизнь! И не к лучшему, а к худшему! Но кому поведаешь о том?!

Что делать, – надо терпеть! Такова уж судьба.

Во время этих размышлений царица не заметила, как в ее покои тихо, мягко ступая сафьяновыми сапогами, вошел сам Иван Васильевич. Он незаметно подкрадывался к ней, она вдруг испуганно вскочила со своего места; покраснев до ушей, низко поклонилась царю.

– Добро жаловать, батюшка пресветлый государь! – едва слышно от волнения произнесла она. – Испугал ты меня!

Большой, плечистый, широкий – царь целою головою был выше Марии. Вся фигура его, усталого, постаревшего, поседевшего владыки, казалась огромной, чудовищной против худенькой, невысокого роста, совсем юной красавицы Марии.

– Не ждала? – тихо спросил он, сутулясь, чтобы поцеловать жену.

– Всякий час, батюшка государь, я готова ожидать вас со смирением...

Царь засмеялся, покачал головою.

– Смирения мне мало от жены. Смирения для меня вдосталь и у холопов моих. Устал я от того смирения, царица! Не надо мне его от тебя.

Опустив голову, Мария совсем растерялась, не зная, что сказать в ответ.

– Не всегда надо бояться бойкости и греха. Иной раз бы-

вают такие грехи, что грешно и не грешить ими. Поняла ли?!

Царь насмешливо сверху вниз смотрел на смущенную Марию.

– Не ведаю, батюшка государь, что ты изволишь молвить.

– Пора бы тебе то ведать, – с досадой в голосе произнес царь Иван и добавил: – Сегодня в ночь жди меня... Наскучило мне целые дни быть в толпе твоих мужиков-сородичей... Хорош Федор Федорович Нагой; а его дочка, Нагая, все же лучше. С ней веселее, чем со всею ордой Нагих... Тобою все они держатся. А коли так, должна ты служить мне сладкою утехою... Смирение пусть будет уделом твоих родичей.

Мария продолжала стоять перед царем, смущенно опустив голову.

– Соскучился я о любви, дитя мое! Любишь ли ты меня? Садись.

Она послушно села на софу. Рядом с ней сел и царь.

– Любящих и Бог любит. Но что же ты не отвечаешь?

– Мне стыдно, государь, сказать...

– Ну, ну! – нетерпеливо схватил он ее за руку.

– Да. Люблю. Мне плакать хочется... забыл ты меня!.. – прошептала она, закрыв лицо руками. – Сама я тоскую о тебе, жду каждую ночь.

В это время дверь отворилась, и в горницу вошли две старухи. Одна – Демьяновна, другая – старая знахарка. Увидав царя, обе бросились бежать обратно.

– Стой!.. Куда!.. – крикнул царь, вскочив с места. Глаза

его стали страшными.

Старухи, согнувшись в три погибели, подошли к царю и упали ему в ноги, прося прощенья.

Он велел им подняться.

– В чем же вы провинились передо мной? Говорите! Кто эта ведьма? – Царь указал пальцем на знахарку.

– Ведунья Фекла... – ответила Демьяновна. – Прости нас, государь батюшка!

Царь оглянулся на царицу Марию:

– Чего ради старая ведьма пожаловала к тебе, государыня?

Царица тоже упала в ноги царю:

– Я виновата!.. Одна я!.. Винюсь... Пощади их!

Она рассказала все начистоту царю, ничего не скрывая.

– Стало быть, ты не лжешь?.. Любишь?! – спросил он с веселой улыбкой царицу. – Приворожить меня задумала?! Добро!

– Истинно так, – ответила Мария. – Забываешь ты меня...

– Встань! А вы идите... Старую ведьму надо бы сжечь живьем, как то делают в иных царствах, да вот она, видать, царице нужна... Нельзя! Пускай, коли так, поживет... демонов порадует... В другой раз смотри, ведьма, не попадайся... Голову отсеку. Вон! – топнул царь ногой.

Оставшись наедине с царицей, Иван Васильевич крепко прижал ее к себе и, звучно поцеловав ее в губы, сказал:

– Зачем ждать ночи?! Милая моя... Маленькая!.. Глупая!

Мария, освободившись из его объятий, быстро подошла к

божнице и задернула занавеску перед ней...

Шевригин Истома был встречен царем хмуро, неприветливо. Ему доложили о возвращении посла из Рима утром, когда он, вернувшись из покоев царицы, злой, пожелтевший, сел за стол в своей рабочей комнате. Был назначен на этот час прием иконописцев, прибывших из Новгорода. Им были заказаны иконы в честь царицы Марии для убранства вновь выстроенного храма святой Марии Магдалины.

– Гоните прочь богомазов! Не надо мне их! – сердито крикнул царь Иван. Дворцовые слуги заметили, что из опочивальни государыни Иван Васильевич вышел какой-то расстроенный, убитый. Попавшихся ему навстречу слуг он прибил посохом, гоня их прочь из дворца.

– Ты, Истома, поведай мне все, без прикрас, совестливо, коли тебе жизнь дорога, как там приняли тебя заморские еретики? Не ври! – мрачно проговорил царь, глядя на Истому исподлобья.

Шевригин, не торопясь, рассказал о благополучном совершении путешествия из Пернова до Праги – столицы цесаря Рудольфа, о приветливом приеме посла и его спутников в Дании и Германии.

Царь Иван то и дело вскакивал с кресла, передергивался, перебивал Шевригина не относящимися к его докладу вопросами.

Вдруг он спросил:

– У тебя робята есть?!

– Есть, батюшка государь!.. – скрывая свое удивление, отвечал Шевригин. – Есть, семеро.

– Много ли тебе лет?

– Четыре десятка, батюшка...

– А жене?

– Три десятка с пятью годами...

Царь погрузился в хмурое раздумье.

– ...цесарь Рудольф соболя те принял, – продолжал свою речь Шевригин, – и приказал благодарить твое величество, государь наш батюшка.

– Молчи, несчастный! – вдруг встрепенувшись, крикнул Иван Васильевич. – Приказывать тебе волен твой государь! А немчину еретику просить тебя надобно, челом бить, слышишь ли?! – застучал он с силой посохом об пол. – Мой холоп ты, а не его! Как же он смеет тебе приказывать?

– Цесарь Рудольф просил... Винюсь, государь, немчин просил... – побелевшими губами залепетал Шевригин, – просил передать благодарность...

– То-то! В каких мерах он со Степкой? Узнал ли?!

– Страшится он польского короля... Не смел даже на разговор о нем... Слабый... недужный... нерешительный...

– Готов ли он скопом идти на бусурман-турок? Ну!

– Готов, токмо князья его не слушают... Несогласие там.

– Добился ли ты, чтоб послов своих он к нам пригнал?!

– Нет... Не добился, великий государь!.. Боится он... пе-

рехватит их будто бы король Стефан.

– Собака! Дурень! Какой же он цесарь?!

Царь зло плюнул.

Шевригин переждал, когда царь успокоится; стал робко снова продолжать:

– От цесаря поехали мы в Рим, к папе.

Он рассказал царю о дружественном и почетном приеме, оказанном ему, государеву послу, при папском дворе.

– Говорил ли папа о недружбе короля Стефана к Москве?

– Папа говорил, чтоб передал я твоему величеству, государь, его добрую волю и любовь к тебе, отец наш. И еще велел передать папа, что посылает он посла в Старицу с поклоном тебе и за советом, чтоб дружелюбие на земле водворить... Папа Григорий хотел того посла отправить с нами, да мы с ним разъехались... Он поехал через Польшу и Литву. Мы – через Данию, тем же путем, что и прежде, а звания он поповского, иезуит; имя его – Антоний Поссевин. Скоро будет он с поклоном тебе, великому государю, в Москве.

Лицо царя Ивана стало спокойнее. Морщины над переносицей разгладились.

– Много ль с ним бредет к нам латынских людей?

– А когда мы разъехались, было у него папиных слуг двенадцать душ, да среди них – два толмача.

Царь приказал Богдану Бельскому послать за Борисом Годуновым и за первым дьяком Посольского приказа Писемским.

Шевригин принялся рассказывать, что пришлось ему слышать дорогою. В Праге говорили, будто Стефан Баторий исподтишка деятельно готовится к новому большому походу на Русь. Известно, что всюду ездят его люди и занимают деньги на войну. А в феврале будто бы он даже на сейме говорил, чтобы ничего не жалеть, дабы твердою ногою стать в Ливонии, да и на псковском рубеже. А в будущем времени паны замышляют поход и на Москву.

– Что же думает о том Рудольф-цесарь? – спокойно спросил внимательно слушавший Шевригина Иван Васильевич.

– Рудольф-цесарь страшится каждого шага польского короля. Пуглив он. Нерешителен, хотя ему и не по душе промысел панов о завоевании Ливонии и о походах на Москву. Ливония дорога и самому цесарю; там обитают его соплеменники, немцы. Не на пользу ему и усиление польской державы. А к московскому государю, говорят цесаревы люди, Рудольф всем сердцем расположен, тогда как многие из его князей сторону Стефана держат с великим пристрастием.

В сопровождении Бельского пришли Борис Годунов и Писемский.

– Леонтий, – указав на Шевригина, обратился к ним царь Иван, – как я вижу, добрый у меня слуга, расторопный. Добился-таки он, чтобы папа к нам посла своего отправил... Одарить его следует. Да и подумать нам прилично, как встретить того папского посла.

После ухода Шевригина царь Иван заговорил о начавшем-

ся походе польского короля к Пскову. Защита этой крепости, сказал он, должна решить судьбу и России и Польши в этой войне. Если крепость устоит, то и дела короля Стефана ухудшатся. Если она падет, дух польских панов поднимется, власть над ними короля еще более усилится, о мире тогда и думать нечего. Польско-литовские войска, воодушевленные победою, двинутся дальше в глубь России. Стало быть, надо все силы употребить к тому, чтобы Псков устоял.

– Пускай под Псковом узнают силу нашу, – сказал Иван Васильевич. – Пошлем туда еще приказ воеводе Шуйскому, чтоб стоял крепко по крестоцелованию. Пускай умрут, но не сдаются! Многие осады были могилою осаждающих. Наряди дюжих робят с тою моей грамотою, Борис. Папскому послу окажем прием, словно бы самому папе. Он нам годится в дни осады Пскова. Пушки наши громить станут врагов, а папский посол в королевском стане излиет сладкозвучные речи о непролитии христианской крови и о воссоединении Москвы под рукою папской латынской церкви. То и другое смутит короля Стефана. Знаю я умыслы святейшего отца, знаю и то, как ответствовать после на иезуитские речи. Завтра в Боярской думе обсудим наши дела, чтоб было все решено у нас в дружбе и согласии...

Свидание Игнатия Хвостова с Анной было столь радостное, что молодые люди не заметили нарушения ими домостроевских уставов.

Анна, позабыв все на свете, сама поднялась по лесенке в горницу, где жил Игнатий, сама бросилась к нему в объятия, сама, первая, начала покрывать его поцелуями, так что он испуганным шепотом начал умолять ее не терять головы, помнить, что внизу могут ее хватиться, что тогда запрут ее в терему, и вообще... Но она ничего не слышала, ничего не помнила, так что все слова благоразумия разлетелись в прах и у самого Игнатия Хвостова.

Анну осенили такие же светлые и вместе с тем горячие чувства, как бывало это с ней в часы пламенной, полной самозабвения молитвы во мраке, напоенном священными благовониями и овеянном таинственной тишиной, когда она ощущала в мироздании только себя и Бога...

Ничего греховного, страшного теперь не было для нее.

Игнатий, разгоряченный, одурманенный очарованием греха, шептал в полузабвении: «Касатка, ангел! Ты – моя!» Теплая нежная шея, грудь, прильнувшая к его груди, гибкие руки и вся близость ее погружали его в чудесный, сказочный сон.

Когда Феоктиста Ивановна, испуганная отсутствием дочери, тайком от мужа спешно поднялась в горницу Игнатия, она в ужасе всплеснула руками.

Игнатий и Анна вскочили, бросились к ее ногам, прося у нее прощения.

Феоктиста Ивановна горько заплакала.

– Несчастная!.. Грех-то какой!.. – всхлипнула она.

Успокоившись, она, не глядя на Игнатия, схватила дочь за руку и повела ее вниз.

На другой день Игнатий уже не видел Анну. В доме царила весь день мрачная тишина. Никита Васильевич Годунов уехал с самого утра.

Игнатий чувствовал себя горьким, одиноким. Ему ясно было, что не придется уж ему, как бывало, видеться с Анной. Открылась тайна, которую с таким трудом и опасениями они прятали от людей. Конец всему! Аминь!

Игнатию пришло в голову: пойти к Борису Годунову с просьбой отправить его на войну. В Москве много разговоров о новом походе польского короля. Нашлось немало охочих людей идти на помощь псковским сидельцам. Загорелось отвагою сердце русского человека. Потянуло и Хвостова на войну: лучше умереть в бою, нежели сидеть в доме Никиты Годунова со своею тоской.

Так он и сделал. Помолился с великим усердием Богу, оделся в свой лучший кафтан и отправился к Годунову.

Борис Федорович встретил приветливо. Выслушал и сказал:

– Не отдохнул ты, парень, от одного дела да норовишь уже и к другому пристать. Завистлив, однако ж! Хорошо.

Хвостов покраснел, растерялся, не зная, что сказать в ответ. Он вспомнил Анну, вчерашнее происшествие и еще более смутился.

– Да ты словно красная девица... Ишь, как зарделись лани-

ты. Ну что ж, доброе дело. И государю и Господу Богу угодное. Нам туда люди нужны. А такой дородный молодец и бывалый, да язык латынцев знающий, может и толмачом быть у Шуйского. Помолись, молодчик, в соборе Богу да изготовься в путь-дорогу. Завтра отъезжают во Псков люди. Пошлем с ними и тебя. Не ошибся я, что из тебя выйдет добрый слуга батюшке государю. А вот и образок от меня на дорогу. Иди в Разрядный приказ.

Борис облобызал Хвостова и пожелал ему счастливого пути.

От Годунова Игнатий отправился прямо в Архангельский собор. Усердно помолился праху славных предков русского народа, попросил у Бога прощения за свои прегрешения и отправился в Разрядный приказ. Там он поведал о своей беседе с Борисом Федоровичем и получил опасную грамоту, оружие, панцирь, латы. Выбрал на конюшне приказа коня доброго и поехал обратно к себе домой.

Проезжая по двору усадьбы, жадно устремил глаза на окна терема Анны, но окна были завешаны. Да и на дворе-то никого не было, будто все вымерли, даже на громкий лай сторожевых псов никто не вышел из дома.

«Кончено! Прощай, моя ненаглядная, бедная голубка! Что с тобой? Не забудешь ли теперь ты меня, разнесчастного?!»

Глухо прозвучали его шаги, когда он поднимался по лестнице.

«Хоть бы скорее настало „завтра“!»

В груди, около сердца, будто какой-то горячий ком. Трудно дышать.

Ночь провел Игнатий почти без сна. Все думал и думал о случившемся. И то осуждал свой поступок, раскаивался и начинал упрекать сам себя в неразумности, в самовольной дерзости и неблагодарности к приютившим его в своем доме добрым людям, то вдруг вспыхивало в нем страшное отчаяние; ему казалось, что больше он уже никогда не увидит Анны, что он – причина ее безутешного горя и позора. И никак он не мог себе представить, что уедет от нее, и, быть может, навсегда, не простившись. Может ли это быть?

Осторожно, на носках, он пробовал спускаться вниз, прислушиваться. Но в доме было тихо-тихо: все спали. У него вдруг вспыхивало желание спуститься вниз, пойти к Феоктисте Ивановне и попросить у нее прощения, а также дозволения проститься с Анной. Но разве это можно?..

Утром он поднялся чуть свет. У раскрытого окна на ветвях ясеня щебетала стайка самых маленьких птичек – корольков-челоканчиков. Они суетились под листьями, напевая короткие, едва слышные песенки. Серовато-зеленые перышки их, пышно прикрывавшие крохотные тельца, взъерошились при виде человека, а когда Игнатий ближе подошел к окну, стайки птичек с чириканьем полетели в глубину сада. Стало пусто. И эта пустота снова напомнила ему обо всем, что не давало спать ночью.

На глазах Игнатия слезы. Он стал на колени, помолился Богу. Поднявшись, тяжело вздохнул и сел за стол, опершись головою на руки.

Вдруг ему послышался за спиною какой-то шорох. Оглянулся.

На пороге Феоктиста Ивановна. В руках у нее чаша с молоком, каравай хлеба.

Он быстро вскочил со скамьи и упал ей в ноги, зарыдав. Она подняла его.

– Бог простит тебя! – сказала она ласково. – Ты уезжаешь, говорили мне. Бог с тобой! Уезжай!

Она поставила молоко и положила хлеб на стол. После этого крепко обняла его, поцеловала.

– Вот тебе, – вручила ему нагрудный крестик. – Не поминай нас лихом. Это мое материнское благословение тебе. Дай Бог тебе доброго пути! Об Анне забудь. Не думай о ней. Грешно и нехорошо ей знаться теперь с тобою. Прощай!

Феоктиста Ивановна тихо, на носках прокралась вниз.

Игнатий долго сидел неподвижно на скамье, подавленный, оглушенный ее ласковыми и кроткими словами.

Очнувшись, он вышел во двор, оседлал своего коня и быстро, не оглядываясь, помчался в Разрядный приказ. Там должны были собраться его товарищи, с которыми ему предстояло ехать во Псков.

У Разрядной избы уже толпились вооруженные люди, весело перекликались между собою, шутили, смеялись. В лу-

чах восхода ярко вспыхивали серебристые латы, шлемы, копья. И непохоже было на то, что эти бородатые воины пойдут через несколько минут на запад, к Пскову, чтобы биться там с лютым врагом насмерть. Глядя на эту оживленную кучку смеющихся бородачей, скорее можно было подумать, что готовятся они к какому-то празднику либо собираются на великокняжескую охоту.

Игнатий соскочил с коня и пошел в Разрядную избу.

IV

Жарко. Июль в полном расцвете.

Никита Годунов, после купанья в Москве-реке, медленной походкой возвращался к себе на усадьбу, любуясь сверкающей на солнце рекой, голубым ясным небом, Кремлем, поднявшимся вдали на холме в зелени рощ.

Порою останавливался, обтирал пот на лбу, идти нелегко – в гору, среди цепких кустарников. Лезли мысли об Игнатии. Почему же он так внезапно ушел на войну?! А главное – парень возмужал, стал красавец хоть куда. Да и у государя он теперь на виду. Сам Борис Федорович не нахвалится им.

Тяжелый вздох вырвался из груди Никиты; вот уж истинно: судьба придет – по рукам свяжет. А дело день ото дня становится все более и более похоже на это. Прямого, ясного, правда, пока ничего нет, а все-таки...

У ворот своего дома он увидел возок Бориса Федоровича.

Что такое? Никита ускорил шаг. И как раз из ворот ему навстречу вышел сам Борис Годунов.

– Добрый день, дядюшка!.. – весело приветствовал его знатный гость. – Заждался я тебя.

– С добром ли пожаловал, племянничек?! – облобызавшись с Борисом, спросил Никита.

– Какое добро может сравняться с государевым вниманием?! – загадочно улыбнулся Борис.

– Подлинно. Нет большего милосердия, как в сердце царском, – ответил Никита, думая, что Борис привез ему от государя какое-нибудь пожалование.

– Так слушай. Едет к нам от папы римского посол, а звать его Антоний Поссевин. Государь ждет его с великою охотою. И никому об этом не велел сказывать. А для охраны пути Антония мне приказано найти самого верного человека, чтоб мог он без особого шума то дело исполнить. Но кого же, кроме тебя, нам послать на охрану папиного посла? Только тебе и могу ту охрану доверить. Понял, Никита? Дело важное для всей Руси. Не прилучилось бы в дороге послу беды!

Низко поклонился Никита Годунов Борису, прослушав со вниманием его речь:

– Воля государева свята.

– Коли так, должен ты собрать детей боярских человек до ста для объезда путей к Смоленску. А в приставах для встречи будет Залешенин Никифорович Волохов с подьячими. Приготовь ему своих стрельцов, что у стремени, для пе-

ресылки с дороги вестей государю. Из Смоленска, Дорогобужа и Вязьмы о поезде Антония государю отписывай посылки в Старицу.

– Чего же, Борис Федорович, мы с тобою тут стоим! Добро пожаловать в палату. Погости у нас, – вдруг засуетился Никита, – часок, другой!..

– Недосуг мне гостить у тебя... Время такое, что и спать некогда. В русский час много воды утекает. Разве ты не знаешь?! – рассмеялся Борис. – Неповоротливы мы. От сего великий урон. Меня ждут другие люди. Надо им наказ дать. Все надобно вовремя делать, не зевать.

Борис Федорович попрощался с Никитой и снова ускакал по пыльной дороге в Кремль.

Никита Годунов кликнул жену. Феоктиста Ивановна тихо вошла в его горницу, смиренно поклонилась.

– Мое сердце чуяло... Коли Борис приехал ко мне, так и жди – какое-нибудь государево дело! Замучил меня дорогой племянничек. Вот беспокойный человек. – Никита тяжело вздохнул. – Опять Максим котомку готовь! Ей-Богу!

– Да что же это такое? – всплеснула руками Феоктиста.

– Охранять папина посла будем. Головой меня назначили у детей боярских... Помилуй, Господи! От Смоленска и до Москвы. А тут ныне самые разбойники из Литвы... Новая забота!

– Кто он, папин посол?

– Иль забыла?! Помнишь, Игнатий нам сказывал... Чело-

век с ними от римского чудодея ехал, езуит... Чтоб ему лопнуть! Едет, нечистая сила, к нам! В папину веру обращать...

Никита мрачно усмехнулся.

– Всяких вер проповедники повадились к нам ездить... А этот поп нас с королем Стефаном помирить сулит – сказывал Игнатий. Только ты об этом не болтай. Государева тайна! Коли так бы, оно хорошо. Война не радует. Губит нас. Король взять Псков задумал. Сила великая движется туда. И подмоги мы не в силах ему дать. Э-эх, Господи! Да когда же сие кончится?! А свейские полки к Нарве прут. Да и на крымских татар поглядывай.

Феоктиста Ивановна перекрестилась:

– Помоги, Господи, царю батюшке осилить врагов!

Никита Годунов посмотрел на жену с жалостью:

– Замучил я и тебя, моя голубка! Все в дороге, все в дороге...

– Против воли государевой не пойдешь, Никита Васильевич. Мой покойный батюшка учил меня смирению и терпению. Смирение поборает гордыню, говорил он, аки Давид Голиафа. Мне ли роптать, рабе твоей, Никита Васильевич?!

– Дело молвила, моя голубушка. Покорное слово – Богу угодно. А противу государева приказу на Руси никто не пойдет, когда в Бога верует и родную землю любит. Собирай же ты меня с молитвою и добрым словом в путь-дороженьку. А я съезжу на коне в Разрядный приказ поговорить с моими ребятами. Государева воля – Божья воля.

Приготовлений к встрече посла папы Григория Тринадцатого, иезуита Антония Поссевина было немало. Все приказы были подняты на ноги. Писались грамоты в Смоленск, в Вязьму, Дорогобуж... Писались наказы приставам, головам боярских детей, стрелецким начальникам. Приводились в порядок окраины, через которые должен был въехать в Москву посол папы со своими провожатыми. Подбирались наиболее статные, видные молодые люди дворянского звания, чтобы участвовать в церемонии встречи посла у смоленской заставы в Москве. Приводились в порядок дома для посла и его свиты.

Приставу Залешенину было приказано царем брать людей с собой – «которые добры и верны, и платье у кого было бы чисто, и которые бы бывали у литовских послов и у посланников».

Царь Иван сделал внушение Залешенину, что отвечать на вопросы иезуита.

Если спросит папин посол: «Где ныне государь?» –

отвечать: «Меня государь отпустил с дороги из Москвы в Старицу».

Если спросит он о каких-либо важных делах –

отвечать: «Яз – человек служилый, а не приближенный к государю человек, и не мне говорить о тех великих делах».

Если учнет задирать о вере: о греческой или римской –

отвечать: «Грамоте я не учился, и про веру говорить мне

нечего».

«А нечто спросит папин посол: как ныне государь ваш, царь и великий князь с литовским королем Стефаном?..» –

отвечать: «Король Стефан ныне не хочет добра и прибытка в христианстве, только б было ему разлитие крови христианской. И оттого он, король Стефан, не хочет жить в мире с христианами, что сам он – ставленник турецкого султана».

А почто спросит про нынешнюю войну –

отвечать: «Наш государь, царь и великий князь, как есть государь христианский, на своей правде стоял крепко три года».

А если посол папы спросит о Лифляндской земле –

отвечать: «Государь Лифляндскую землю воюет потому, что эта земля – извечная вотчина государей русских. Немцы не стали нам дани платить, хотели отложиться от Руси, стали насилие чинить русским людям. Государь много раз требовал от них признать свои вины и исправиться. Но они ни в чем не исправились. Вот почему государь наш рать на них свою послал. Да и повтори не однажды, что Лифляндская земля – извечная вотчина наша, как то показывают многие прародительские грамоты к немцам и немцев к нам. Если государь наш уступит всю Ливонию и не будет у него пристаней морских, то ему нельзя будет ссылаться с папою, цесарем и другими государями».

– Государю твоему расстаться с мыслью о море том тяжело, нежели уступить Смоленск, Великие Луки и прочее, –

сказал тихо, в задумчивости Иван Васильевич. – Помни это постоянно.

О многом и другом, предвидя вопросы Поссевина, говорил государь Залешенину, указывая, как ему отвечать на них.

Низкого роста, крепко сложенный, подвижный, острый умом дьяк Залешенин-Волохов был выбран самим царем для встречи иезуита Поссевина. Кроме того, Волохов был много раз в Польше и кое-что знал о сущности католической веры. Борис Федорович тоже не раз хвалил Залешенина государю, а в последнее время в Посольском приказе Залешенин вел переписку с польско-литовскими властями, хорошо зная польский язык. О «неграмотности» ему государь приказал говорить, чтобы он «больше слушал, чем говорил». В дальнейших приказах царя Залешенину дается наказ, чтобы он все записывал, что будет говорить Поссевин, и затем сообщал это царю лично.

Царь Иван напомнил Залешенину, что в разговорах с иностранными послами есть «речи тайные и речи явные».

– Мне хорошо ведомо, что думает папа о нас. Вот эта бумага писана в Риме кардиналом Комо... Отправил тот Комо бумагу к своему попу в Польше Андрюхе Калигару. Читай! – Царь отдал ее находившемуся тут же царевичу Ивану Ивановичу, которого он стал привлекать в последнее время к работе Посольского приказа.

Залешенин слушал с большим вниманием то, что читал

вслух царевич.

В письме кардинала Комо нунцию Калигари было сказано о посольстве Шевригина в Рим:

«...Вероятно, в Польше уже есть слухи о прибытии сюда московского посла. Он – не важная персона, а только камергер князя».

Далее говорилось: «Из привезенного русским послом письма и из слов самого его видно, что великий князь желает союза со святым престолом и другими христианскими князьями и намерен открыть торговые сношения с нашими народами. Жалуется он на войну, которую ведет с ним польский король; просит посредничества папы в заключении мира. Царь стремится к соединению своих войск с христианскими против турок. Дело очень важное, но все понимают, что посольство вызвано не добрыми намерениями царя, но добрыми ударами короля в последние два года. Мало надежды, что из этого выйдет что-нибудь путное, *тем более что о вере хоть бы единое слово!* Это очень удивило его святейшество, который надеялся, что царь если и неискренне, то по крайней мере для виду окажет некоторое расположение к святому престолу, чтобы побудить его согласиться на свои желания. Тем не менее, обсудив дело и выслушав мнение опытнейших и благочестивейших людей, папа решился не пренебрегать и этим случаем, чтобы поискать заблудшую овцу...»

Иван Васильевич громко расхохотался, слушая письмо

кардинала Комо. Его хохот был не веселый, а скорее страшный. Он вскочил с кресла и, дико расширив глаза, воскликнул:

– Я – заблудшая овца! Зрите меня, окаянного!.. О, как провинился я перед римскою церковью! Несчастный я! Еретик!

Царевич прервал чтение, почтительно склонив голову.

– Чего ж ты?! – строго крикнул на него царь. – Читай дальше! Славную писульку прислали наши друзья мне из Литвы! Читай!

– «Его святейшество, – говорилось дальше, – решил отправить к царю достойного человека, вероятно, иезуита, патера Антонио Поссевино».

– Слыхал?! – указывая Залешенину на бумагу, крикнул царь. – Читай!

– «Поссевино должен трактовать о вере и попытаться обратить в католичество князя и его народ».

– Вот-вот... чего они от нас хотят... Понял?! Ты?! – прошипел царь, изогнувшись в кресле. Лицо его перекосилось от негодования.

Царевич Иван читал:

– «Все это надо делать под прикрытием посредничества в перемирии, о котором просит царь. Послу Антонио его святейшество поручил оказать содействие к примирению Москвы с Польшей, если царь оставит свои схизматические заблуждения...»

С трудом переводя дыхание от волнения, Иван Васильевич сделал жест рукой, чтобы царевич остановился.

– Змий лукавый – папа Гришка! Душегуб! – прошептал царь. – Учинил смуту у франков... крови озера пролил в Париже... Того же хочет и у нас! Не быть по его. Он хитер – мы хитрее.

Тяжело вздохнув и как бы отгоняя от себя какие-то навязчивые мысли, царь Иван вытянул вперед голову и погрозился на Залешенина:

– Смотри! Что слышал здесь, держи про себя. Отныне знай, что папа хлопочет не о нас, а о себе и о своем богомольце – короле Стефане... Ну-ка, царевич, читай.

Иван Иванович медленно, с ударениями на отдельных словах, прочитал:

– «Мир с Москвой сулит выгоды королю, удовлетворит его и даст ему возможность распространить свои владения. Просите его величество дать пропуск послам, чтобы ускорить это дело. Если Бог поможет благополучно устроить все это, оно обратится к расширению пределов Польши и к вечной славе короля. Можно ли сомневаться, что, когда дойдет до заключения мира, его святейшество охотнее будет держать сторону католического короля и ревностного защитника веры, чем поддерживать интересы московского князя?»

– Слушай и понимай! Дьяк ты у нас смышленый. Вера им служит к расширению королевств. А посему знай, что везешь ты к нам хитрого, лукавого змееныша, папиного иезу-

ита; а работает он на папу и на короля Степку, но не на московского государя. Однако виду не кажи; будь ласков с римским гостем, пускай думает, будто мы ничего не знаем, не понимаем, а папу величай «святым отцом». Потом исповедуешься в грехе своем. Покаешься у митрополита.

Повернувшись к царевичу, царь кивнул ему головой:

– Наблюдай, чтобы нашему делу порухи не было. Пускай Борис и Бельский берегут посла, как бы меня самого. Да и довольствием и вином пускай не обижают ни посла, ни людей пословых. А мы – ничего не знаем, мы – русские простаки! Так и Никите, и всем другим внуши. Иди в приказ, Никифорович!

Дьяк Залешенин поклонился сначала царю, потом царевичу и вышел из царских покоев.

В доме Бориса Годунова собрались его дяди Никита и Степан Васильевичи. И тот и другой по приказу царя должны были принять участие в церемонии встречи Антония Поссевина.

Жена Бориса, Мария Григорьевна, со своими сенными девушками приготовила богатое угощение гостям. На столе появились меды и вина разные, печенья, соленья, варенья, студени и прочее.

Беседа шла о толмаче Франческо Паллавичино.

Шевригин рассказал царю о верной службе Паллавичино, но государь не велел его допускать к посольским людям, еду-

щим от папы.

Оказывается, государю стало известно, что Франческо в Тирольской земле в «городе Филог» вместе с Шевригиным остановился у одного извозчика, на подводах которого везли скарб посла. Здесь же они встретили красивую девку – камеристку князя Эрнста, брата германского императора-цесаря. Она ехала к князю Эрнсту в Вену. Вечером, перед ночлегом, Франческо Паллавичино напился, а ночью пытался «над тою девкою насильство учинить». На уговоры Шевригина не сдавался, стал буйствовать, выхватил шпагу...

Царь, узнав об этом стороною, от другого толмача, сказал, что этому Франческе надобно было бы голову срубить, чтоб не позорил государево посольство, а ныне, так как в Москву едет тоже итальянец, посол папы, царь скрепя сердце решил оставить голову Франческо у него на плечах. Обидно это было царю, но что делать?

– И слава Богу! – произнес Борис Федорович с улыбкой. – Девка та девкою и осталась, а толмач-то Франческо хоть куда, не чета Федьке Филиппову, с которым у них постоянный спор. Голову срубить невелика трудность, да только такую голову лучше оставить. Пригодится.

– Слыхал я, – сказал Степан Годунов, работавший в Посольском приказе, – появился в Москве некий человек, а звать его не помню как... Бежал-де он из Италии. На галерах он там работал и языку их зело приучился. Умеет читать и писать. Не худо бы и его приблизить к нам, толмачом.

Борис Федорович приступил к трапезе, налил всем по чарке вина.

В это время к дому прискакали несколько всадников.

Выйдя на крыльцо, Годунов увидел царевича Ивана Ивановича.

– Добро жаловать! – весело крикнул Борис.

Среди провожатых царевича оказались молодые Шереметевы, Синицын Петр и личный дьяк царевича Спиридон.

Когда царевич вошел в дом, Годуновы быстро вскочили со своих мест и низко поклонились ему.

Быстрым, внимательным взглядом Иван Иванович окинул Степана и Никиту Годуновых и, указав с улыбкой на стол, насмешливо сказал:

– Так поднимем, что ли, чарки за здоровье его святейшества римского папу!

– Бог с ним! – с усмешкой махнул рукой Борис Годунов.

– Как так?! – возразил царевич. – Стало быть, ты царя не поддерживаешь?

– Полно шутить! – улыбнулся Годунов, указав на место под образами, и попросил царевича не погнушаться убогим угощеньем, разделить трапезу вечернюю среди его сородичей. Годунов обратился с тем же и к провожатым царевича Ивана.

Царевич поблагодарил Годунова и быстро уселся за стол.

Он был высок ростом, строен, красив, но в глазах его навсегда застыла какая-то усмешливость, которую люди неред-

ко принимали как насмешку над собой и втайне обижались на царевича.

Степан Годунов провозгласил «чашу государеву»:

А кто про государево здравие
Чашу изопьет, тот бы здрав был
И спасен, а у кого в дому –
И дом его исполнился всякой благодати...

Дослушав до конца здравицу государю, все дружно осушили свои чарки.

Вторая чарка была выпита торжественно, с провозглашением здравицы царевичу Ивану, тоже стоя.

Затем были выпиты чарки вина за царевича Федора, за царицу Марию и за всех родичей государя.

Охмелевший Иван Иванович при подобострастном молчании Годуновых заговорил, барабаня пальцами по столу, как и отец:

– Государь ожидает посла папы. Мне приказ дан, чтобы я к тому делу касательство имел, но не лежит у меня душа ухаживать за проклятым иезуитом. Не он ли, не папа ли два года назад прислал Степке Баторию меч, чтоб Степка боролся им с «врагами христианства». Нас, русских, папа величал врагами христианства... А ныне мы будем челом бить ему, как примирителю... Срам!

Все трое Годуновых переглядывались с недоумением и страхом.

– Ах, Иван Иванович, батюшка ты наш душевный! – взяв царевича за руку и поцеловав ее, сказал Борис Федорович. – Нам ли судить дела государевы?! Как батюшка великий государь скажет, так тому и быть должно... Коли я был бы царем, строго требовал бы и я повиновения себе. А всех, кто мешал бы мне, я либо истреблял, либо отсылал в холодные пустыни...

Царевич хмельными, усмешливыми глазами осмотрел всех:

– Ну, а коли я, будучи государем, тебе велел бы папе туфлю целовать, как то делал Шевригин в Риме, ты послушался бы меня?!

– Да. Послушался бы. Головой в прорубь приказал бы броситься, и тогда бы послушал. Оным послушанием крепка наша держава. Разномыслие и непослушание губят царства.

– Ну, тогда не к лицу мне говорить с тобой! Холоп ты убогий... Холоп! – сердито топнув ногой, сказал царевич и поднялся со скамьи.

– Да. Я – холоп. Государев и твой холоп. Но не убогий, а гордый и сильный тем, что ваш холоп! – тоже встав со скамьи, горячо произнес Борис Годунов, раскрасневшись. – Не раз ты, государь, обижал меня, не раз гневался на всех Годуновых, но мы были и будем верными слугами престола.

Иван Иванович снова сел за стол, с насмешливой улыбкой покачал головой.

– Да, Борис... я знаю тебя... Умен ты. И хитер. А польского

короля смирить надлежало бы не иезуиту и не папе, а мечу московского государя, – сказал он тихо, медленно, как бы про себя. – Коли сам за себя не постоишь, кто же станет тебя выручать? Все другие дела в сторону! Биться до победы со Стефаном надобно неустанно.

– Меч наш не заржавел, батюшка Иван Иванович, и пушечки наши не заснули крепким сном. Они отдыхают, а придет время – знатно по головке погладят польских панов. Свое слово молвят во благовремении... Русь на твердой земле стоит.

Борис Годунов налил еще всем по чарке.

– Батюшка государь Иван Васильевич не таков, чтобы отступать от задуманного дела. Много ли за долголетнюю войну со всякими врагами мы своей земли отдали? Почти ничего. Оное свидетельствует, дорогой наш государь Иван Иванович, о великой силе Москвы. Поднимем же и осушим наши чарки за святую матушку Русь!

Царевич с жаром схватил свою чарку, выпил ее, обнял и облобызал Бориса Годунова и быстро вышел из дома. За ним поспешно последовали и его провожатые.

Годуновы стали на крыльце, склонив головы.

Царевич вскочил на коня и, не оглядываясь, помчался по дороге, провожаемый своими всадниками.

Борис Федорович вошел в дом и, помолившись на икону, грустно покачал головою:

– Неладное творится с нашим царевичем... Неровен стал,

нравом переменчив и кажет несогласие с отцом даже при людях. Строптив и неуступчив.

– Плохо так-то... – покачал головою Степан Годунов.

– Распря нередкая между государями и наследниками престола, – сказал Борис. – Но батюшка государь души в своем царевиче не чает. Подарками его засыпает... У царевича нрав упрямый и самолюбивый... Избаловали с малых лет.

– Похож он и на батюшку государя, – робко произнес Никита.

– Похож, – подтвердил, нахмурившись, Борис. – Это и худо. Он неуступчив, а государь и того более. Сердце мое болит, когда я вижу неустройство то в царевой семье. Горе всем от того!

Разговор уже не вязался, и в скором времени Степан и Никита Годуновы тоже разъехались по своим домам.

V

Посла папы Григория Тринадцатого Антония Поссевина царь Иван принял в Столовой Большой избе.

И он, и сидевший с ним рядом царевич Иван облачены были в лучшие царские одежды. Бояре и дворяне заполняли избу, сени и крыльцо. Они также нарядились в золотное платье, которое одевалось в самые торжественные дни. Государь приказал, чтобы во время приема папский посол был ослеплен богатством и роскошью московского двора.

В этот день посольские дьяки записали:

«И папский посол Антоней Поссевинус правил государю и великому князю и сыну его царевичу князю Ивану Ивановичу от Григория-папы поздравленье, а молвил: святейший папа Григорий Третейнадесять, пастырь и учитель Римской церкви, тебе, великому государю, Божией милостью царю и великому государю, Божией милостью царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, велел поздравление сказати. А царевичу князю Ивану Ивановичу посол правил поздравление по тому же. А царевича князя Федора Ивановича в ту пору с государем не было.

И государь, царь и великий князь, и сын его царевич, князь Иван Иванович, встав, молвили: «Григорий папа здоров ли?» И папин посол молвил: как он поехал от папы, а Григорий папа был в добром здоровье. Да подал государю от папы и от цесаря грамоты».

Поссевин поднес царю и царевичу дары, присланные с ним папою римским: крест с изображением «страстей Господних», четки с алмазами и книгу в богатом переплете о Флорентийском соборе.

(Папа прислал было царю еще икону Богоматери и младенца Иисуса, изображенного нагим; Антоний ее утаил, сведав, что царь не любит наготы в священной живописи.)

После царского приема Антоний Поссевин был приглашен к государеву столу. За ним старательно ухаживали по приказу царя боярские дети Василий Зузин, Роман Пивов

и дьяк Андрей Шерефединов, которые приставлены были к послу на все время его пребывания в Москве.

Поссевин был кроток и приветлив со всеми; на каждом слове восхвалял мудрость и добродетели царя Ивана Васильевича, называя его «наияснейшим владыкою». Высказывал восхищение великолепием и роскошью, которыми окружен был прием его царем.

Государь смотрел на него тоже с приветливой улыбкой, а сам думал: «Как притворяется проклятый иезуит!» Царю было уже известно, что в стане Батория перед поездкой в Москву тот же Антоний Поссевин сказал: «Хлыст польского короля, может быть, является наилучшим средством для введения католицизма в Московии». Известно и то, что главный воевода короля Стефана Ян Замойский сказал про Поссевина, что «он никогда не встречал человека более отвратительного, чем этот иезуит»!

Царь многое знал о повадках папских слуг, знал о них еще по ранее бывшим на Руси сношениям с Ватиканом, а потому и смотрел на все уловки иезуита как на игру, в которой с выигрышем должен остаться все же он, московский царь!

...На другой же день бояре начали деловые переговоры с римским послом.

Царь возложил чин этих переговоров на Василия Зузина, на Романа Пивова и на дьяков Андрея Щелкалова, Афанасия Демьянова и Ивана Стрешнева.

Поссевин сказал, что у него к царю четыре дела.

Первое – чтобы московский государь с римским папою был, как и прежние государи, в «любви и соединении на много лет».

Второе – чтобы «все христианские государи были в любви и соединении».

Третье – «чтобы всем государям христианским стоять заодно против неверных Христовых врагов – на турецкого и всех бусурманских государей».

Четвертое – папа хочет положить конец пролитию крови между русскими людьми и поляками, «чтобы кровь христианская литися унялась», а чтобы общие силы направить против бусурман.

Далее Антоний Поссевин говорил о том, что он приложил по указанию папы большие усилия, чтобы склонить на сторону Москвы Венецианское государство.

– Венецианский князь, – сказал Поссевин, – наказал со мною государю вашему, что он с государем вашим хочет любви и соединения против турецкого султана.

Щелкалов спросил Поссевина: о чем же речь шла у него со Стефаном Баторием, в лагере которого он побывал проездом из Рима в Москву?

Поссевин не торопился дать ответ на этот вопрос Щелкалова. Потом все же должен был подробно изложить свою беседу с королем.

– Король Стефан меня долго держал наедине с собой. Он говорил, что хочет с государем вашим жить в вечном мире.

Однако государь ваш не соглашается на его условия перемирия. Король Стефан требует, чтобы государь уступил ему всю Ливонию, а ваш государь настаивает, чтобы ему в Ливонии оставили тридцать пять городов. Король велел передать царю, что он уже не требует денег за убытки от войны.

Щелкалов перебил Поссевина:

– Мы знаем, что требует наш батюшка государь Иван Васильевич, и ты нам о том не говори. Как ты, посол папы, мыслишь: может ли наш государь уступить королю всю извечную вотчину нашу? Справедливо ли это? По-христиански ли?

Поссевин ответил, лукаво улыбнувшись:

– Его святейшество хочет прекращения пролития христианской крови. Он хочет мира. Для того послан и я. Пускай каждый владеет тем, что имеет. Так думает святой отец церкви.

– Ну, а еще чего хочет папа? – спросил Василий Зузин.

– Его святейшество просит государя дозволить нам построить в Москве несколько католических церквей для приезжающих иноземных купцов латынского вероисповедания, – тихо, возведя очи к небу, произнес он. – Тяжело нашим людям без молитвы и своей церкви дела какие-либо вести.

– О том мы не вольны говорить с тобой, – сказал Зузин нахмурившись.

Это был высокий седобородый человек с острым взглядом черных глаз из-под пучков седых бровей. Будучи дум-

ным дворянином и служа в должности суздальского наместника, он пользовался особым расположением царя.

– С нами говори ты о деле, а бездельных речей нам и тебе не к лицу говорить и слушать.

Видя, что с дьяками да дворянами не сговоришься, Поссевин, соблюдая смиренную уступчивость, высказал пожелание побеседовать лично с самим государем.

Ему было обещано, что об этом доложат царю Ивану Васильевичу.

...Царь с нетерпением ожидал у себя во дворце прихода Василия Зузина и его товарищей, чтобы услышать – о чем повел речь папский посол.

Он несколько раз ходил в моленную комнату и там усердно, на коленях, молился о благополучии Пскова, о предотвращении новых бед на полях брани.

– Да минует меня чаша сия! – говорил он, обратив свои горящие мучительным возбуждением глаза к иконам.

В приемной дворца уже собрались Зузин и его товарищи, чтоб доложить царю о своей беседе с папским послом. Явился во дворец и один литвин, который хотел что-то сказать государю особо, какое-то тайное дело.

Богдан Бельский, дождавшись, когда царь кончит молиться, доложил ему о Зузине и его товарищах.

Иван Васильевич велел ввести их всех в свою рабочую комнату.

Зузин и сопровождавшие его дворяне и дьяки низко по-

клонились царю. Затем Зузин и Щелкалов передали дословно беседу с Антонием Поссевином, а также и его просьбу о беседе лично с государем.

Иван Васильевич задумался, выслушав послов.

– Да! – вздохнул он. – О дальнейшем поразмыслю. Буду совет держать с царевичами и ближними боярами. А теперь идите.

Бельский ввел литвина. Это был дородный парень с открытым, смеющимся молодым лицом.

– Ну, говори, что знаешь.

Литвин стал на колени. Царь Иван велел ему подняться.

– Великий государь, подслушал я разговор папских людей на их дворе... Король сказал в Вильне Антонию Поссевину: «Государь московский хочет обмануть святого отца. Видя угрозу над собой, рад все обещать: и соединение вер, и войну с турками. Но меня не обманешь. Иди и действуй – не противлюсь. Знаю только, что для выгодного и честного мира надобно воевать. Мы будем иметь его. Даю слово!» Поссевин благословил короля «на дела, достойные героя и христианина», и поехал к вашему величеству. А король будто бы тут же и двинулся к Пскову. Папские люди говорят, что Псков будет взят. Они радуются этому.

Выслушал донос литвина царь с нескрываемым возмущением.

– Спасибо тебе, добрый человек.

Обратившись к Бельскому, он сказал:

– Богдан, одари его.

После его ухода Иван Васильевич впал в глубокое раздумье. Ему и без того было ясно, насколько лживо и недобросовестно поведение папского посла. Теперь стало еще яснее, что римскому папе приятнее была бы победа Стефана Батория и вторжение его в Россию. Случись это – он напустил бы сонмища иезуитов, католических попов на русские города и селения, чтобы силою внедрять в народ свою католическую веру. Царь хорошо знал, как безжалостны и дики расправы католиков везде, где огнем и мечом им удается покорить царства. Одна Варфоломеевская ночь заставила содрогнуться весь мир от ужаса и гнева. А чего стоят кровавые расправы Филиппа Испанского и герцога Альбы с народом! Царю многое известно, и вполне понятно, зачем приехал папский посол. Он хотел бы, чтобы когда Стефан король вторгнется в Россию, то католичеству на Руси уже было бы положено начало. А если королю и не удастся одолеть Россию, то и тогда папа может считать себя миротворцем, который хочет ускорения мира между Москвою и королем Стефаном.

Иван Васильевич, обдумав все это, решил не мешать иезуиту вмешиваться в военные дела, а разговоры о вере затянуть насколько удастся дольше.

– Скажи Зузину, государь будет беседовать с Антонием, – обратился царь к Бельскому.

– Слушаю, великий государь! – низко поклонился Бельский и вышел из царских покоев.

Привело в великое удивление всех дьяков Посольского приказа то, что царь хочет лично беседовать с послом папы в своей рабочей комнате, не соблюдая принятого при разговорах с послами обычаев, но попросту, в домашнем обиходе.

Когда Антоний Поссевин вошел к царю, то он был озадачен простотою одежды, хотя и дорогой, осыпанной по вороту и нарукавникам бриллиантами, но не парадной царской, в которой царь его встретил в первый раз.

Палата была небольшая, на нескольких скамьях сидели человек двенадцать самых приближенных к царю бояр. Тут находились и отец и братья царицы – Нагие, Никита Романович, Борис Годунов, Богдан Бельский, дьяк Писемский, Щелкалов Андрей, Зузин.

Все свидетельствовало о желании царя поближе сойтись с папским послом. О том же говорило и приветливое выражение лица Ивана Васильевича: оно было веселое, довольное. Царь указал послу на место совсем близко от своего кресла.

Он обратился к Поссевину со словами, в которых звучало одобрение царя по поводу присылки ему книги о Флорентийском соборе. Он уже ознакомился с тем, что там написано, и считает римского папу поистине мудрым отцом святой церкви.

Услыхав это, Поссевин попросил разрешения передать государю в его собственные руки папино письмо.

Царь Иван, приняв от Поссевина письмо, велел дьяку Щелкалову прочитать его вслух. Письмо было уже переведе-

но толмачами Поссевина на русский язык.

Папа писал: «Посылаю твоему величеству книгу о Флорентийском соборе печатную. Прошу тебя, чтоб ты ее сам читал и своим докторам приказал читать; великую от того Божью милость, мудрость и разум получишь. А я от тебя только одного хочу, чтоб святая и апостольская церковь с тобою в одной вере была, и все прочее твоему величеству от нас и от всех христианских государей будет готово».

Чтение письма было кончено. Поссевин, обратившись к царю, сладкозвучно, едва не со слезами умиления в голосе, сказал:

– К царствам и богатствам, которых у тебя много, к славе той, которую ты приобрел расширением земли своей, прибавь славу единения с верою апостольскою – и тогда великое множество благословения небесного получишь.

Иван Васильевич слушал Поссевина спокойно, с большим вниманием и в ответ на его речи и на письмо папы сказал:

– Мы никогда не желали и не хотим, чтобы кровопролитие в христианстве было, и Божиим милосердием нашим от младенчества нашего через много лет кровопролитие в христианстве не велось. Но ненавидящий добра враг ввел в Литовской земле новую веру. Он называется Лютер Мартын. В ваших странах эта вера сильно распространилась, и с той поры, как это учение утвердилось, так и в христианстве по вся места кровопролитие началось. Как и каким обычаем началось и почему между нами и королем Стефаном недружба

такая – мы тебе об этом после скажем. А теперь мы говорим тебе только о том, что мы с папою и императором Рудольфом желаем в дружбе жить. То, что наивышний папа хочет между всеми нами, христианскими государями, мир установить, то нам любительно и приятно.

Царь Иван, произнеся эти слова, приподнялся с кресла и низко поклонился. Усевшись снова в кресло, он несколько минут сидел в раздумье, а потом продолжал:

– Венецианам в наше государство приезжать вольно. Пускай с ихними попами [6] и всякими товарами. Но церквам римским в нашем государстве быть непригоже, потому что до нас этого обычая здесь не бывало, а мы любим по старине жить.

После этого царь приказал Зузину прочитать условия, на которых он, царь всея Руси, желает заключить мир со Стефаном Баторием.

– Нам нельзя уступить королю всей Лифляндской земли. Если нам всю ее уступить, – сказал царь Иван, – то каким путем мы будем ссылаться с наивышним папою, с цесарем и с государями итальянскими и иными поморскими местами. Надо ждать милости короля польского. Но прилично ли это государю всея Руси? Король называет меня фараоном и просит у меня четыреста тысяч червонцев, но фараон египетский никому дани не платил.

О соединении с римскою церковью Иван Васильевич ска-

---

[6] Купцы обыкновенно приезжали в сопровождении своих служителей культа.

зал:

– Мы теперь тебя отпускаем к королю Стефану по важным делам наскоро, а как будешь у нас по возвращении от короля Стефана, тогда мы будем говорить и о вере.

Царь Иван, тяжело вздохнув, грустно произнес:

– Издавна в обиде мы на польских королей. Обращался к нам за помощью молдаванский князь Петр Рареш. Мы хотели помочь ему и деньгами и художниками, но король не пропустил в Молдавию наших послов. То же самое мешали нам в дружбе и с молдаванским господарем Александром Лопушняном. Вот тебе и дружба меж собою христианских правителей!..

В соседней палате были собраны столы со всевозможными яствами и винами; вызваны были туда же гудошники и гусляры.

Зузин объявил Поссевину желание царя Ивана Васильевича пригласить посла наивышнего папы к своему царскому столу.

Поссевин с благодарностью принял это приглашение.

...Вернувшись к себе на ночлег после этой трапезы за государевым столом, Антоний Поссевин записал для посылки доношений в Рим:

«Я видел не грозного самодержца, но радушного хозяина среди любезных ему гостей, приветливого, внимательного, рассылающего ко всем яства и вина.

В половине обеда царь, облокотясь на стол, сказал мне:

– Антоний! Укрепляйся пищею и питием. Ты совершил путь дальний от Рима до Москвы, будучи послан к нам святым отцом, главою и пастырем Римской церкви, коего чтим мы душевно и коего мы признаем наместником Иисуса Христа».

Это свидание с царем обрадовало папского посла и вселило в него надежду о возможном присоединении московского царя и его страны к римско-католической церкви.

После того Антоний Поссевин, бодрый, охваченный желанием заслужить дальнейшее доверие царя, решил оказать воздействие на короля Стефана, чтобы он пошел навстречу царю, уступил бы ему хоть кусочек Ливонии и заключил мир.

Проводы Антония были такие же дружественные, почетные, каковою была и встреча.

Иван Васильевич вызвал Бориса Годунова. С лукавой улыбкой он сказал ему:

– Шевригин донес мне, что один пьяный поп в Риме открыл ему тайну: будто папа сам первый хотел послать к нам грамоту о дружбе и мире. А послать с ней он хотел того попа. Но будто какой-то тайный его соглядатай из моих же людей, при моем дворе донес ему о моем намерении послать в Рим посла... Тогда папа свою грамоту отложил. Что ты скажешь – кто бы это мог? Кто сей предатель?!

Борис задумался. Царь с волнением ждал ответа.

– Кто ж иной, как не бежавший от нас Давид Бельский...

– А кто же мог то сообщить изменнику Давыдке? Откуда он мог узнать? Знали это только царевич, ты, Богданка Бельский и Писемский... Ну?!

– Я молчу, государь.

– Говори.

– Трудно мне... тяжело... Писемский того не скажет... С Давыдкой я не знался. Мы были с ним в недружбе. Я ему не мог сказать.

– Так кто же? Остаются двое: царевич и Богдан.

– Не ведаю, государь.

– Ведать не можешь, но думу иметь свою можешь... Какова она?

– Царевич имеет много друзей... Да и Давыдка бывал у него в застольных торжествах... Хмельные забавы там не редкость.

– Хмельные забавы – не редкость и в моем дворце. Что ты думаешь, когда говоришь о том?

– Я думаю, что во хмелю мог проговориться и царевич...

Царь нахмурился. После продолжительного молчания спросил:

– А Богдан Бельский? Он ведь сородич Давыдки...

– Не берусь судить о том.

– Говори. Перед тобою государь! – громко сказал царь.

– Не гневайся на меня, батюшка Иван Васильевич. Мое слово может быть пристрастно.

– Знаю... – усмехнулся царь. – Не любишь ты его. Больше

не стану пытать тебя.

– Леонтий Шевригин – добрый малый. Я одарил его от твоего царского имени черкасским конем и серебряной сбруей...

– Благое сделал. А еще мне Шевригин донес, будто папа римский недолюбливает цесаря за то, что тот князей своих боится... В Риме хотели бы смерти цесаря Рудольфа.

– Папам не привыкать отправлять в рай людей королевской крови. А что Рудольф силы в своем царстве не имеет, и то – правда.

– Коли так, будем, Борис, еще больше крепить с цесарем нашу дружбу. Чтобы стать сильным, надо оказывать сожаление слабым. Это им по душе. Это заставляет их цепляться за сильного. Не так ли? – с усмешкой сказал царь Иван.

– Слабые почитают сильных, коли те изъявляют им добрые чувства. Истинно, государь.

– Но... Борис! Кому же я теперь могу доверять свои тайны?

– За себя, государь, я ручаюсь...

– И я за себя ручаюсь, а за сына своего Ивашку не ручаюсь... Не надежен он. Глуп еще. Выходит: ты да я.

– Воля твоя, батюшка государь.

– Теперь иди. Я тебя отпускаю.

После ухода Годунова царь Иван, обратившись к иконе, сказал:

«Господи, прости меня, ропщу я... Возношу тебе, Христу

и царю, жалобное слово свое, изнемогая от великих напастей! Для чего поражал ты меня столькими бедствиями с того времени, как я увидел свет? Для чего я принял столько горестей и на суше и на море от друзей и от врагов, а ныне и от детей. Как львы обступили и как псы лают на меня. Какие жалкие вести с востока и с запада! И где отрада?»

Чувствуя, как слабеют его ноги, Иван Васильевич опустился в кресло.

«Афанасий Бельский... царевич Иван... Возможно ли?!»

Царь встал, налил из кувшина воды в ладонь, помочил свою голову, смахнул с лица уныние. Теперь надо быть крепче, тверже, чем прежде.

VI

Синие, медведеобразные облака, наплывая одно на другое, слоились в вышине... Дул теплый южный ветер. Древнюю Покровскую башню облепило присмиревшее вдруг воронье. В окрестностях Пскова наступила необычайная тишина.

Целые сутки псковитяне от мала до велика на ногах. Прискакавшие накануне разведчики-гонцы донесли воеводе Шуйскому: Стефан Баторий, овладев городом Островом, во главе стотысячного войска идет по дороге к Пскову.

Псковитяне этим известием не были застигнуты врасплох. Царь Иван издавна оснащал Псков всяким оружием и укреп-

лял его крепостные стены. Теперь здесь было собрано пятьдесят тысяч пеших воинов да семь тысяч конницы. На стенах по приказанию царя было расставлено множество пушек; в числе их – вновь изобретенные пушечных дел мастерами огромные: «Барс» и «Трескотуха».

Утром двадцать пятого августа Иван Петрович Шуйский после торжественного богослужения взял клятву с детей боярских, со стрельцов и граждан псковских, старых и малых, чтоб всем «стоять накрепко, биться с врагом до последнего». Народ целовал протоиерею Троицкого собора Луке крест, которым он осенял собравшихся, восклицая:

– Умрем, но не сдадимся!

Окруженный воеводами, пушкарями и стрелецкими начальниками, князь Шуйский осмотрел все укрепления. В места, где стены обветшали, сгонял мужчин, женщин и детей. Они принимались поспешно обкладывать камнем и засыпать землею ветхие, плохо защищенные места, как им указывал воевода.

«Окольняя» – внешняя – стена раскинулась вокруг города на восемь верст. Шуйский и его воеводы верхом на конях объезжали ее, осматривая: все ли на месте, готовы ли воины к обороне. Первые удары врага посыплются на эту стену. Она – главная защита города.

Пушкари со стены бодрыми выкриками успокаивали воеводу, перевешиваясь через перила башни, чтобы его приветствовать. Дружною толпою облегая свои орудия, они зор-

ко всматривались в даль, где должен появиться враг. Кое-где со стены срывалась грустная русская песня, та песня, в которой нет ни отчаяния, ни неверия, но в которой заложено глубокое раздумье русского человека над своей судьбой, над страданием родины. Эту песню, как им казалось, певали и Илья Муромец и Добрыня Никитич, и она им придавала еще больше сил для единоборства с врагами, для одоления их.

Пришел час. Дозорные в густых облаках пыли приметили черные, похожие на громадных змей полки Стефана Батория, выползавшие точно из недр земли.

Воевода велел зажечь предместье. И сразу нарушилась тишина.

Загремел осадный колокол. Народ бросился к стенам, вооружившись кто чем мог. Крики воинов, топот и ржанье коней, лязганье железа – все слилось в дикий, тревожный гул.

Чем ближе подходили вражеские полчища, тем осторожнее, неторопливее были их движения. И вдруг они остановились.

В крепости стало уже известно, из кого состоит Баториево войско. Тут и поляки, и литовцы, и венгры, но и немцы брауншвейгские, любчане, австрийцы, пруссаки, курлянды, были в Баториевом войске и датчане со шведами. Слух о поживе и их привлек сюда.

Двадцать шестого августа королевские войска стали бесшумно окружать Псков под грохот орудий всех псковских бойниц и расположились на берегу реки Великой, в четы-

рех верстах от города. Удары русских пушек заставили вражеские полки податься в леса. Но трудно было укрыться от меткой стрельбы псковских пушкарей.

Произошло явное замешательство в войсках короля Стефана, шедших с такой храброй самоуверенностью к крепости.

В это время не замеченные королевским войском в Псков прискакали всадники, посланные к князю Ивану Петровичу с грамотой от царя. Среди них находился и Хвостов Игнатий. Издали заслышав огневой бой, они решили, что им придется сражаться с неприятельскими воинами, приготовились умереть, уничтожив цареву грамоту, но не сдаваться; однако опасность миновала, и они успели проскочить в ворота крепости беспрепятственно. Королевские стрелки стали осыпать их пулями, когда уже было поздно.

Шуйский принял московских всадников радушно, свел их в баню. Они всласть попарились с дороги, а затем в соборе помолились. После того накормил их воевода обедом в своем шатре. Все время он любовался статным красавцем Игнатием Хвостовым.

– Когда бы польская королевна тебя увидела, брат, она Степку-короля прогнала бы, а тебя королем сделала, и войне тогда бы конец! – посмеялся он, торопливо перекидывая через плечо саблю, чтобы снова идти к своим воеводам на крепостную стену.

Игнатия Хвостова назначили сотником к стрельцам.

– Учитель у тебя хороший был – Никита Васильевич Годунов... Справишься! – похлопал Шуйский его по плечу и быстро вышел из шатра.

На площади Игнатий полностью почувствовал, что он находится в осажденном городе. Женщины и дети подвозили к крепостным стенам в бочках смолу, каленые ядра, камни. Монахи и попы ходили в толпе с крестами и хоругвями, благословляли горожан, призывая их защищать родную землю. Заметил Игнатий, что люди в городе даже говорят почти шепотом, озабоченно прислушиваясь к боевому шуму.

Хвостов влез на стену, где стояла толпа стрельцов, вглядывавшихся в станы Баториевых войск. Было хорошо видно, как враги «копали борозды» [7] вдоль реки Великой, около южной стены крепости, как прикатывали к окопам туры, делали насыпи. Работа кипела, горячая, торопливая. Вражеские воины все ближе и ближе подходили к крепости. Видно было даже переправу орудий на соседний берег реки Великой.

Все это спокойно наблюдали Шуйский и его воеводы; они решили не мешать работе королевских людей, думая подпустить их совсем близко к крепости.

Хвостову дали сотню стрельцов. Он побеседовал со всеми десятниками, осмотрел каждого стрельца и сказал строго и громко:

– Послужим государю батюшке с честью! Покажем ворогу

[7] Рыли траншеи.

удаль свою. Не в силе Бог, а в правде.

Стрельцам их новый молодой начальник пришелся по душе.

– На лицо пригож, – говорили они, – и на дело, видать, расторопен.

В крепость явился перебежчик из вражеского стана, поляк, и сказал:

– В королевском войске мало поляков и литвы, но огромные толпища наемников – немцев и венгров. Захотелось им поживиться в Московии богатой добычей. Ксендз Пиотровский воскликнул, увидев Псков: «Господи! Какой город! Точно Париж! Помоги, Господи, нам одолеть его». Сам король посулил наемникам «золотые горы». Вот они и прилепились к королевским панам... Георг Фаренсбах привел с собою немецкую пехоту из Любека и других немецких городов. Курляндских немцев привел в лагерь короля Варфоломей Бутлер. С пруссаками пришел Фабиан фон Донау. В разных немецких городах собрал ландскнехтов Редер. С венграми подошел к Пскову Бекеш. Многие другие полки также из иностранцев с французом Жаном Гардонном во главе.

– Наемник – не вояка! – громко сказал Шуйский. – Продажная душа – не опора. Бог милостив, скоро невмоготу станет наемникам короля наша огневая забава. Знаю я их. Видывал. Слуги они королю до черного дня. Крепко держаться будем – тоска их задавит, окаянных, отойдут.

Недолго пришлось псковитянам ждать вражеского на-

ступления на крепость.

Седьмого сентября Стефан Баторий приказал своим войскам двинуться на штурм Пскова.

Из всех орудий королевского войска началась пальба по основанию стен и башен крепости.

Под прикрытием орудийного огня королевская пехота и всадники стали прокрадываться к стенам Пскова, но вскоре принуждены были отойти назад, неся большие потери от встречного огня псковских пушкарей.

На следующий день, восьмого сентября, штурм возобновился. Поляки, немцы и венгры храбро двинулись к стенам Пскова. Королевским пушкам удалось пробить в одном месте, между двумя башнями, стену. Воздух огласился пронзительным воем множества медных труб и торжествующими криками вражеских толп, устремившихся в пробоину.

Первым полез в нее с развернутым знаменем венгерский полковник Гавриил Бекеш, увлекая за собою венгерских всадников. В другом месте на развалинах стены водрузили свои знамена польские офицеры Фома Держек и Матвей Керекеш.

Разгоряченные успехами королевские воины неудержимо хлынули к городу, но тут им помешали ров и несколько деревянных укреплений. В междустенье завязался бой.

Князь Шуйский, без шлема, с развевающимися по ветру волосами, объезжая улицы внутри города, призывал воинов и горожан напрячь все силы, дать отпор врагу. Духовенство

вынесло из собора мощи и иконы, останавливая тех, кто в испуге отпрянул от стен, оставив их беззащитными.

Замешательство среди осажденных вследствие пролома стены прекратилось.

– За родину, за батюшку государя! – крикнул Шуйский, помчавшись впереди толпы псковитян к пролому, где уже, ослабевая, копошились вражеские ратники.

Началась новая жаркая схватка в проломе.

С новой силой воспрянули на стенах после передышки и крепостные орудия, осыпая ядрами противника, опьяненного успехами. Женщины и дети обливали со стен врагов кипятком и расплавленной смолой, сбрасывали с проклятиями вниз тяжелые камни. Даже больные и раненые приползали на стены и через силу, кто чем мог, громили беспорядочные толпы разъяренных королевских солдат.

Но трудно было сломить упорство вражеского войска, упорство жестокое, отчаянное.

После долгого кровопролитного боя приступ все же увенчался удачей.

Поляки заняли сбитую до половины выстрелами из пушек Свиную башню, а венгры – разрушенную почти до основания Покровскую башню.

В королевском лагере поднялось ликование.

Перед приступом, как рассказывали Шуйскому захваченные в плен польские офицеры, король устроил обильное угощение в своей ставке для всех военачальников. Играли вен-

герские музыканты, хмельные песни лились рекой, сонмы веселых женщин приняли участие в плясках.

Во время этого пиршества польские офицеры встали из-за стола и, подняв сабли над головами, поклялись королю в том, что вечером будут ужинать во Пскове.

Рассказывавший это высокий, бойкий, рыжеусый пан уверял слушавших его воевод, что польские военачальники свое обещание выполнят – сила королевского войска велика, непобедима. Нет никакого смысла псковитянам бороться с таким могущественным королем, как Стефан Баторий.

Шуйский терпеливо выслушал его.

– Кто хвалится, тот с горы свалится, – насмешливо сказал он.

Когда пану перевели слова Шуйского, он недоверчиво, исподлобья посмотрел на воеводу.

– Наш король не имел поражений. Он не любит хвастаться.

– Коли не имел, так будет иметь, – строго произнес Шуйский и обратился к стрельцам: – Возьмите его да сторожите крепко. Не нарочно ли он попал к нам в плен, не с умыслом ли?! На всякие хитрости пускается их король-простачок.

Шуйский отобрал для смелой вылазки из крепости самых отважных воинских людей. В число их попал и Хвостов.

На ратном совете воеводы решили не давать покоя королевскому войску, неожиданно нападать на него во время передышки между штурмами.

Ночь осенняя, лунная.

В городе тихо; в скорбном полумраке храмов горожане возносят молитву об одолении напавшего на них врага.

Хвостов стоит, прижавшись спиною к каменной стене, у городских ворот, которые должны открыться вот-вот для того, чтобы через них он, Хвостов, со своими стрельцами напал на вражеские таборы, что раскинулись вблизи городских стен.

Его мысли, как всегда, об Анне. Здесь, среди камней и куч щебня, в темноте, она стоит перед ним – живая, нежная, кротко отвечая ласкою на его ласки, как тогда...

Облитые лунным светом белые стены собора, домишки обывателей, шатры ратников – все это вдруг подняло в душе Игнатия воспоминания об уютном домике на усадьбе Никиты Годунова. Даже медвежонок пришел на память, и невольная улыбка скользнула по его лицу.

Вспомнилось, как ласково смотрел на него Никита Годунов, как заботливо, по-матерински благословила его при отъезде во Псков Феоктиста Ивановна, но с Анной ему не пришлось проститься.

И невольно, про себя, тихо запел песню Игнатий:

Погляжу я в ту сторонку –
Замрет сердце и заноет...

К нему подошел старый седобородый стрелец в громадной косматой шапке, с широким мечом на боку.

– Что, сынок? Аль приуныл?

– О Москве вспомнилось... Хорошо там! – ответил Игнатий, вздохнув.

– На чужбине, сынок, и собака тоскует, не токмо человек. Сам я с Белоозера сюды прислан. Много наших по государеву наказу на защиту пришли. Хоть и чужбина, а свое, родное.

Немного помолчав, он, как бы про себя, тихо произнес:

– Такое дело... Со всех концов мужики сошлись. Горячо теперь будет!

И отошел, потирая руки.

Ночь прошла тихо, но утром бой возобновился. Опять пронзительно завизжали трубы королевского войска, – снова заревели вражеские пушки, и опять с распущенными знаменами потекли на приступ пешие и конные толпы неприятеля, сверкая на солнце копьями и мечами.

Встрепенулись и защитники Пскова. Гневно заревели огромные пушки «Барс» и «Трескотуха». Огонь и дым их наводили ужас на польскую пехоту, терявшую под их выстрелами множество людей убитыми и ранеными. «Барс» несколькими ударами выбил немцев из Свиной башни. Шуйский, заметив прятавшиеся в ней остатки врагов, велел подкатить бочки с порохом под ее основание, а порох зажечь. Вскоре развалины башни и находившиеся там враги взлетели на воздух.

Старики, женщины и дети с огромным усердием таскали к стенам бревна, камни, катили бочки с порохом, тачки с ядрами. Иные из них слезно молились в церквах, прося у Бога победы над врагом.

В самый тяжкий час к проломному месту в крепостной стене двинулся крестный ход с иконами и хоругвями, сопровождая отряд Игнатия Хвостова. Шуйский наказал сделать через пролом в стене вылазку, чтобы отогнать от того места королевских солдат.

Воины Шуйского приготовились биться с врагом до конца. Они пели молитвы вместе с народом, провожавшим их на ратный подвиг, молитвы о победе. Смешавшись с рыданьями женщин, слова молитвы звучали решимостью защитников крепости биться с врагом до конца.

Хвостов сидел на коне с обнаженным мечом, растроганный, оцепеневший от нахлынувших на него чувств. Из-под железного шлема на толпу смотрели с нежностью его наполненные слезами, почти детские, молодые глаза.

Но вот он дал знак толпе народа остановиться, дальше не провожать воинов. Построившись в боевой порядок, отряд всадников, предводимый Хвостовым, быстро, с копьями наперевес, помчался навстречу видневшимся в проломе королевским войскам.

Шуйский со стены следил за действиями отряда. Рядом с ним находились Скопин-Шуйский и князь Черкасский.

Вот Хвостов столкнулся с громадным венгром, закован-

ным в железо, – начался поединок. Шуйский и стоявшие рядом с ним люди весело рассмеялись, когда увидели, как Хвостов ловким ударом меча выбил из седла венгра.

Псковские всадники, видя это, еще яростней стали драться с венграми, храбро налетая на них, не щадя своей жизни.

Перевес был на стороне малочисленного отряда псковитян, но вдруг на помощь венграм из леса выбежало множество немецких ландскнехтов.

Начался бой не на живот, а на смерть.

У Шуйского и его ближних воевод на глазах был внезапно сбит с коня и сам Игнатий Хвостов. Без начальника остатки отряда псковитян быстро повернули и умчались обратно в крепость.

Королевские всадники бросились следом за ними в пролом Покровской башни, но тут им Шуйский приготовил огневую завесу, от которой погибло много венгров, немцев и поляков. Враги бежали из Покровской башни.

Битва кончилась поздно ночью. Псковитян были убиты восемьсот шестьдесят человек и ранена одна тысяча шестьсот. Неприятель потерял около пяти тысяч человек, в том числе прославленного венгерского воеводу Гавриила Бекеша.

У псковитян погиб казацкий атаман князь Черкасский, герой, смерть которого горько оплакивали псковские сидельцы.

Шуйский велел привести к нему на крепостную стену

пленного пана, предсказывавшего накануне победу короля. Когда тот появился, он указал ему на устланное трупами королевских людей поле около крепости:

– Вот где ужинают люди твоего короля. Любуйся!

В глазах пана застыло выражение испуга.

Когда его увели, Шуйский с усмешкой произнес:

– Теперь я вижу... Обет, данный царю, мы сдержим. Жаль только Черкасского и Хвостова. Славные были воины!

Шуйский тяжело вздохнул, снова заговорив о Хвостове.

– Не простой он крови. Сановит, красив и умом силен. Жаль, жаль!

Шуйский перекрестился.

Взятые в плен поляки сказали, что теперь им нечего скрывать. Пскову опасности теперь уже не грозит: в королевском войске нет пороха, стрелять нечем. Король послал караван в Ригу, чтобы привезти порох оттуда. В стане короля идут несогласия. Замойский говорит одно, король другое, бушуют паны на королевском совете.

– Так-то так, – сказал Шуйский, – а все же нам следует держать ухо востро. Пошлем во все концы разведчиков, расставим стражу, да и пушкари чтоб не дремали. У нас пороха хватит. Государь батюшка позаботился о нас.

К государю были посланы гонцы с донесением об отбитии двух больших штурмов и о тяжелых затруднениях в польско-литовском войске.

VII

Царевич Иван и Борис Годунов верхами совершали загородную прогулку вдоль Москвы-реки.

С утра на дороге, деревьях и крышах домов еще виднелись следы хлеставшего всю ночь ливня, но постепенно под теплом ярких солнечных лучей земля высыхала, и только луга долго еще сверкали сыростью. Над Москвой-рекой дымился разорванный в клочья туман.

Под копытами арабских скакунов хрустел мокрый песок.

Кругом тишина.

Кремль далеко позади.

Царевич и Годунов, обряженные в теплые стеганые кафтаны, захватили с собой луки и колчаны со стрелами на всякий случай.

Царевич, слывший лучшим наездником в Москве, сидел на коне прямо, не шелохнувшись. Те из посадских, которые попадались ему навстречу, сняв шапку, долго любовались красотою царственного всадника. Лицо Ивана Ивановича было румяное, взгляд быстрый, живой, острый.

Московские люди питали добрые чувства к храброму и умному наследнику престола. В народе ходил слух, что царевич многих людей защитил от царского гнева. Молва шла и об его твердом, прямом нраве, о том, что царевич не боялся говорить в глаза правду самому царю. Это особенно ценили

посадские люди.

Борис Годунов держался с царевичем почтительно. Во время беседы он перегибался с коня в его сторону, внимательно вслушиваясь в его слова, однако Годунов не имел обычая льстить или поддакивать даже царю. Он говорил мало, но самолюбиво отстаивал свои слова. Не прочь был и поспорить не только с царевичем, но и с самим царем. И это очень шло к его черным умным глазам, к его мужественной внешности. На него не обижались. Наоборот, это привлекало к нему симпатии царя и вельмож.

Вот и теперь в разговоре с царевичем о завистливых царедворцах Годунов смело, с убежденностью сказал:

– Хитрая зависть всегда выискивает случай затмить чужие достоинства. Наипаче это ощутительно при царских дворах. В каком великом человеке не нашли бы завистливые люди порока? В какой победе не отыскали бы они чего-нибудь обидного для победителя? Каких героических дел не унижали? Есть люди, которые все истолковывают не в честь героя, а в опорочение его! Иисус Христос – и он не мог оградить себя всею славою чудес от стрел зависти. Нет ничтожнее и вреднее людей завистливых.

Иван Иванович слушал Бориса Годунова с большим вниманием, а когда тот кончил свою речь, он сказал:

– А у царей, у которых все есть, может ли и у них быть зависть? Чему им завидовать и кому?

Такого вопроса Годунов никак не ожидал. Он задумался.

– Да, царям нечему завидовать... – нерешительно, в раздумье ответил Годунов.

Иван Иванович улыбнулся.

– Давид-царь был самым могущественным государем в мире, но он позавидовал своему холопу и отнял у него жену. Ну, а царь старик не может ли позавидовать молодому?

– Да. Может, – согласился Годунов. – Старцы завидуют молодости.

– Мой отец не один раз говорил мне: завидую я твоей молодости!.. А я его спросил: если бы ты, батюшка государь, стал молодым, как бы ты стал править государством – так ли, как правил до сего дня, или стал бы царствовать по-другому? Государь сказал: до сего времени я правил так, как мне указывал Господь Бог. Может ли государь идти против воли Божьей?!

– В этих словах я вижу великую мудрость государя батюшки: правление государя, несмотря на великие бури и огорчения, шло прямым путем к счастью Руси.

Царевич Иван испытующе посмотрел на Бориса.

– Так ли это, Годунов? Не говоришь ли ты, чтоб угодить мне? Будь прямее. Я рад слушать голос совести. Не страшусь я, как отец, правды.

– Могу ли я, молодой государь мой, кривить душой перед тобою?

Дальше ехали молча. Царевич был задумчив. С левой стороны – тихая, недвижная Москва-река, с правой – леса. Бе-

рег становился возвышеннее. От самых ног коней нисходили к воде песчаные обрывы. Пестрым ковром опавшие кленовые, ясеневые и ореховые листья устилали дорогу. Иногда в чаще слышится хруст валежника – мелькнет заяц и быстро исчезнет из глаз.

– Истинная слава государей – быть отцами народа, чтобы царили мир и благоволение, – нарушил молчание царевич Иван. – Какое блаженство для самого государя почитать свое царство единым семейством, иметь более права на сердца подданных, как сынов своих, нежели на жизнь и имущество их, яко рабов?! Вот о чем думаю я, Борис!

– Мудрое молвил, государь Иван Иванович, – взволнованно произнес Годунов.

– Однако мое сердце неспокойно, моя душа изнывает от тоски. Не вижу я той благости в нашем царстве... Был малым ребенком я, многое оставалось темно для меня. И был беспечен я. Ныне прозреваю: неправда томит меня, яко недуг. На чем мы утверждаем обманчивые надежды?! В свои силы мы уже не верим. На папу латынского стали надеяться. Сам я, пытаясь заглушить тоску бессилия, предаюсь распутству и бражничеству. Государство разорено, подлый черный люд ропщет... винит нас... Горе близится, беда повисает над престолом... Жди бури!

Иван Иванович остановил коня, повернулся лицом к заречной стороне. Бледный, с горящими беспокойством черными глазами, он был красив и вместе с тем страшен – стра-

шен своею мрачностью, напряжением своего беспокойного ума. Он протянул руку по направлению к кучке деревенских изб, видневшихся вдалеке:

– О чем думают там, в этих норах?!

И, не дождавшись ответа Годунова, сказал:

– Мне один бродяга донес, что там молят Бога, чтобы он поскорее послал им смерть... Они уже перестали проклинать нас. Невмоготу им. Вот что я знаю. Я выпорол кнутом того бродягу. Досадил он мне своими речами. Противен он был, и глаза его, как у подшибленного пса.

– Кто же тот нерадивый слуга, что допустил бродягу к царевичу?! – с возмущеньем в голосе воскликнул Годунов.

Царевич Иван бросил недобрый взгляд в его сторону.

– Я не малый ребенок, чтоб меня оберегать от мужиков. В своем усердии наши слуги нередко наносят нам ущерб. Оберегая, творят зло. Мужиков не грех послушать.

В это время с вершины одного дерева сорвался большой черный ворон, оглушительно каркая. Царевич быстро скинул с плеч лук, натянул тетиву. Стрела впилась на лету в ворона. Птица закружилась на месте и винтом упала вниз, в реку.

– Теперь легче на душе стало! – рассмеялся царевич.

Годунов тоже рассмеялся:

– Стрелок ты исправный, всем известно.

– А какое небо... солнце! Сам Господь Бог смотрит на Русскую землю. На него надежда! На римского папу я не наде-

юсь, и никогда бы я не послал никого к нему. Просил я отца дать мне войско... С Божьей помощью отогнал бы я от Пскова короля Стефана... Отец не дал. К Нарве тоже подошел уже Делагард. Того и гляди – падет Нарва.

Годунов присмирел, робко вздыхая. Не первый раз он слышит жалобу царевича на отца. А царь жалуется ему, Годунову, на строптивость сына, на его упорство и своенравие во псковских делах.

– Господь никогда не забывал Руси, не оставлял ее без своей милости... – сказал Борис.

– Не поскакать ли домой? – тяжело вздохнул царевич.

...Борис Годунов вернулся в свои хоромы темнее тучи. Его жена, Мария Григорьевна, участливо спросила:

– Что с тобою, батюшка?.. Уж не занедужилось ли тебе?

Спросила так, думая о другом: «Быть может, чем-нибудь прогневал Борис Федорович государя?! Это больше всего приводит его в уныние, а спрашивать об этом не полагается».

Годунов нежно обнял жену и поцеловал.

– Не попусту, моя голубка, государь наш батюшка часто поминает в нынешние времена твоего отца, покойного Григория Лукьяныча... Жесток был Малюта, слов нет, но крепок в тайной службе государю. Мы все слабы и незорки, да и смелости той у нас нет. Малюта говорил царю такое, на что у нас и язык не повернется. Бесстрашен был твой покойный отец, а я...

Борис Федорович еще раз крепко прижал к себе красави-

цу жену, облобызал ее, сказав:

– Ты у меня – сама кротость и незлобие, и непохожа ты на Малютино дите. Ангел ты мой охранитель... Хорошо мне с тобой, да только...

Он в задумчивости прервал свою речь.

– Что, батюшка Борис Федорович, «только»?

Придвинувшись к жене, Годунов на ухо ей сказал:

– Опасный человек – царевич Иван! Молчи, никому ни слова! Больная в нем душа, мятежная... Жаль мне его, но того более жаль Русь! Страшно, Мария! Что будет – ни один пророк не разгадает! Чудится – худое! Вот почему я и о Малюте вспомнил. С ним было царю спокойнее.

Мария Григорьевна набожно перекрестилась.

– Не убивайся! Не пугай меня! Бог не оставит государя, да и землю нашу в обиду не даст...

– Молчи, Мария! Ты не знаешь. Молнии уже начали сверкать, скоро и гром грянет...

У Марии на глазах выступили слезы.

– Какое горестное время! – тихо промолвила она. – Не знаешь, как жить, как думать.

Поднялся с шумом со своей скамьи Борис.

– Нет. Я не допущу! Осмелюсь бить челом царю... Совет ему дам. Пускай казнит меня, но молчать не буду.

Иван Васильевич всю ночь читал присланную ему с Афона книгу – объемистая книга, в кожаном переплете с боль-

шими медными застежками, с крупной печатью, обрамленной красными рамками на листах.

Мудрец Диоген говорил: «Только тот истинно свободен, кто всегда готов умереть». Он писал персидскому царю: «Ты не можешь сделать истинно свободных людей рабами, как не можешь поработить рыбу. Если ты и возьмешь их в плен, они не будут раболепствовать перед тобой. А если они умрут в плену у тебя, то какая тебе прибыль от того, что ты забрал их в плен?»

Прочитав это, Иван Васильевич, словно отмахиваясь от каких-то невидимых призраков, попятился назад к божнице, перед которой в чашах горело масло. Он тяжело дышал, в страхе озираясь по сторонам.

– Кто же они у меня?! Где они?!

И вдруг в голову ему ударило:

«Иван! Царевич!»

Несколько времени он стоял посредине комнаты в оцепенении, ошеломленный нахлынувшими на него мыслями:

«Он не покорится!.. Иван... сын мой...»

Царю показалось почему-то смешным это, и он мрачно рассмеялся. Он хмуро осмотрелся кругом и, взяв посох, с силой ударил им об пол:

– Заставлю раболепствовать! Лжет Диоген! Порабощают только истинно свободных людей... Рабов порабощать нечего... Всех заставлю покориться мне! Сын мой Иван им не указ, сломлю и его демонскую спесь... Истреблю гордыню!..

И вдруг, зашатавшись, царь дико закричал:

– Истреблю!

И упал в беспамятстве на пол.

Погода изменилась.

Темные, холодные облака медленно плыли в вышине. Ветер пронизывал до костей. Стало чувствительно приближение зимы. Иногда падали редкие, быстро таявшие снежинки.

Улицы и площади обезлюдели; тощие псы, шатаясь, бродили, поджав хвосты и прячась между ларьками, на площадях и в подворотнях посадских домишек.

Почернела Москва-река, берега ее опустели, только воронье копалось у рыбачьих шалашей в кучах рыбных очистков.

Похожий на громадный монастырь со множеством колоколен и церковных глав, Кремль потемнел, притих.

На самом краю кремлевских угодий, недалеко от Боровицких ворот, у низенького домика князя Ивана Сицкого приютился юродивый по прозванию Большой Колпак. Грязный, в лохмотьях, едва прикрывавших его тощее, худое тело, он сидел на камне и говорил что-то громко, нараспев, обратив глаза к небу.

О чем его слова – трудно разобрать, но много в них горечи, смешанной с гневом. Окружавший его народ всяко истолковывает его речи: кто-то сказал, что блаженненький предрекает новое нашествие крымцев на Москву. Глубоко запало в душу московского жителя пережитое десять лет то-

му назад несчастие, обрушившееся на стольный град Москву. Крымский хан Девлет-Гирей со стотысячной ордой улусников неожиданно напал на окраины Москвы, предав их грабежу и огню. В десяти местах со всех сторон крымцы подожгли тогда и самый город. Не забудешь вовеки, как из края в край охватило бушующее море огня любимую столицу. А проклятый хан Девлет-Гирей любовался с Воробьевых гор на кучи дымящихся головешек на пространстве тридцати верст. Страшно даже вспоминать об этом!

– Ох ты, святой причетник! Да говори же толком, о чем горюет твое сердце? Опасаешься ли чего? Аль уж стряслось горе какое? Молви по-человечьи...

Но напрасно люди добивались смысла от бормотанья и восклицаний старца – ничего он не говорил ясно, но губы его дрожали, будто в испуге, большой колпак свалился наземь; обнажилась безволосая голова в болячках; по щекам юродивого катились горючие слезы...

Вдруг послышался конский топот; все оглянулись и увидели скачущих к дому князя Сицкого всадников.

Юродивый засмеялся, указывая пальцем на них.

– Вот они!.. Вот они! – забормотал он.

Толпа расступилась. Всадники спешились, окружив юродивого.

– По государеву указу, блаженный старичок, жалуй с нами... Во дворец, в Александрову слободу, приказано доставить тебя пред светлые очи батюшки государя Ивана Васи-

льевича.

Юродивый поднял колпак, надел его и сказал:

– Того я и ждал, чтоб с царем видеться: правду охота сказать ему... правду мужицкую... Дай мне своего коня, – обратился он к близ стоящему всаднику. – Ты иди, а я поеду!..

И не успел ему ответить тот, как юродивый оттолкнул его и ловко вскочил на его лошадь; стал гарцевать по площади, как искусный верховой ездок. Окруженный царскими слугами, он поехал по направлению к дворцовой усадьбе.

Но о чем же тосковал святой странник?! Эта мысль не давала теперь покоя расходившимся по домам людям. В последние годы так много было всяких невзгод и несчастий на Руси, что всякое слово, кое подслушаешь на кремлевских площадях и на базарах, заставляет задумываться и мучиться предчувствиями чего-то страшного, какого-то нового несчастья. Тревога в воздухе висит; а тут еще придешь домой, – во всех щелях ветер воет и пищит, будто нечистая сила... Тоже не к добру. Э-эх, Господи, когда же это кончится?! И зачем понадобился государю этот бездомный скиталец, нищий, убогий?! Стало быть, сам царь в тревоге и даже готов слушать бессвязный бред из уст несчастного юродивого?! Стало быть, и царь не уверен в завтрашнем дне?! А коли у царя душа в смятении и страхе, как же быть простому человеку?! О, горе! О, горе!..

Подавленные, в тревожном раздумье расходились по своим домам московские люди.

VIII

Царь Иван знает: победы не веселят польского короля.

Надежда на покорность россиян не оправдалась. Мысли мрачные в головах неприятельских воевод. Орды немецких ландскнехтов, венгров, итальянцев, шотландцев и французов в королевском лагере толкутся без дела, требуют уплаты жалованья; из-за добычи дерутся между собою... Доходов нет... Траты на войну стали пустым расточительством. Мелкие, неродовитые шляхтичи ропщут на военачальников. Народ, придавленный бедностью, мрет от болезней и голода. Захотел король образовать постоянное войско из мужиков королевских имений, и это дело сорвалось; не пришлось по вкусу панам.

Баторий ссорится со своими воеводами, сваливая вину на них. Воеводы остаются при своем, а если и подчиняются, только из страха подвергнуться наказанию. Замойский не ладит с Радзивиллом. Это значит, литовский магнат не хочет уступать первенства польскому.

С какою яростью, смирив Пруссию, собрав громадную дань с побежденного Данцига и заключив союз со Швецией, Баторий набросился было на русские окраинные города, уверенный, что двинутые им против царя московского полчища устрашат, повергнут в прах русские войска.

Полоцк, Сокол, Невель, Великие Луки в руках Батория,

но... Псков! Уж не начало ли это конца?! Да, Псков!

Пленный немецкий ландскнехт рассказал, какие богатства сулил им Стефан, если они возьмут Псков – богатый старинный русский торговый город, но пока ничего хорошего не видно.

Ошибся венгерский владыка Польши. Воеводы сдержали царев наказ.

Псков отражает все приступы, не поддается Баториеву сброду.

На сейме уже возникло разногласие между королем и шляхтой, которая просила короля остановиться, прекратить войну. Недовольный этим король ушел с сейма. Но и после этого через Станислава Пршивинского шляхтичи умоляли короля, чтобы он кончил войну с Москвою. Они говорили о том, что шляхта и в особенности крестьяне до того изнурены поборами, что не смогут больше вынести их. Напрасно вельможи, наемники-немцы и венгры обнадеживают короля победами, стоят за войну.

Вот он, этот пленный ландскнехт, на коленях перед царем бормочет в страхе, слезливо понурив голову, толмачу Гусеву о неудачах своих собратьев-немцев под стенами Пскова. Жалуется на короля, проклинает его за то, что тот привел его, честного немецкого ландскнехта, в русскую землю. Обманул король, суля золотые горы от этой войны; на самом деле «бедным немецким солдатам» ничем не пришлось поживиться.

Рыжие усы, смоченные потоками слез, обвисли у немца, глаза беспокойно бегают, ландскнехт старается избежать взгляда царя.

Исцарапанными, в кровоподтеках руками немец смахивает слезы со щек, поправляя рыжие космы волос, липнущие к потному лбу.

Иван Васильевич велел Гусеву спросить:

– На что же надеялись немцы, его соотечественники, идя войной на Русь, на какие «золотые горы», о которых он, немец, только что сказал?

Ландскнехт, мямля, неторопливо рассказал, что говорят, будто во Пскове, в церквах, много золотых крестов, чаш, блюд, риз, а у купцов несметное обилие товаров, и денег, и богатых одежд... Все это могло бы обогатить немецких солдат.

Иван Васильевич, слушая немца, рассмеялся, а затем с силою ударил его посохом по спине, когда тот поклонился ему.

«Увы, Псков не пал!» – было написано на слезливом лице ландскнехта.

Упорный, отчаянный народ – русские! Их не испугали грозные вести о громких, блестящих победах знаменитого короля Стефана. Ни кровопролитные бои, ни истощение не мешают им защищать свой город.

Ландскнехт продолжал говорить.

Болтовня о царе московском только раздражает – все теперь видят, что царь сделал все возможное для защиты

Пскова. Каждый воин Стефанова войска знает о том. Испытал он, ландскнехт, это на собственной своей спине.

Царь дал Пскову нужное войско, щедро вооружил крепостные стены и башни огнестрельными орудиями... Эта огневая сила, как говорят, привела в удивление даже самого Батория. Военной и домашнею живностью царь снабдил Псков на всю осаду. Теперь это всем хорошо известно.

И воеводы царские не таковы, как их расписывали в Польше и других странах.

– Таких воевод, как русский главный воевода Пскова князь Шуйский да его помощник князь Скопин-Шуйский, таких воевод победить невозможно! – сказал, махнув рукой, немец.

Каждый воин Баториева войска теперь испытывает стыд и разочарование. Баторий, потеряв большую часть своего войска от бесплодных штурмов, должен будет со стыдом уйти из-под стен Пскова. Он согласится на все условия мира.

Горе, горе бесславно пролившим кровь под Псковом полякам, литовцам, венграм, немцам и другим людям, ставшим под знамена Стефана Батория! Все они обмануты, обесчещены.

Немец сообщил также царю о том, что многие польские паны и мужики, и особенно литовцы, вслух ропщут на короля, называют его «чужим», «пришельцем», говорят, что и языка он их, польского, не знает и не учится ему, даже с женою своей Анной Ягеллонкой он объясняется только через

толмачей, на что его жена Анна в большой обиде. О московском царе говорят в деревнях и селах со страхом и уважением; жалеют, что не он и не его сын Федор на польско-литовском престоле, как того желал народ.

Кто помог венгру Баторию стать польским королем?! Турецкий султан, немецкие князья да вельможа Ян Замойский, женатый на племяннице Батория – Гризельде.

Иван Васильевич не спускал с немца неприязненного, пронизывающего взгляда, видя, как старается ландскнехт своими словами угодить ему, царю. В словах немца была большая доля правды, ибо и собственные соглядатаи царя доносили о том, что недовольство против войны и Стефана Батория у неродовитой части шляхты и среди крестьян растет. Они говорили: «Кабы стал у нас королем царевич Федор, то и войны бы у нас с русскими никогда не могло быть».

Однако, выслушав немца до конца, Иван Васильевич велел его заковать в кандалы.

– Притворяются оные продажные слуги диавола... Не грешно его подержать до поры до времени в темнице.

Царь велел напомнить немцу о том, с какою жестокостью они расправлялись с мирным населением в Полоцке. Один пленный поляк рассказывал царю, что он участвовал во многих сражениях, но нигде он не видел, чтобы так тесно и густо друг с другом лежали трупы. Немецкие маркитантки вырезывали из трупов жир для лекарств от ран, это же сделали с трупом и самого убитого воеводы Шеина. Он, московский

государь, писал Стефану жалобу на жестокость немцев, но король ничего не предпринял против этого.

Немцы и теперь творят то же.

Ландскнехт, выслушав толмача Гусева, с удивлением покачал головою.

– Нет... нет... не может быть! – залепетал он в страхе.

Иван Васильевич плюнул ему в лицо и крикнул, чтобы скорее его увели с царских глаз. Больше он не может видеть его харю.

Царь велел привести для допроса пленного польского хорунжего.

Когда в палату вошел громадного роста стройный поляк, еще нестарый, с отвислыми густыми черными усами, царь сказал окружающим его боярам:

– Этот дылда, когда его повалили и отняли саблю, искусал зубами трех наших воинов. У, зверь! Какие глаза! Непокорные, злобные. Послушаем же, что он скажет.

Царь по-польски спросил его: что думает он, поляк, о своем господаре Стефане Батории и о войне с Москвою.

– Я – солдат. Под звон мечей и грохот пушек я думаю только о том, чтобы убить врага! – уклончиво ответил поляк.

Царь повторил свой вопрос, добавив:

– Я вижу – храбрый ты воин, но теперь ты мой пленник и не слышишь звона мечей и стреляния пушек. Тебе есть время подумать и сказать мне правду.

– Правда та, что в Польском королевстве, как и в других

странах, не у всех одинаковые мысли и чувства. Много и таких, которые неприязненно относятся к королю, – сказал хорунжий.

– Кто же эти люди? – испытующе спросил царь.

– Ян Контрим, хорунжий бывший радунский, посажен в острог. Осуждал короля. Говорил: высокие, почетные должности в руках людей, связанных родственными узами. Радзивилл, Малецкий, Замойский и другие вельможи, близкие к королю, делают что хотят. А Рафаил Чубинский, трокский шляхтич, по приказу короля убит. Говорил, будто король, собрав сокровища покойного Сигизмунда-Августа, уехал к себе в Трансильванию... А Мартин Подейко, мой сосед, староста тыкотинский, болтал, будто королева плачет день и ночь. Король-де пренебрегает ею за ее лета, замышляет развод. Послал будто Петра Вольского, епископа Полоцкого, к папе получить благословение на развод. За эти разговоры пана Подейко бросили в земляную тюрьму...

– Добрый же твой государь! Надобно было бы срубить голову Подейке. Грешно подданному судить о государевом доме! – перебил хорунжего царь, спросив, как его звать.

– Мое имя Валентин Бернатович Щапанович.

– Валентин! Вижу я: честный ты человек, верный слуга своего царства... А не жаловались ваши люди на короля, якобы не выполнил он своих обещаний раде?!

– Да. Приходилось слышать, будто король нарушает свое слово, данное в Трансильвании, когда звали его на престол.

Пришлые люди, чужеземцы, венгры и немцы получают старостваа [8] и почести... Венгру Бекешу король дал Ландскаронское староство, а герцог Курляндский утвержден во владении княжеством не так, как значилось в договоренности сейма с королем. Много всего плохого можно наслушаться о короле... Но где, в какой стране нет людей, недовольных своими королями?! Я далек от королевского двора, и мне дела нет до того, какой король. Я люблю свою землю, свою Польшу, за нее и дрался, за нее и умру. Я – не наемник, не ландскнехт, а сын своей земли, своей матери, я – природный поляк. Несчастье, в котором находится моя родина, не позволяет мне выставлять напоказ перед чужим королем наши раны. Не спрашивайте больше меня! Не хочу отвечать.

Иван Васильевич, обратившись к ближним боярам, сказал:

– Напав на Псков, этот шляхтич думает, что он защищал свою землю. Глупец! Разбойник!

Царь зло рассмеялся:

– Вижу, как отравлен ты ядом Стефановой алчности. Знай, неразумный слуга своего короля: Полоцк, Сокол, Невель, Великие Луки, Псков и лифляндские земли – наши, русские, исконные земли. Хотел я тебя отпустить на волю, но теперь вижу, что ты – подлинный враг наш... Таких надо губить!

И, обратившись к Богдану Бельскому, царь крикнул:

---

[8] Именья, пожалованные за заслуги.

– В земляную тюрьму его!

Когда хорунжего увели, царь поднялся и весело сказал:

– Дерзок! Но спасибо ему! Вижу теперь я: Бог начинает прощать мне былую гордыню. Надобно мне было тогда дать шляхте в короли царевича Федора. Ошибся я. Однако Псков свое дело делает: спеси становится меньше у Степана! Да и дружба его с панами киснет.

Царевич Иван собирался на охоту.

Несколько юных боярских детей с секирами, почтительно стоя около его покоев, перешептывались:

– Царевич Федор, видать, на Ирине женится?..

– Сам Борис Федорович Годунов говорил...

– Хитер! Сестрицу свою просватал... Ловок!

– Батюшка государь благословил их.

– Н-ну?!

– Болтают... А мне откуда знать?!

– Велика сила Годуновых!..

– Велика.

– Все теперь переженились, и сам батюшка Иван Васильевич на Марии Нагой. И царевич Иван на Шереметевой, а ныне и Федор! Дай Бог!

– Наше дело малое, и люди мы малые, да ответ большой. Только молиться нам о них и остается.

– Помолчим.

За дверью послышались шаги.

Насторожились.

Дверь распахнулась, вышел царевич Иван. В охотничьем зеленом кафтане с черными шнурами на груди, в татарской шапке с большим орлиным пером. У пояса два длинных охотничьих ножа. Высокий, стройный, с черными проницательными глазами, всем обликом своим похожий на отца. Лицо дышало здоровьем и царственной самоуверенностью.

– Готово ли? – спросил он небрежно. – Псари на местах?

– Готово, все готово, пресветлый государь! Псари на местах. Ловчие у коней.

– Вина взяли?

– Взяли, государь.

Но только царевич сделал два шага к двери, как навстречу ему со двора вышел прибывший от государя гонец. Он упал в ноги царевичу и проговорил задыхающимся голосом:

– Батюшка государь тебя требует.

Иван Иванович поморщился; на лице его появилось выражение неудовольствия, но он быстро овладел собою и сказал с послушанием в голосе:

– Коли батюшке государю угодно, иду тотчас же.

– Бог спасет, батюшка Иван Иванович!

Гонец ушел. Царевич Иван отпустил своих людей, сказав:

– Завтра поутру...

Когда царевич Иван вошел в государеву палату, в ней находился царевич Федор.

Царь строго посмотрел на сына.

– Добро, князь! – усмехнулся он. – Помешал я тебе. На охоту, поди, собрался? За козой гоняться?

Царевич Иван молчал.

– Пришла надобность мне поговорить с вами. Недомогаю я. Предсказал мне один вещун: недолго проживу я.

– Полно, батюшка! – жалобным голосом испуганно воскликнул Федор. – Не нашим ушам слышать то!

– А ты что, Иван, скажешь?! Надо ли думать о том? Не пора ли нам совет держать: как будете царствовать? Я не бессмертен, я хилый, немощный. Устал я! Ну, что же ты молчишь?

Иван, как бы очнувшись от своих сторонних мыслей, стал на одно колено и, прильнув губами к руке отца, тихо произнес:

– Прости нас, батюшка государь! Неразумны мы, малосмысленны. Господь не допустит...

Иван Васильевич ласково погладил его по голове:

– Встань, Иванушка. Слушайте меня.

Царевич поднялся. На глазах у него были слезы.

– Садитесь! – приказал царь.

Некоторое время он сидел в раздумье, уставившись взглядом в угол, а затем, как бы отряхнув с себя какую-то надоедливую мысль, вдруг обратился лицом к царевичам:

– Чада мои, Иван и Федор, хочу сказать вам, как отец, – стойте на своих ногах, держитесь своею волею, чтоб отцу и людям можно на вас опереться, но не чтоб вы опирались на

других. Вы имеете много, и то богатство может перейти в несчастье ваше. Бойтесь своих земных сокровищ! Недолго изленииться и изнежиться от изобилия. Все вас зовет к наслаждению, а добро, кое вы оказываете другим, достается вам без труда... Всякий талант, данный вам Богом, не добыт вами трудом. Не гордитесь же и не довольствуйтесь благодарностью льстецов! Не обманитесь! Не сочтите данное вам Богом за свою доблесть. Вы богаты, но можете при своем богатстве смердить душевными язвами хуже площадного убогого нищего. Учитесь жить своим умом, трудом и уменьем. Смотрите за собою – к каким людям вас тянет и с какими вам учнет быть неловко и тягостно... Берегитесь, коли вам придется приятствовать дружбою с людьми легкими, ничтожными; они потакают вашим греховным слабостям! Они безрассудно, в угоду диаволу пособляют дурному ради своекорыстия. Таких много близ юных владык. Меня не баловали в дни моего младенчества. Сиротою рос я среди развратных гуляк и мздоимцев и немало слез пролил от обид и унижений. Благодарю за то Господа Бога – горе научило меня править своим умом, своею волею, не поддаваться льстивым уветчикам.

Оба царевича, затаив дыхание, слушали отца. Уже не первый раз такие наставления, однако сегодня слова царя звучали с особою значительностью, как бы предсмертное завещание.

Отпустив царевича Федора, Иван Васильевич велел старшему царевичу остаться, чтобы поговорить с ним наедине,

особо.

Он достал из сундука свиток и, развернув его, сказал:

– Слушай. Вот – духовная грамота о престолонаследии.

Тихим, слегка перерывающимся голосом царь Иван начал читать:

– «Благословляю сына своего Ивана крестом животворящим древа большим цареградским да крестом Петра-чудотворца, которым чудотворец благословил прародителя нашего великого князя Ивана Даниловича и весь род наш. Да сына ж своего Ивана благословляю Царством Русским, шапкою Мономаховской и всем чином царским, что прислал прародителю нашему царю и великому князю Владимиру Мономаху царь Константин Мономах из Царьграда...»

Прочитав грамоту, Иван Васильевич некоторое время сидел сильно взволнованный, будучи не в силах говорить.

Успокоившись, сказал:

– Иван, тебе уже без малого три десятка лет. В эти годы я правил Русью без помехи, своим державством. Много горя, много обид перенес ваш отец, и оттого ожесточилось сердце его. Вы росли в беззаботности. Тебя холил я, берег, готовил, согласно Господнему соизволению, на престол российский. Но не радуют меня твои повадки, – дел благих не вижу в руках твоих. Разум твой не украшен царственным дерзанием. Он мало чем возвышается над разумом обычных бражников. Бездельные потехи твои с оголтелыми молодцами огорчают меня. То ли тебе нужно?! Благоговение к Богу,

любовь к обязанностям владыки, справедливость, чистая совесть, сердце непорочное, не столь чувствительное к прелестям мира, возносящееся выше всего временного и покорное Господу сил. Вот истинная слава и основание того, что делает царских сыновей достойными восприемниками прародительской державы, но ты пока не достоин этого. И духовную грамоту я пока не решаюсь огласить.

Царь замолчал. Он тяжело дышал. На лбу его выступил пот. Лицо покрылось красными пятнами. Царевич Иван сидел наискось от царя, опустив голову. Ему стало жаль отца.

– Вот бы тебе быть поближе к Годунову Борису! Да и похожим на него быть не зазорно бы. Муж достойный, твердый, находчив и трудолюбив. Пойми, сын! Царство наше волею Божиею повержено в бездну испытаний. Добытое кровью и доблестью отошло от нас. Весь мир оскалил зубы на Русь. Варяжское море вновь отошло от нас. Опять оттиснули Русь от тех берегов... Великое горе обессилило меня. И кто знает: не надломлюсь ли я от новых бурь?! Они будут, вижу я, чувствую то! Но Русь сильна, она непобедима, она будет жить, она не терпит малоумных, слабых правителей. Она непокорна! Ей нужны мудрые, крепкие мужи на престоле. А таких я не вижу впереди. Бойтесь обидеть Русь, бойтесь оказаться недостойными ее! Горе будет в те поры всем вам! Образумься! Брось пустые потехи, сторонись бражной праздности, бывай чаще в Разрядном и Посольском приказах да не гнушайся вести беседы с малыми посольскими людьми. Они

много знают. Их не надо попусту обижать. А теперь иди с миром да приобщись к чтению святого Писания. Говорил я тебе: читай сказания о непорочных играх Исаака и Ревекки при дворе царя Герарского. Лучшее удовольствие было для царя Давида воспевать на гуслях хвалы Всевышнему или скакать вкупе с народом пред святым ковчегом. Играешь ли на моих гуслях?!

Царевич Иван, робко сутулясь, тихо ответил:

– Играю...

Ивану Васильевичу показался царевич таким беспомощным, несчастным. Он встал, подошел к сыну, поцеловал его в голову.

– Иди! – тяжело вздохнув, махнул он рукой. – Не обижайся на отца. Правду говорю. Добра желаю вам. Помни свою матушку, моего ангела, Анастасию. Вспомни ее кротость и целомудренность. Умерь гордыню ума! Наипаче всего заботься о воинстве.

IX

То, о чем Борис Годунов поведал Андрею Чохову, было встречено Охимою слезами и причитаниями.

Андрей нахмурился:

– Полно уж тебе! Вот какая ты стала!.. Митрий, не гляди на мать... Я и тебя с собой возьму, обвыкнуть тебе надобно в службе, чтоб и ты был у государя в милости да чтоб не

держался вечно за юбку матери.

Слова Андрея еще более усилили скорбь Охимы.

– Охимушка! Постыдись сына! Уж будто бы тебя жизнь не научила терпенью. За терпенье Бог даст спасенье. На такое дело плакаться – токмо Бога гневить, – не на гульбу еду, а на государево дело.

– Слышала я это!.. Терпенья уж не хватает. Государево дело не переделаешь... Когда жить-то будем?

– Глупая! Да разве это не жизнь?! На Студеное море государь батюшка меня посылает. Пристанище там большое строят. А я наряд буду ставить, чтоб вороги к тому пристанищу не подходили. И парнишку мне позволили с собою взять... Надо радоваться тому, а ты ревешь. Не бойсь! Уж не раз я и под святыми леживал, да жив!.. В Иван-городе в те поры едва не сгиб, да вот видишь... Чему быть – того не миновать... А к дорогам, матушка, к нашим я пообвык. И не один я поеду, а несколько сот туда воинских людей едет.

– Так-то оно так. А я все сиди и жди да около очага возись...

– Милая моя Охимушка! Ты ли это? Цветик мой аленький! Неужели и ты теперь будешь ныть?! Не узнаю я тебя... До сих пор ты оную бодрость не теряла. Неужели ты теперь с ней расстанешься?!

Спокойные, ласковые слова благотворно подействовали на Охиму. Она перестала плакать. Андрей подошел к ней, поцеловал.

– Всякому свое счастье, Охимушка! Роптать да завистничать – стало быть, в сторонке от жизни быть. Есть люди, которые до смерти сидмя дома сидят и ничего не видели и ничего не знают... По-моему, это самые несчастные люди. А я, слава Богу, побродил по бел-свету! Много всего видел и Божий мир почитаю по-настоящему. Велик он, а мы в замкнутости ничтожны, мелки. Смирись, Охимушка! Не в спанье и не в лежанье человек Божиим созданием является... Вот и сын наш, Митрий Андреевич, должен понять мир Божий и не в норе его познавать, а в морях и пустынях, в бурях и страстях небесных.

Беседа кончилась тем, что Охима стала усердно собирать в дорогу мужа и сына. А через двое суток они уже тронулись с воинским караваном в путь.

Миновали Троицкую лавру, Александрову слободу, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль и, наконец, приблизились к Вологде.

Дорога все время шла лесами, большею частью – хвойными. Гигантские сосны в просеках закрывали небо. Красноватый сумрак окружал повозки. Дубы, березы, ольха тоже попадались на пути.

В Вологду приехали утром на рассвете.

День обещал быть сереньким, холодным. Ветерок, налетая со стороны реки, поднимал пыль.

При первом взгляде на город Андрей думал, что это село. Он снял шапку и помолился на видневшуюся вблизи цер-

ковь. То же сделал и его сын Дмитрий.

В утренней тишине загудели вологодские колокола, встречая московский караван, о прибытии которого были заранее уведомлены городские власти.

Проезжая по городу, Андрей обратил внимание на множество каменщиков, складывавших высокие каменные стены, и землекопов, рывших около стен глубокие рвы.

Крыши бревенчатых домов, разбросанных в беспорядке по берегам реки Вологды, были прикрыты, как и в Москве, дерном.

Ночевать Андрея с сыном позвали монахи к себе в монастырь. При свете огонька плошки с горящим маслом иноки полушепотом рассказывали о посещении Вологды царем Иваном Васильевичем, о том, как он велел воздвигнуть каменные стены в городе и церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в честь дня своего ангела.

Три раза побывал царь Иван Васильевич в Вологде. Он же велел построить и церковь святого Федора Стратилата в честь дня ангела царевича Федора. Монахи рассказали о каких-то глубоких подземных палатах, которые царь будто бы предназначал для хранения казны и царских драгоценностей.

– Сам батюшка государь по ночам ходил со своими телохранителями в те места. При свете фонаря он смотрел, как мужики и стрельцы рыли подземелье... Болтал народ, будто задумал государь престольный град перевести из Москвы в

Вологду, будто хочет он оградить свой престол от нападений крымцев. К тому и стены те новые возводят... И впрямь – крымские ханы не дают Москве покоя. А Вологда стоит подале, да и лесов много по дорогам к ней... Уж и не ведаем – так ли то, что в Вологде царь будет жить... Боязно! Не слыхали ли вы, добрые люди, чего?! Может ли то быть?! Нам бы того не хотелось.

Говоря то полушепотом и поминутно озираясь по сторонам, монахи испуганно тряслись; лица их в свете тусклого огонька были желты, казались восковыми. К ушам монахи подставили ладони, чтобы лучше слышать, что ответит Андрей.

– Одному Господу Богу известно, что и как решит государь. Не наше то дело, – уклончиво ответил он. – Но думается мне: ни на какой город не променяет батюшка Иван Васильевич свою древнюю столицу, колыбель своих отцов да прадедов. Быть того не может. Москву жгли, разоряли, но она все же останется на веки вечные Москвой, матерью всех городов. Вот что я вам, святые отцы, могу молвить на ваши слова... А коли государь изъявил желание укрепить да обогатить Вологду, то к тому есть иная причина, как думается мне – малому, простому человеку. Ваш город Божьей милостью поставлен на великом, славном пути к Студеному морю, а это знак! Стало быть, тут и торг большущий будет, не как ныне... и всяческая благодать осенит ваши посады, ваши храмы, ваши гостиные дворы.

Монахи, успокоенные, довольные ответом Андрея, перестали его расспрашивать.

Рано утром московский караван снова тронулся в путь. Воздух огласили рожки стрелецких десятников и голоса начальных людей. Скрип колес, фырканье и ржанье коней – все эти шумы подняли на ноги население Вологды. Опять загудели колокола и умолкли, лишь когда московские гости совсем скрылись из глаз.

Вологодские жители – тихие богомольцы, кроткие обыватели, честные посадские миряне – уже попривыкли к наездам разных людей и из многих мест, немало видели и проезжих чужеземцев; однако настойчивость царя, торопившего воеводу с постройкой крепости и домов для иноземцев, пугала, заставляла задумываться: к добру ли то? Нрав у царя понаслышке суровый, непостоянный, не долог час и в опалу попасть.

Стоя у рогатки и провожая взглядом вооруженные толпы стрельцов и работных, даточных людей по пути к Студеному морю, они вздыхали, крестились: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!»

Расходясь, говорили:

– Грозен батюшка царь, грозен, да и народ Богом не забыт – свое возьмет... Чего уж прежде времени тужить? Вологда не первый год стоит. Были владыки – их нет, а матушка Вологда здравствует, да и будет здравствовать и впредь. Бояться нечего ей! Многие московские дворяне приезжали по

службе в Вологду, да и денег немало займовали у вологжан, и по сию пору иные из них не отдают... Бог их прости! Известно: «Заемщик на коне ездит, плательщик – на свинье».

После этих разговоров легче становилось.

Тем временем московские воинские люди с обозом скрылись в лесу.

Андрей сказал своему сыну:

– Хотел бы я, чтобы ты на море плавал, на государевых кораблях... Силы наберешься там и мудрости. Благодарю Создателя, что сподобил он меня посмотреть на просторы морские и города в чужедальних краях... Много всего видел я и понял, что мал и неразумен я и что толку никакого от того не бывает, коли сидмя сидишь на одном месте. Не для того нам глаза, уши, руки да ноги даны, чтобы на куту дремать. Будь смелее! Смелого жеребца и волк не берет.

Дмитрий слушал отца со вниманием. Но тут же он вспомнил мать, которая говорила другое. Напротив, она учила сына «сидеть на месте и никуда не уходить из Москвы». Парень невольно улыбнулся: мать говорит одно, отец – другое. Вот и пойми!

Сидевший в одной повозке с Андреем странник, назвавший себя Гавриилом, поддакнул ему:

– Дело говоришь, братец! – сказал он. – В Новгороде подобные мальцы хоть куда. Вот теперь едем мы к Студеному морю. А кто первый сел на его берегах? Новгородцы! Много-премного лет тому назад, может, сотни две, пришли нов-

городцы в нашу холодную сторону. Заселили морские берега. Там сызмала ходят в дальние края, тем славен и богат господин Великий Новгород! Народ там сидмя не сидит. Батюшка государь то понял. Как ни будь сильна Москва, а коли у нее не будет Студеного моря да людей, непосед, захиреет она, в тоске истомится, засушит ее домоседство...

Андрей стал расспрашивать Гавриила о тех краях, куда путь теперь держали.

– Река будет там – Двина, уходит она в то Студеное море. А есть и другая ж река – Печора, – начал свой рассказ Гавриил. – И живет там зверь всякий, и птицы, и рыбы диковинные... Болтают, будто бы даже из туч на землю падают векши и оленцы малые, но я того не видывал, а старики сказывают. Всего там много. Новгородцы богатый торг ведут с теми местами. Одно плохо стало: московские люди у новгородцев доход отбивают. Дьяки из Москвы понаехали подсматривать, подслушивать. Теснят новгородцев... Ну, да вот будешь там, голова, сам увидишь! А мне и говорить о том не след. Ни к чему мне то. Бог с ними со всеми! Куревушка, курева, закрутила, замела все дорожки и пути, нельзя к милому пройти!..

Гавриил махнул рукой:

– Спаси, Бог! Не мое то дело, сизый голубок.

Большую часть пути ехали молча – не хотелось говорить, да и дороги мешали, – так были ухабисты, так искривлены выпиравшими из земли корневищами, что тут уж не до раз-

говоров. К тому же бурная погода мешала, поднимая в верхушках сосен оглушительный грохот и вой, голосов не слышно.

Иногда, выбравшись из леса, караван двигался вдоль берега Двины. Широкая, многоводная река. В верховьях берега ее лесистые и болотистые, а чем дальше она уходила на север, к морю, тем однообразнее, пустыннее становились они. Изрытые оврагами и глубокими глинистыми ущельями, они были серы, бесцветны, глядели мрачно, а река, как в зеркале, отражала хмурое, сумрачное небо.

Устало передвигали ногами впряженные в телеги и арбы татарские лошаденки, смиренно подчиняясь кнуту и ругани возчиков-татар. Нелегко было по болотистому бездорожью тянуть телеги, нагруженные пушками, и громадные корзины с ядрами.

Всадники тоже приуныли, сгорбившись, понуро сидя на конях. За спиной у них болтались на привязи пищали, а у пояса сабли, шестоперы, кистени.

Воевода, князь Звенигородский сидел в крытой кожею повозке. Ее сопровождали на больших косматых лошадях стремянные стрельцы, охраняя воеводу.

На открытом месте стало холоднее, и ветер был пронзительнее.

– Чего уж теперь ждать? Скоро зима, – как бы про себя сказал Андрей, накидывая медвежий тулуп на плечи сына.

Встрепенулся и Гавриил.

– То-то и есть, сизый голубок! – громко вздохнул он. – Ближе к Студеному морю, тем холоднее станет, да и темнее... Прощай, день, в гости к ночи едем! А там, придет время – солнце токмо в полдень будет являться, зарастай тоска-кручина травой-муравою!

Андрей с грустью вздохнул:

– Слыхал и я, что тьма там зимою, да не верится как-то!

– Чудной народ! – усмехнулся Гавриил. – Воеводе нашему тоже сначала не верилось, а потом привык, будто так и надо. Люблю к реву моря прислушиваться, словно сотни демонов по дну скачут, гогочут, озоруют... Весело! Душа радуется. Озорной я. Чем на воле страшнее, тем мне веселее.

– Господи, спаси и помилуй! – сняв шапку, перекрестился Андрей. – А ты, старче Гавриил, не пугай! Митька, молись! Тьфу его!

Еще две ночи провели в дороге.

Становилось все ветренее и холоднее. Теперь было уже недалеко до Студеного моря. Гавриил сказал Андрею, что не более двухсот верст.

Еще пустыннее, еще суровее выглядели окрестности: глина да песок и бледная, чахлая растительность.

– Незавидное житье, видимо, здесь, – невольно произнес Андрей.

– Мы привыкли, сизый голубок. Господь так сотворил мир, что всякий человек свое место находит, а коли он разумом не обижен, может и счастье свое сыскать. Где живет

тюлень – там не живет барс. Посади помора в Москву – затоскует. А почему? Увидишь после... Студеное море-окиян – дар великий, небесный дар, море – наша душа, совесть, оно – вечное царство белой лебеди.

И, немного подумав, Гавриил сказал:

– Гляди на Соловецкие острова: месяцев восемь, почитай, окутаны лютой мутью... Там люди и во тьме и в одиночестве живут... Ни входу, ни выходу... Море бушует, ветры зорят все, леденят кровь... Волны – будто свету конец, страшные, громадные... А то ледяные припаи полезут, облапят острова кругом, этак верст на десять, стиснут со всех сторон, словно раздавить их хотят, – ай, люли, люли!

Гавриил с улыбкой махнул рукой:

– Что уж тут! Брови черны соболины, очи ясны соколины. Страх! И как ты думаешь?! Монахи красуются. Монахи силу имеют. Гордятся! Митрополита Филиппа они родной земле дали. Любят свой монастырь. Насильно их не сгонишь с той земли. Стало быть, радость есть, благодать Божия. Вот уж истинно: не место красит человека, а человек место! Всему украшение – человек! Недаром Бог создал его по образу и подобию своему. Да и недаром человек покоряет ледяное царство. Гордость творца, могучество веры в нем. Понимай! И не жалей помора! А в Москве олени учены да рога опилены. У нас народ свободней: охотники, рыболовы, мореходы, а у них лямки строчены, тобурки [9] точены. То-то, не вздыхай

[9] Ненская обувь.

о нас. Вздыхай о Москве, сизый голубок! Боюсь я Москвы! Государь запугал. Но теперь ему спасибо. Прозрел.

Вдруг Гавриил спохватился и замолчал.

– Спаси, Господи! Наложи на уста мои узы молчания! Болтун я. Надоедливый. Много говорить люблю. Отроду такой.

И как бы переводя разговор на другое, сказал:

– Поморы говорят: «Море – наше поле, даст Бог рыбу, даст Бог и хлеб».

Короткие дни стали сменяться бесконечно длинными ночами, когда московский караван подходил к Холмогорам, на левом берегу Северной Двины, недалеко от того места, где впадает в нее Пинега.

Гавриил пояснил, что сто двенадцать верст отделяют Холмогоры от Студеного моря.

Едва перевалило за полдень, а солнце уже скрылось за горизонтом и в небе выступали звезды.

Все же Андрей разглядел окружавшие Холмогоры холмы и раскинутые на них деревеньки с высокими бревенчатыми колокольнями. Сердце его радостно забилось при виде человеческих жилищ – длинный, утомительный путь по лесам и пустынным пространствам от Москвы до Холмогор утомил.

Он и его сын сняли шапки и помолились на видневшуюся вблизи церковь.

– Оттерпимся, сынок, и мы людьми станем... Дело не коромысло – плеч не отдавит, – говорил Андрей, вылезая из повозки. – Привыкай, паренек.

Подошел дьяк, сопровождавший воеводу, – Леонтий Вяткин, которого воевода полюбил за бойкий, веселый нрав. Шлепнул Андрея по плечу:

– Отдохнем здесь, чарочку выпьем, да и к морю-окияну... Любопытен я, грешный человек. Далее Александровой слободы нигде не бывал... Подьячие пошли избы нам готовить. Обожди малость. Ночлег найдется.

Сказал и быстро отошел в сторону, окликнув стрелецкого сотника Симеона Черного. До Андрея донеслись его слова:

– Скоро, скоро, Семен!.. Воеводу на ночлег устраивают... Не ты один тут...

Невдалеке, в ожидании ночлега, столпились стрельцы, возницы, слышались ответные крики холмогорских людей.

Надвигался темный северный вечер.

X

Не нежна горлица порхает,
Летя к дружочку своему,
А красна девица вздыхает
О милом, сидя в терему.

Анна поет, а у самой слезы. И думает она и придумать ничего не может и будто сожалеет: зачем повстречалась с Игнатием и зачем сходились они тайком и обнимались?! И ка-

жется, что это уже никогда не повторится и все случившееся, пережитое оборвется, как неоконченная сказка. Но неужели это так?! По ночам не спится! Анна спускается с постели на пол и, став на колени, молится, а о чем – самой неясно. Пускай будет так, как Богу угодно; одного хочется, одно желание сильнее всего – даже сердце сжимается от боли: чтоб он, Игнатий, благополучно совершил свое странствование, чтобы жив и здоров остался.

Впрочем... Довольно ли этого?! Может ли она совсем не видеть его? Будет ли она в силах отказаться от новых встреч с ним?!

Нет!

Думается ей, она меньше страдала, когда отец ее лежал раненый в Ярославле. Тогда она не так тосковала. Грешно сознаваться, но... От Бога все равно не утаишь ничего. Да и не радуют отцовские и материнские ласки ее теперь так, как радовали *его* ласки в ту пору. Почему? Разве мать и отец не дороже ей всего на свете?! Разве она не убивается, когда хворают они? Мысли о их смерти она даже допустить не может.

Отец и мать ей дороже всего, однако... нет той особенной радости, нет того счастья от их прикосновения к ней, нет того скрытого, волнующего чувства, которое приводит ее в сладкую дрожь, когда она около Игнатия. И мыслей тех горячих, красивых в голове теперь уже не бывает, как тогда... в те дни и вечера...

Медвежонок уныло смотрит маленькими черными глаз-

ками из своего убежища... Уж не так часто теперь приходит к нему Анна. Ее не забавляет ублажать бедового зверюгу.

Отец и тот заметил это и сказал:

– Забыла ты его... Совсем забыла, Аннушка! Аль тебе он уж и не люб стал, да и наскучил тебе? Обождем малость, да и в лес его пустим. Согласна ли?!

– Нет, не согласна я, батюшка... Буду ухаживать за ним пуще прежнего, – сказала она испуганно.

Убрать медвежонка? Ну а когда *он* приедет да увидит, что нет его, нет и конуры и что уже выходить во двор, как прежде, ей незачем?! Тогда как?!

Поняла Анна, что не теряет надежды, тайно ждет Игнатия, что она вовсе не отказалась от него и не может отказаться, что он стал ей дороже жизни. Без него какая жизнь?!

Однажды, в большой праздник, отец и мать взяли ее с собой в Кремль, в собор Успения, на богомолье. Второй раз в жизни ей довелось побывать в нем. Службу совершал сам митрополит. Видела Анна много бояр, князей, ратных людей.

Ей почему-то особенно грустно стало в этой нарядной, вельможной толпе. Стояла она по левую сторону, на отгороженном для боярынь, боярышен и посадских женщин месте. Все ей казались счастливыми, и от этого еще глубже чувствовала свое одиночество. Зашевелились в голове и другие мысли, жгучие, острые, заставившие ее тяжело вздохнуть. Сколько нарядных красавиц в драгоценных кокошниках ви-

дела она около себя! А почему он, Игнатий, не может вдруг встретить и полюбить одну из них?! Молодецкое сердце изменчиво. Старая ключница постоянно твердит ей: «Молодой дружок что весенний ледок!»

Сквозь узкие окна соборного купола с вышины падают косые лучи солнца на женскую половину богомольцев, расцвечивая радугой жемчуг и каменья головных украшений и одежд боярынь и боярышен. Еще сильнее сбивало это с толку сомневавшуюся в своем счастье Анну.

Высокие столбы и громадные, тяжелые своды собора, как бы покоящиеся на этих столбах, теперь давили, пугали робко ежившуюся девушку.

«Скорее бы кончалась служба! Прости меня, Господи!» – едва слышно шептала она про себя.

Со стен большими, строгими глазами глядят на нее лики святых, и она старается не смотреть на них.

Переводит взгляд на стоящее на особом помосте, сооруженное некогда по приказанию царя Ивана деревянное кресло, украшенное тонким кружевом затейливой резьбы. Вся Москва ходила любоваться на искусную работу мастеров, создавших хитроумное сплетение косиц, зубчиков, городков, ложек, желобков, звезд, дынь, грибков, репок...

Рассматривает Анна все это с нарочитым вниманием, чтобы рассеяться, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, затем она поднимает взгляд кверху, смотрит на изображение седого Бога, окруженного ангелами.

Опускает взгляд на иконостас перед собою, на иконы удельных княжеств, Новгорода, Смоленска, Владимира. Отец говорил, что царь Иван Васильевич, разгневавшись на уделы, увозил из них иконы. Те иконы он велел вкладывать в иконостас Успеньева собора как знак единодержавия.

И вот, когда она осматривала иконостас, стараясь забыться, среди богомольцев началось волнение. Вдруг кто-то неистово крикнул:

– Царевич Иван занемог!

Сначала все притихли, богослужение прервалось. И вдруг с амвона раздался дрожащий голос митрополита:

– Чада мои, сотряслось великое горе: тяжело занемог царевич Иоанн Иоаннович! Станем на колени и вознесем молитву о его здравии.

Крики и причитания огласили храм диким многоголосым воплем. Затем началась суматоха. Богомольцы бросились к выходу, давя друг друга...

Голоса митрополита, останавливавшего народ, не было слышно среди шума людей, столпившихся у выхода из собора.

Никита Годунов пробовал стать у двери, но его оттиснули в сторону; на глазах у него блестели слезы. Он тяжело вздохнул:

– Худо, чадо мое, худо... Чую беду! Не ко времени, – скорбно покачал головою он.

В узкую щель двери государевой палаты в Александровой слободе, затаив дыхание от страха, оцепенело глазели мамки царевны Елены Ивановны. Царь стоял на коленях около корчившегося на полу окровавленного царевича Ивана.

– Обожди!.. Не надо! – теребя за плечо сына, чужим, визгливым голосом восклицал царь. – Говори!.. Говори!..

– Отец... Государь... Помилуй!.. – простонал царевич.

Иван Васильевич начал неистово креститься на иконы.

– Помилуй! Помилуй! Помилуй!.. – скороговоркой, захлебываясь слезами, громко произносил он, а затем приникнув к лицу сына, дрожащим голосом, умоляюще заговорил: – Нет, нет! Я – окаянный!.. Ты... ты... прости меня!

Иван!.. Иван!.. Очнись!.. Жив ты! Жив!

Вскочив с пола и сотрясаясь от ужаса, царь попятился своею громадною, сутулой спиной к стене. Широко раскрытые глаза его впились в струйки крови, сочившиеся из виска царевича:

– Не надо! Не надо!.. Милый мой! Не смей! Господи, что же это такое?! Иван! Иван! Поднимись! Горе! Боже мой, горе!..

Оглядываясь в растерянности по сторонам, царь подхватил под мышки царевича, с силою поднял его, стараясь усадить в кресло. Налитое кровью от натуги его лицо осенила лукавая улыбка.

– Ваня! Садись, садись! Милый!.. Прости! Никогда больше...

Потный, в слезах, со слипшимися на лбу волосами, царь, склонившись над сыном, покрывал поцелуями его залитое теплою кровью лицо, прижимая к его виску ладонь.

– Сын мой! Иван! Я не хотел того... Не хотел... Я... Умру я... Ты будешь! Люблю тебя. Анастасия говорила. Она!.. Господи! Анастасия, я не хотел!.. Прости!

И вдруг, упав на колени, царь обхватил ноги царевича и уткнулся в них головою.

Воющим, жалобным голосом он выкрикивал какие-то непонятные слова. Окровавленными руками он сжимал свою голову, сам весь в крови, страшный, обезумевший... Одно только слово ясно разобрали мамки: «Анастасия!»

Царевич полулежал в кресле с закинутой на спину головой, с закрытыми глазами. Он не шевелился, странно неподвижный, чужой, далекий...

Иван Васильевич подвинулся вплотную к его лицу, с ужасом вглядываясь в него, прислушался, и страшный крик его разнесся по комнатам дворца:

– Лекаря! Лекаря!.. Лекаря... Умирает! Спасите!

Мамки в паническом ужасе бросились, друг за дружкой, в покои царевны Елены.

Обессилевший, почти потерявший сознание, царь приблизился к двери, выходившей на рундук [10].

Ветер бешено ворвался откуда-то снизу, со стороны озера, вместе с вихрем ледяного дождя, обдал холодом и про-

[10] Балкон, высокое крыльцо.

низывающей тело сыростью.

Царь, прижавшись к каменной склизкой стене, уцепился за намокнувшие перила рундука.

Ночь! Мрак! Небытие!

У самых ног в диком смятении ревут с жутким хрустом деревья.

– Смерть!.. Вот она!.. Пришла опять!.. Опять! Опять!

Она только что глядела на царя сквозь потухающий взор царевича; только сейчас, сию минуту он всем существом своим ощутил ее – ледяную, непреклонную, страшную...

«Как жалок ты, царь московский!..» – слышится Ивану Васильевичу со всех сторон.

«Снова смерть напоминает тебе о твоем бессилии, о твоем ничтожестве!»

Содрогаясь всем телом, задыхаясь, царь шепчет:

– Иван!.. Ванюшка!.. Пощади отца!.. Спаси нас, Господи!.. О-о-х! О-о-х!

Обессилевший от горя, от страха, царь медленно сползает вниз, на мокрый, холодный пол рундука. И кажется ему, что это – могила, он медленно, против своей воли, уходит в нее вслед за сыном...

– Спасите!.. – хочет крикнуть он и не может...

Черная, шумная муть бушующей Вселенной всасывает его в себя...

Только в полночь, перед рассветом, царедворцы нашли лежащего без сознания Ивана Васильевича на холодном,

мокром полу рундука.

Четыре дня прожил царевич Иван. Четыре дня лекари и знахари суетились около его ложа. Поили его овечьим молоком, разбавленной в воде медвежьей желчью и водой яичной с сахаром. Знахари повесили на шею царевичу ладанку с тертым хреном и чесноком.

А когда царевич терял сознание, зажигали две восковые свечи и одной из них «подкуривали под нос».

Юродивый Большой Колпак неотлучно находился в горнице, где лежал царевич Иван. Сам царь хотел этого.

На голове юродивого дрожал большой железный колпак, все тело обвито было тяжелыми веригами. Полунагой, седобородый, он стоял в темном углу и, обратив свои большие бесцветные глаза к небу, повторял бесконечно одно и то же:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Земля ты, мати наша, не пей крови, не губи души! Железо, брат мой, выйми из тела недуг и от сердца щекоту! Всегда, ныне в присно.

Царевичу становилось все хуже и хуже.

Тогда знахари насильно оттолкнули иноземных лекарей от постели царевича и, обнажив его догола, натерли горячее, как огонь, тело его теплым тестом.

А в соседней моленной палате монахи день и ночь служили каноны святым угодникам. Тут же находился и сам царь.

Стоя на коленях в черной монашеской рясе, он посиневшими губами говорил:

– «Славлю тебя всем сердцем моим, поклоняюсь пред святым храмом твоим!»

«И славлю имя твое за милость твою и за истину твою!»

«В день, когда я взываю к тебе, услышь меня и всели в душу мою бодрость!»

«Прославят тебя все люди, когда увидят благость твою!»

«Если я пойду посреди напастей – ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя!»

«Да будет милость твоя ко мне, окаянному, не отнимай у меня чадо мое возлюбленное, единокровное!.. Не отнимай!»

Когда царь замолчал, монахи вдруг унылыми голосами начали петь:

Бдите и молитеся,
Не весть-бо, когда время будет,
Кого час наступит...

Стояла красноватая мгла в палате от благовонных масел, воскуряемых перед гробом царевича.

Глядя на душевные страдания царя, монахи пели с еще большей скорбью в голосе, еще более надрывно, пропитывая слезами каждое слово.

Все четыре дня и все четыре ночи царь Иван не отходил от гроба, не ел и не пил, не смыкал ни на минуту глаз.

По площадям и около храмов Александровой слободы днем сенные девушки царевны Елены по приказанию царя

оделяли нищих грошиками, кормили голубей освященным зерном, дабы птица небесная, взлетая ввысь, доносила до неба печаль государя и его мольбы о прощении.

Мрачные, темные облака в небе слагались, проплывая над Александровой слободою, в громадные черные страшилища. Жутко было смотреть на них.

Ночью на площадях беспокойно метались на ветру огни костров, а около них молчаливо обогревалась конная стража, расставленная Бельским по всем площадям, заставам и окрестным дорогам.

Обыватели слободы в смертельном ужасе забились в свои углы, боясь зажигать даже лучину в каморках, боясь и думать о том, что случилось. Страшно было произнести даже самому себе, что «царь убил своего сына Ивана», а это уже каким-то путем, какими-то непонятными звуками дошло до слуха всех слобожан.

Стража неизвестно по какой причине ожесточилась, озверела, гоняясь за ни в чем не повинными людьми, стегая их нагайками, хватая их на дорогах и бросая в тюрьму. За что?! Получалось, будто царевы слуги вымещают зло на народе, мстят народу за смерть царевича.

Боязно стало и в церковь ходить; между тем унылый протяжный гул колоколов с тоскливой настойчивостью звал слобожан к службе молиться об упокоении несчастного царевича.

Сидишь дома и думаешь: не почли бы и то за преступле-

ние, что ты спрятался и не идешь в храм. А как пойдешь, тогда те же царские слуги, словно на воров, нападают, бьют. И конечно, думает слобожанин, это не иначе как по наущению самого грозного царя. Таков уж обычай появился у людей: что в слободе ни делается – плохое ли, хорошее ли, все исходит от самого царя, все от него, от батюшки. И то правда: насмотрелись за эти двадцать лет такого, чего ни в сказке сказать, ни пером написать, «дай, Господи, и детям нашим того не видеть!».

Вздыхает обыватель, места себе не находит: «Как же это так, Господи, спаси и помилуй: государь, царь, да своего родного сына, царевича, порешил?! Того и в черном народе-то слыхано не было. Уж не лишился ли рассудка грозный царь?!»

Мысли клокочут, бушуют в головах, обжигая души, приводя их в неистовое томление, охватывая какою-то внутреннею жаждою... Невольно человека тянет к ковшу, – но сколько ни пей, а все горит внутри, не перестает сосать горючая тоска.

В беззвучной темени ночами из-за туч выглядывает искривленный горем лик луны: на все ложится серебристая скорбь; и кажется, что башни государева дворца навсегда застыли с раскрытыми от ужаса слюдяными глазницами.

На рассвете мирно бредут монахи в монастырь, низко опустив головы, равнодушные к остервенелому лаю подворотных псов.

В лощине, недалеко от слободы, среди диких лесных зарослей в этот час начинает поблескивать своею поверхностью, похожей на вороненую сталь, большое круглое озеро, на котором некогда в богато убранной галере совершал свои прогулки с царевичами Иваном и Федором чадолюбивый государь...

Оно пустынно и покрыто клочьями разорванной мглы тумана, обволакивающей лесные озера... Медленно выползает она из соседнего громадного болота, вдавившегося в вековой бор. Волки любят это место, и нередко можно слышать их леденящий душу вой... Они осмелели в последние дни, подходят к самым дворам на слободе. Недавно волчица уволокла в лес ребенка. Мать, на глазах которой случилось это несчастье, ума лишилась; ее посадили в клеть, связав по рукам и ногам, чтобы не шумела.

Строгие, хмурые конные ратники объезжают узкие улочки слободы, пристально приглядываются к каждому, кто по какой-либо надобности выходит из дома. Бабы, завидев их, бросают бадьи у журавлей и бегут, чтобы спрятаться во дворе. Мужики ворчат на баб, а сами топчутся на месте в сенях, не решаясь выйти на улицу.

Разговор в избах не вяжется. О чем говорить? О злосчастной кончине царевича? Что о том говорить – дело царское. О своей судьбе?.. Один Бог ведает, что дальше будет. Хорошего ничего не предвидится, а плохого – так и жди! Народ истомился, разбегается из деревень... ропот повсеместный про-

тив помещиков-дворян. Об этом тоже много не поговоришь. Лучше помалкивать.

«Э-эх, и зачем такое несчастье случилось в слободе! И чего в такой лютый, осенний холод сюда пожаловал со своей семьей государь?!» – вздыхали придавленные царевыми строгостями жители Александровой слободы.

XI

После погребения царевича Иван Васильевич долгое время не появлялся на людях. Суды и пересуды о смерти царевича Ивана не прекращались и после похорон. Говорили поразному. Одно особенно было принято на веру. Это то, что при убиении царем сына Ивана в палате находился Борис Годунов. Он хотел будто бы защитить царевича, но Иван Васильевич в страшном гневе ударил его несколько раз острием посоха, нанеся ему глубокие раны в бока. Этому можно было поверить. После несчастия с царевичем Борис Годунов долгое время не выходил из своего дома по болезни.

Однажды его навестил Никита Годунов. Он в изумлении всплеснул руками, войдя в опочивальню Бориса Федоровича и увидев своего больного племянника. Лицо Бориса было бледное, осунувшееся, глаза мутные, голова повязана полотенцем. Тут же сидел лекарь-литвин. Он приподнял одеяло, которым был покрыт Борис, и объяснил Никите, где он ранен и каковы его раны. Слушая его слова, Борис улыбнулся:

– Не пугайся, Никита... Жив буду. Мои недоброхоты напрасно радуются... Годуновы живучие.

Никита набожно перекрестился:

– Огради нас, Господи, силою честнаго и животворящего креста твоего!

Борис приказал лекарю удалиться.

– Ну, что там, на посадах, да и в приказах болтают? – тихо спросил он. – Не скрывай. Говори все.

– Разно говорят. Народ жалостлив и любопытен. Богомольцы со слезами молятся об упокоении царевича... Шуму много.

– Знает ли народ правду?

– Кто же, кроме тебя, Борис Федорович, волен знать правду?!

– И я не знаю, – закрыв глаза, тяжело вздохнул Борис. – Не пойму. Не ведаю. Будто громом оглушен. Царевич хотел к Пскову с войском идти... Стать во главе войска... Может быть, это?.. Не знаю. Да и кто может знать?

Борис закашлялся, махнул рукой. Оба молчали. Затем, не открывая глаз, Борис, словно в бреду, медленно, больным голосом начал говорить:

– Я... вошел... в палату, услышал крик царя... Думал: не случилось ли чего с государем батюшкой? Открываю дверь... Иван Васильевич трясется, пена изо рта... в руке поднят посох на царевича... вот-вот ударит! Не выдержал я, и сам не помню, как то случилось... Я стал между государем и царе-

вичем, схватил за руку Ивана... Васильевича... Ох, Господи! Страшно!.. Вспоминать страшно.

Борис перестал говорить, с трудом переводя дыхание.

У Никиты по щекам поползли слезы.

Отдышавшись, Борис продолжал:

– В ярости начал бить меня государь жезлом... Кровь пошла. Я упал, облобызал полу государевой одежды и поплелся прочь. – Помню крик Ивана Васильевича и стон упавшего на пол царевича. Больше ничего не помню... Ничего не видел... Дай воды! Какой страшный царь! Глаза его налились кровью... Эти глаза не дают мне покоя... Не по себе мне, Никита. По ночам трясучка одолела. Дай воды.

Борис с помощью Никиты слегка приподнялся, перекрестился, хлебнул из чаши.

Откинувшись на подушки, он закрыл глаза ладонью.

– Какого царя мы потеряли! Жаль мне Руси, жаль Ивана Ивановича. Горяч государь. Все его добрые дела кругом в колючках... Видать, так уж указано ему то судьбой. Надобно твердый разум иметь, надобно собою управлять так, как мудрые владыки правят царствами, чтоб пережить такое горе, такой позор.

Никита, тяжело вздохнув, робко спросил:

– Переживет ли?

Борис, пристально вглядываясь больными, беспокойными глазами в лицо дядюшки, спросил:

– А как думаешь ты?!

Никита растерянно развел руками:

– Господь ведает.

Борис покачал головою:

– Чего колеблешься? Переживет! Да. Переживет! – вдруг громко и строго произнес он. – Наш государь – богатырь!

Никита испуганно притих. Его поразил суровый, властный голос Бориса.

Опять наступило молчанье.

Никита, чувствуя себя неловко, собрался уходить, но Борис задержал его:

– Стой!

Никита снова сел.

Мягким, трогательно звучавшим голосом Борис произнес:

– А как государь любил царевича! Все мы знаем это. Любил он его. Очень. Монахи рассказывали... Четыре дня он сидел у гроба... не спал... и не принимал пищи... и все шептал нежные, ласковые слова... то и дело повторяя: «Иванушка, прости меня!», «Анастасьюшка, без умысла я!.. Прости и ты, светлое солнышко! Окаянный попутал!»

– Сам видел я на похоронах, – сказал Никита. – В простой власянице, лишив себя знаков царского сана, как злосчастный бедняк, простолюдин, бился он головою о крышку гроба и о землю, прося прощения у сына убиенного, у Бога, у покойной царицы Анастасии...

– Поздно!.. – тяжело вздохнул Борис. – Не вернуть! Позд-

но! Боже мой, какое великое горе! Царь всея Руси – сыноубийца.

Никита был поражен суровостью его голоса, с которой были произнесены эти слова. Лицо Бориса стало холодным.

– На Руси и без того слез много; плохо, коли и царь плачет... Когда царь и народ в унынии и в слезах, что же тогда Руси делать?! Мы не должны забывать о ней. Будем молиться о том, чтоб государь скорее забыл о своем горе. Не надо! Не надо слез! Что делать?! Потерянного не вернешь.

Борис властно взмахнул рукой, как будто отталкивая кого-то от себя.

– И мои раны заживут. Пустое! И меня жалеть нечего. Господь Бог даст нам сил. Я верю в это. Ты, Никита, будь зорок. Не забывай, что кругом враги. Лови злоязычных и на съезжую волоки. Царево горе – ворогам радость. Хотя и крепок государев трон, но подточить и его могут черви... Гляди в оба! К тому ты на Москве поставлен. Я верю в царя. Велика была любовь его к сыну, но несравненно величие его любви к родине... Она сильнее бурь морских, сильнее великой земной напасти! Ее убьет только смерть!.. Иди с Богом! Твори свое дело с верою! Нам ли отчаиваться?!

Первый излюбленный и выборный голова от всей Двинской области Семен Аникиев Дуда важно восседал в своей холмогорской торговой избе. По сторонам его за широким дубовым столом расположились подьячие.

На скамьях у стены в богатых шубах развалились приехавшие из внутренних областей Московского государства торговые люди.

Собрал их всех сегодня Дуда, чтобы огласить царский указ о построении на устьях Двины нового города, близ Архангельского монастыря, имя которого отныне будет Новохолмогорск. Торговые люди должны понять: если иноземцы полюбили Студеное море, как же московским купцам не ценить государеву заботу о сих местах?

Государев указ выслушали стоя.

Затем Дуда обратился к торговым людям со следующими словами:

– По воле Господа Бога и батюшки государя Ивана Васильевича ныне кончается древняя быль Двинской области... С той поры, как уничтожена дедом нашего государя боярщина на Двинской земле, возросло благоденствие сих мест. Рвение к торговле в Приморье возымели не только новгородские гости и купцы, но и чужеземные торговые люди... Видно – молву поветрием носит. Ну что ж! Доброму Савве и добрая слава. Милости просим! Рады гостям! Мало нам Холмогор, понадобился город Новохолмогоры, к морю поближе, чтобы нам с берегов виднее было: кто едет, зачем едет, с доброю ли целью... Есть и такие: где пирог с крупой, туда и мы с рукой! Таких мы тоже сумеем уважить. Царь наказал мне: «Гляди в оба!» Стало быть, и выходит: у Архангельской обители на Двине новая быль зачинается. Прошу вас, братцы, в бороде у

себя узелок завязать для памяти: мол, у Студена моря новый торг, государев торг, опричь Холмогор... Покуда еще там топоры стучат, а скоро они замолчат, там и будем торг развертывать... Холмогорам скажем спасибо. Послужили они народу честно, по совести. Да и Богу молились там о прибыли купцы немало, да и винца испили там купцы немало же, и нагрешили здесь купцы порядочно... Словом, низкий поклон Холмогорам!

Слова Дуды были выслушаны купцами с превеликим вниманием, хотя втайне и не желали они ничего нового. Купец в новшествах осторожен, недоверчив, особенно старики. Им каждое новшество кажется «концом света». Торг упрям, привязчив к месту. Но ничего не поделаешь: надо смириться. Государево слово – кремень.

– Что ж вы молчите? Али молвить нечего?! – спросил Дуда.

– Спасибо, добрый начальник, спасибо! Царь – «от Бога пристав». Коли указано царем, так, стало быть, и Бог порешил... Против не пойдешь... – сказал самый старый из купцов Семен Осипович Баженин.

Дуда остался недоволен его ответом.

– «Против не пойдешь»! – грозно повторил он. – Да как у тебя, старина, язык-то повернулся сие молвить?! Пудовую свечу должны поставить! Десять служб в монастыре кряду отстоять. Вот что! А ты... «против не пойдешь»!

Купцы притихли, думая про себя: «Милость велика, да не

стоит и лыка!» Сам Дуда догадывался об этом по выражению их лиц, но виду не показывал. Народ северский, большею частью пришедший на берега Двины из Новгорода, своенравен, горд, неподатлив. Купец здешний бывалый, продувной, – думает совсем не то, что говорит. А с Семеном Баженим уж лучше и не спорь. Недавно приехал этот новгородский гость, а уж успел здесь великую силу в купецкой толпе забрать и хоромы себе воздвигнуть в короткий срок умудрился, хитроумные хоромы, с резьбой и убранством многокрасочным. Среди приземистых курных изб его хоромы высились горделиво, вызывающе: глядите, мол, кто в Холмогорах поселился! И действительно: все купцы гурьбой к Баженину валом валили с торгом и поклонами, и ото всех ему был почет великий и уважение.

– Ну, – произнес Дуда примирительным голосом, – можно нам и разойтись, государево слово сказано, а вами выслушано, стало быть, с Богом! Будем в дружбе и согласии вершить доброе.

У воеводской избы стояло в ожидании несколько возков. Лошади покрылись инеем. Морозно. Северную Двину и ее притоки давно уже сковало льдом.

Только что перевалило за полдень, а солнце уже скрылось и небо потемнело. Выступили звезды.

В одном возке – тепло одетый в меховой тулуп Андрей Чохов. Он едет к месту строения Новохолмогорска с Дудой.

– Эй, дядя, заждался меня?! – весело крикнул Чохову вы-

ходивший в сопровождении двух стрелецких десятников и подьячих холмогорский голова. Он полез в возок к Андрею Чохову.

– Господи, благослови, кутейники-дергачи ели с мясом калачи! Подвигайся, давай место голове, – приговаривая, ввалился он в возок в широкой собольей шубе, совсем задавив Андрея. – Места много, а привалиться негде. Да и то сказать, и моя душа не лишняя на свете. Такая же, как и у пушкаря.

Дуда высунулся из возка и крикнул стрельцам и подьячим:

– Слышь, Демид! Сели, што ль?! Не мешкайте!

– Се-е-ели! – донесся глухой, придушенный голос.

– Ну, слава Богу! Добрый час! Молчан, трогай!

Сидевший верхом на кореннике человек закричал неистовым голосом на лошадей, заработал кнутом. Возок со скрипом и визгом тронулся с места.

– Живой парень у нас Молчан: не тряхнув ушами, куска не съест. В баню токмо, нехристь, не ходит: теперь пуд мыла изведешь на него, а все одно не отмоешь. Лошадятник! Так на конюшне и спит. Тут, брат, не Москва, народ у нас простой. Не люблю я тамошних. Гордецы!

Андрей слушал холмогорского голову почтительно, не решаясь вступить в разговор с начальником области, большим государевым слугою.

Из-за облаков выступила луна.

Многоцветными огоньками заискрились снега. Темными

бугорками выглядели разбросанные кое-где по сторонам жилые избы, амбары и другие строения, мимо которых проезжал возок. А дальше раскинулась пустынная, мертвая равнина.

– Здесь, брат, тоже чудес разных не меньше, нежели в Москве. Поживешь – увидишь... – снова заговорил Дуда. – Здешний народ – чудь, видать, оттого так и прозывается. Мне один старик ихний сказывал, что на месте нынешних Холмогор бог их, чудской, стоял, истукан, а звали того бога Иомалы... На голове у него была золотая корона с драгоценными камнями, а грудь его украшало волшебное ожерелье. На коленях будто бы у него стояла золотая чаша, наполненная золотыми монетами... Она была так велика, эта чаша, что четыре человека могли из нее напиться досыта... Чудно! А главное – монеты те золотые никто не воровал...

Дуда весело рассмеялся.

– Враки все! Но, как говорится, не любо – не слушай, а верить не мешай. А уж вот это правда. Пришли сюда из Новгорода купцы и наторговали здесь золота во много раз больше, чем у бедного бога чуди. Мало того, и самого бога они истребили, а на его место часовню поставили и всех нехристей в христианскую веру обратили... Где же деревянному богу справиться с нашим купцом! Купец – ловец, а на ловца и зверь бежит. Обчистили они тут простофиль-язычников... А в нынешние годы аглицкие и галанские хваты повадились сюда ездить. Свято место пусто не бывает. А потому сюда

батюшка государь и пушкарей засылает... Так уж повелось, где местечко попригляднее, сюда и сабельку и пушечку тащи... На всякий час, гляди, и пригодится. Завистливое око видит далеко. Так ли я говорю?!

Чохов, с любопытством прислушивавшийся к словам Дуды, встрепенулся, ответил почтительно:

– В прошлые годы довелось мне много раз по приказанию государевых воевод отбивать недругов огненным стрелянием... Господь Бог поможет мне и ныне, коли к тому нужда явится, по приказанию воеводы пустить огонь по ворогу.

Дуда остался доволен кротким ответом государева пушкаря.

– Добро, молодец! Не всякий гость – «милости просим»! Так и я думаю. А места у нас для стреляния хватит. Вот приедем к Архангельскому монастырю, там и выберем для пушкарей местечко. Поближе к водице, чтоб кораблики лучше видеть. Государь в Москве живет, а его глаз давно смотрит на устье Двины, и, как я понимаю, от этого много пользы будет... Одно мне не по душе – аглицкие люди уж больно стали хозяйничать у нас. Галанских купцов гонят, как будто хозяева они на Студеном море, а не мы. Государь Иван Васильевич много воли им дал. Молчи токмо, никому сих слов моих не говори.

– Полно, батюшка Семен Аникиевич, не к чему мне, – скромно отозвался Андрей, окончательно прижатый к кожуху возка.

Дуда мало того что прижал Андрея к кожуху, но еще во время разговора и руками размахивал, двигался, сидел беспокойно.

«Если так будет и дальше, – думал Андрей, – то я верхом на другую лошадь сяду, рядом с Демидом».

А Дуда, не замечая этого, ударился в пространные рассуждения о том, как терпелив русский народ, как он долго терпел господство иноземных купцов на севере.

– Пора, пора взяться за ум! Терпенье – лучше спасенья. Час терпеть – век жить.

Андрею совсем стало невтерпеж от этих разглагольствований холмогорского головы о терпенье.

– Истинно, Семен Аникиевич, вздохни да охни, а свое отбудь. Одним словом, жив Курилка – докудова еще не помер.

Дуде эти слова очень понравились, и он от души расхохотался, сотрясаясь всем телом, елозя от удовольствия на месте и тем приводя в еще более стесненное положение Андрея, у которого отекли ноги, устали бока от искривленного положения тела.

Ехали голыми равнинами.

– Оный край, – постепенно погружаясь в дремоту и лениво растягивая слова, говорил Дуда, – много добра принесет... Увидишь сам... в недалекое... время...

И замолчал, всхрапнув.

Андрей, воспользовавшись этим, крикнул тихонько Демиду, чтобы он остановил коней, взял из возка войлок, по-

стелил на спину одной из лошадей, впряженных в возок, и поехал дальше верхом, оставив в возке Дуду. Андрею сразу стало легко и весело, когда он услышал позади себя в возке богатырский храп Дуды.

XII

Андрей Чохов стоит на высоком гранитном берегу и глядит в раскинувшееся внизу, у его ног, полое [11] море. Оно необъятно для глаз. В серой пустынности уходит оно в неведомую, загадочную даль океана.

Сын Андрея, Дмитрий, тут же. Прикрываясь шарфом от холодного ветра, он тихо говорит:

– Долго ли мы с тобою, батюшка, здесь жить-то будем?

Андрей рассмеялся:

– Аль соскучился?! Скоро, скоро! Пожить придется. Не тужи.

Дмитрий мялся, придумывая, что бы сказать, дабы не рассердить отца, считавшего скучливость самым тяжелым грехом на свете.

Андрей ждал, готовый произнести несколько жестких слов в назидание сыну.

Дмитрий схитрил:

– Не о себе я, мне жаль матушку. Она скучает о нас.

---

[11] Открытое.

Улыбка скользнула по лицу Чохова.

– В обычае то у нее! – вздохнул он. – Да и негоже себя ради дел государевых сторониться. Прилепись, чадо, и ты к службе. Случалось, в некое время посылал меня государь за море, в далекие края, к чужеземцам... И жив я остался, и матушка твоя не в убытке, да и познал я многое... В мире жить – миром жить, не окольничать, не отбиваться от людей.

Немного постояв в раздумье, Андрей сказал:

– Вот бы на этой горе я пушку поставил... Большущую, страшную! Самое ее место. Ей-Богу! Хорошее местечко! Чужеземцы-мореходы подплывали бы к нашему берегу со страхом! Не думали бы, – Москва далече, и бояться неча. Мудрый наш батюшка государь; надоумил его Господь к месту крепость здесь воздвигнуть.

И после некоторого молчанья он, как бы про себя, повторил:

– К месту, к месту.

Внизу шумело море, грозное, неспокойное, и Андрей хозяйским глазом, привычным к простору глазом пушкаря, деловито осматривал водную пустыню.

Крепость, о которой помянул Чохов, уже начали строить в месте, где Двина, уходя между островов в Студеное море, разветвляется на несколько рукавов. Здесь, в сорока двух верстах от моря, в местечке Пур-Наволок, находился древний Архангельский монастырь. Около него московские плотники да каменщики и принялись за работу.

Новому городу положено было дать название Новохолмогорск.

До этого здесь был острог [12] – огороженное частоколом место, окруженное рвом. В остроге находились две избы: одна – русская, другая – «немецкая». Царь Иван повелел уничтожить «сию убогость» и построить новую крепость.

Пока Андрею Чохову было делать нечего в Новохолмогорске, он стал знакомиться с окружающей местностью. Вдвоем с сыном верхом на конях уезжали они далеко-далеко, в глубь Заволоцкой земли.

Много нового, много любопытного встречали они на пути во время своих прогулок. Особенно же привлекал их к себе морской берег.

Здесь было пустынно, дико, но вместе с тем очаровывала величественная ширь моря, заставлявшая забывать все на свете.

Вот и теперь как прекрасно чувствовали себя отец и сын, стоя на возвышенном месте каменистого берега!

Над самыми головами, лениво взмахивая пышными крыльями, пролетел большущий орлан-белохвост, вспугнув стаи гагар и чистиков.

Громкие, резкие крики птиц огласили воздух, сливаясь в пестрый, нестройный хор, заглушавший даже рокот морских волн.

Порой на взмыленных гребнях моря вдруг показывалась

[12] Крепость.

круглая, облизанная водою голова тюленя, и снова тонула она в мрачной морской пучине.

Андрей пустил вдогонку какой-то птице стрелу. Промахнулся.

Темные громады скал высились вдали, словно вылезшие со дна морского сказочные горбуны. Вылезли и, опустив головы на колени, сели у самой воды, задремав.

До позднего вечера объезжали на конях Андрей с сыном этот берег, и чем больше знакомились они с местностью, тем сильнее она начинала им нравиться.

– Вот уж истинно, – широко разведя руками, воскликнул Андрей, – небо – престол, земля – подножие Господа! Гляди, Митька, на все и учись. Знай, малец: красна птица перьями, а человек ученьем. Сидел бы ты дома и не видал бы ничего, и дум новых у тебя в голове не явилось бы. Голова на одном месте застаивается. Так ли я говорю?!

– Не ведаю, батюшка, – стало быть, так, коли ты говоришь.

– То-то! – рассмеялся отец.

На обратном пути в Новохолмогорск Андрей рассказал о том, что он слышал некогда в Англии о путешествиях англичан в здешние места.

Тридцать лет тому назад из Англии в ясный весенний день вышли в плавание три корабля под начальством Хью Уиллоуби. И подошли они к Ледовому океану. Вскоре страшная буря разбросала по морю утлые парусные суда их. И потеряли они друг друга из виду. И только один корабль, ведо-

мый кормчим Ричардом Ченслером, в августе прибыл в устье Двины-реки. Ченслер поселился в Холмогорах, а потом – в Москве.

– Куда же делись другие корабли?! – спросил Дмитрий.

– Господь не удостоил их прибыть в нашу землю. Причины того нам не дано знать. Одно известно: затерло их льдами. Замерзли они, не пробившись через море к нам... От судьбы не уйдешь. Всякая вещь о двух концах. На то уж люди идут ныне. Или пан, или пропал. На всех морях суета идет. Таков наш век. Вот тоже на службе у нашего государя Ивана Васильевича был один дацкий человек. Звали его Керстен Роде. Все было ничего. Служил царю праведно. И вот однажды поймали его на море дацкие королевские люди и в цепи заковали. Государь батюшка выкуп за него давал королю большущий – не отпустили. Так и скончался он в темнице. А уж как стремился он в моря-окияны! Вольный был, словно птица, человек! Не вынес тесноты!.. Сгиб!

Андрей снял шапку, перекрестился:

– Царство ему небесное! Помолись о нем и ты, – хоть не нашей веры был он, чужеземец, а честно послужил нашему царству. Без кривды.

Перекрестился и Дмитрий. Немного подумав, спросил:

– Хорошо ли молиться о людях не нашей веры? Не грех ли?

– Молимся мы с тобой не за дацкого, а за доброго человека. Добрых людей никакая вера не портит, а они ее укра-

шают, – ответил Андрей. – На то не смотри. Видал я темных язычников, да душой они бывали чище христианина. В Эстонии я видел их, у Западного моря.

В одной деревеньке Андрею с сыном пришлось встретиться с толпой соловецких монахов. Их вел в Новохолмогорск на работу старец Гавриил. Он рассказал Андрею о том, как он встретился в Москве с царем, как был вызван в царские палаты и как просил царя послать людей к Студеному морю.

– Государь батюшка внял мне, а ежели это так, повинен и я служить государю верно. Соловецкие мужи будут помогать вам, – проговорил Гавриил.

Андрей улыбнулся.

– Государя надоумил не ты, старче, а сам Господь... Еще в стародавние времена батюшка Иван Васильевич говорил воеводам о том море, да и корабли в Вологде строили, чтоб плавать по тому морю.

– Полно тебе петушиться! – недовольным голосом возразил Гавриил. – В прежние времена государь не жаловал своим вниманием наших пустынножителей. Да и в опале их держал. А теперь жалует – наши острова понадобятся ему. Мореходов знатных мы дадим ему. О том государь батюшка мне и сказывал.

– Будь по-твоему! – примирительно произнес Андрей. – Мореходы здесь хорошие. Знавал я их раньше. Окунем одного звали, другого Беспрозванным.

– Это наши. Знаю и я их! Бравые дяди, – весело произнес

Гавриил.

На этом и разошлись в разные стороны.

– Слава Богу! – засмеялся Андрей, отъехав от деревеньки. – Соловецкие монахи покорились... После того как митрополита Филиппа заточил государь в монастырь, стали было они артачиться, чуждаться Москвы, а теперь, видишь, образумились... Добро и на том.

С насмешливой улыбкой он продолжал:

– Хотели с Москвою спорить!..

Андрей с особою гордостью произнес слово «Москва».

Хотя уж и не так много он жил на свете, ему пришлось все же видеть множество вельможных, великих и малых людей, множество городов и уездов, пытавшихся идти против Москвы, несогласных ей подчиниться, и, однако, рано или поздно все преклонились перед ней. И теперь для него не было особою новостью услышать о покорности Соловецкого монастыря.

– Так и должно быть! – громким восклицанием закончил он свои размышления о Москве.

XIII

Безмерно тяжелою громадой обрушилось на царя Ивана страшное горе. Насколько хватало сил, боролся он с бурею мучительных раскаяний. Он припоминал все до мелочей, с самого дня рождения царевича, вспоминал, как вместе с ца-

рицей Анастасией они просиживали ночи над люлькой царевича при малейшем его нездоровье и сколько радости доставлял им их малютка-первенец, когда он был здоров и весел! Вспоминал царь и о той трогательной привязанности царевича Ивана к нему, отцу, после смерти матери, когда маленькие царевичи остались сиротами. Оба они постоянно льнули к нему, и нередко он, держа на коленях обоих мальчиков, старался, чтобы его слезы остались не замеченными для детей... Он не хотел, чтобы и они страдали... Он утешал их, забавлял, когда самому было не под силу бороться с отчаяньем. Он заменял им и отца и мать... Как часто ссорился он из-за них с покойной царицей Марией Темрюковной... Да! Они – его дети, они самые близкие его сердцу существа, только они его любили по-настоящему, его, своего отца! А какую радость испытал царь, когда царевич постиг грамоту и когда сочинил он духовные стихиры, отосланные по его желанию в монастырь у Студеного моря!.. Царевич радовал отца смелостью своих мыслей... Но, о, ужас! О, горе! Потом он же, царь-отец, сам стал гневаться на сына за остроту его ума! И потом...

Царь Иван дальше терялся... Нить его воспоминаний обрывалась. Если то случалось ночью, он тогда не спал и часами простаивал перед иконами, а на заре в простой власянице уходил в собор, к месту вечного упокоения царевича, и там до крови стукался лбом о каменный пол, моля Бога о прощении ему его неслыханного преступления.

Увы, не помогало и это. Царевич, бледный, скорбный, с лицом, залитым кровью, в мыслях не отходил от него. И казалось царю, что кровавый призрак с укоризной смотрит на него и тихо качает головой, как бы сожалея: зачем *это* случилось? И нередко находили иноки государя лежащим без чувств у гробницы сына. Поднимали его и осторожно уносили во дворец.

Текли дни за днями, как почерневшая, замерзающая в канун ледостава Москва-река, на которую, одиноко сидя в своей горнице, подолгу смотрел из окна царь Иван.

А тут еще была получена весть: бежавший из Москвы за рубеж бывший царский воевода, изменник Афанасий Бельский во главе шведских войск двинулся к Орешку. Он указал врагам все слабые места русской пограничной обороны, и своею рукою изменник уничтожает пограничные русские селенья.

Об этом донес государю прискакавший из-под Иван-города сторожевой службы станичный голова Герасим Тимофеев с товарищами.

Царь с тяжелым вздохом, молча выслушал рассказ Герасима, а после его ухода велел позвать к себе Бориса Годунова, Богдана Бельского, Никиту Романова, всех Нагих и прочих именитых ближних бояр.

– Готовьтесь! – тихо сказал он. – В моем душевном волнении и страстях, раздирающих разум мой и сердце мое, не в силах я далее оставаться на престоле царском. Страш-

ное наказание Господнее налагает на меня, окаянного, долг удалиться в уединение монастырское, чтобы замаливать там вечно грехи свои. Но увы, как я вижу, мой царевич Федор неспособен управлять государством Московским, слаб он. Боярам надлежит, с Божьей помощью, из боярского рода избрать себе государя по душе, достойного государя, коему я мог бы передать державу и царство свое.

Со страхом и изумлением слушали царя бояре. В один голос воскликнули они:

– Что ты, батюшка государь! Господь с тобою! Не оставляй нас! Не хотим иного царя, кроме тебя и твоего сына, царевича Федора!

Никому из бояр и ближних к царю людей не могло прийти и мысли, чтобы решиться избрать из своей среды царя на смену Ивану Васильевичу. Многие из них и не верили царю. Им казалось, что царь опять нарочно все это говорит, чтобы выведать их тайные мысли, а потом подвергнет их лютой казни, как то было некогда, в прошлом.

Иван Васильевич, словно угадывая их мысли, пристально вглядывался в лицо каждого. В глазах его застыла колющая острота, они сузились, стали какими-то чужими, не его.

– Не хотите другого царя?! – хрипло, с волнением, спросил он. – Чудно! Так ли это? Правда ли, что не хотите? Не обманываете ли меня? Иль, может быть, боитесь признаться?.. Нет, не бойтесь меня. Где уж мне теперь, окаянному, царствовать... Выбирайте себе царя смело. Я не буду гневать-

ся. Выбирайте! Не бойтесь!

Раздались возгласы:

– Не хотим, батюшка государь, не хотим!

– Одного тебя почитаем и любим!

– И как нам слушать подобные твои речи?!

– Лучше бы гром поразил нас, нежели внимать таким словам!

– Пощади нас! Что мы без тебя будем, несчастные, делать?! Господи, Господи! Да что же это такое?!

– Пожалей Русь, батюшка Иван Васильевич!

Выслушав все эти слезные, душераздирающие восклицания, царь поднялся с кресла и сказал тихо, печальным голосом:

– Добро! Вижу покорность вашу. Однако как мне, сыноубийце, сидеть на престоле?! Тяжело мне! Не под силу бороться с недругами, стар стал...

Опять все бояре заголосили, не давая царю Ивану продолжать речь.

Иван Васильевич слабо улыбнулся, замахав на бояр руками.

– Полно вам шуметь! Уймитесь! Когда не хотите, чтоб покидал я престол, так и не обессудьте, коли я удалю от себя все наряды царские и откажусь от праздности и роскоши, отвергну корону и скипетр, облеку и вас всех в одежду скорби и молитвы. Не те времена, чтобы красоваться щегольством.

– Что хочешь делай с нами, батюшка государь, токмо не

покидай нас! Молим тебя, пощади!

– Так пойдемте же все к Успенью и отслужим панихиду по несчастному моему сыну, прежде времени преставившемуся перед небесным престолом.

– Все будет по-твоему, великий государь, все будет так, как изволишь ты того желать, – сказал Борис Годунов.

Поднялась суета во дворце. Бояре стали собираться в собор на панихиду и затем двинулись бесшумною толпою с поникшими головами, следуя позади царя, одетого в монашескую одежду...

На другой день Иван Васильевич послал большие денежные дары патриархам в Константинополь, Антиохию, Александрию, Иерусалим на поминовение души покойного царевича Ивана. Вспомнил о Белградской митрополии и ей по примеру деда своего Ивана III помог денежно.

Он вспомнил при этом слова одного итальянца, который писал, что «все народы Болгарии, Сербии, Боснии, Мореш и Греции поклоняются имени великого князя московского».

Его радовала теперь особенно такая сердечная поддержка единоверных балканских народов.

Царь часто ходил и в собор Покрова, к гробнице Василия Блаженного. Успокоительно действовали воспоминания о том, как в стародавние времена он вместе с царицей Анастасией и малолетними царевичами ходил к больному восьмидесятивосьмилетнему старцу Василию Блаженному и как хоронил он его после смерти, неся сам с боярами гроб люби-

мого им старца. Погребение совершал в те поры митрополит Макарий. Василий Блаженный умер тихою, спокойною смертью угодного Богу праведника, будучи всегда тайным советником царя.

Василий Блаженный особенно полюбил царевича Ивана, предсказывал ему славную жизнь, но однажды вдруг заплакал, посадив себе на колени царевича. Когда царь спросил его, о чем же он плачет, блаженный сказал: «Жалко царевича!» Царь спросил его: «Почему?» Василий Блаженный ответил: «Никому не скажу!» Так и умер, унеся с собою в могилу ту тайну.

Обо всем этом со слезами думал царь Иван, стоя на коленях перед гробницею блаженного, прося его помолиться в вышнем царстве за него, несчастного сыноубийцу, царя Ивана.

Станичник Герасим Тимофеев с большим трудом нашел вновь отстроенный после сожжения татарами посадов Москвы дом Андрея Чохова. Обросший густой бородою, широкоплечий, обтянутый кольчугой, с широким мечом на боку, он сначала испугал своим появлением Охиму. Она подумала, не случилось ли что с Андреем и что не о том ли весть привез этот человек. Она не узнала своего старого друга, с которым некогда, в сообществе с Андреем, совершила путь из-под Нижнего Новеграда до Москвы. Да и то сказать – двадцать четыре года прошло с того времени да пятнадцать со

времени Земского собора, когда Герасим последний раз побывал в Москве. Сильно изменился он, появились морщины, седина.

– Нелегко, матушка, служить на окраине, нелегко и голову сберечь там, – во всяко время готовься к беде. Ба! – сказал он, спохватившись. – А вы новый дом выстроили? Да и Андрея что-то я не вижу.

– Милый мой, батюшка Герасим, да что тут было, в Москве-то, и сказать тебе не могу. Татары напали на Москву, тому лет десять... Дома и хижины поджег хан в десяти концах... Страх наступил великий... Дым все небо застилал... Поднялся ветер. Веришь ли, огненное море вместо Москвы-то получилось! А шум, вой, грохот поднялся, будто мира конец. Все побежали в леса. А татары бегущих побивали стрелами. Все у нас погорело. Вот мы новую избу и поставили. Все теперь у нас вновь отстраиваются, не мы одни.

– М-да, горе великое. Слышали и мы о том. Сказывали нам, что и Кремль будто бы разрушен. Слава Богу, того не случилось!

– Кремль хан не тронул, и на том спасибо!

– Где же Андрей-то? Не вижу я.

– Э-эх, милый, уж и не спрашивай.

Она тяжело вздохнула. Герасим встревожился.

– Ну-ну, говори! Не приключилось ли чего?

Охима, чуть не со слезами, сказала:

– Угнали его на Ледовое море. Острог там ставят. Пушки

повезли туда. Государь приказал.

Герасим добродушно рассмеялся:

– Что ж ты?! Смешная! По Ледовому морю чужеземцы повадились плавать. Государь знает, что делает. Радуйся! Государь Андрюху полюбил, коли везде его посылает. У него так: коли полюбит, тому и дела большие дает.

– А мне какая радость от того? Николи его дома не видишь. Будто я – вдова, а не мужняя жена.

– Послушай меня, порубежника. Вот когда ездишь по дороге вражеской, тоска берет, а как перейдешь через рубеж на русскую землю, так тебе и дом. Родная сторона – вот наш дом. Считай и Андрейку дома. Бабы – все вы такие! Скучливые! Гляди, и моя Параша тоскует там... Вместе со мной ходила драться с нехристями – свейскими разбойниками. Бедовая! Билась один на один. А как мне уезжать, баба бабой стала, в рев пустилась. Так уж вас Бог создал, видать.

– Что? Аль и там война? – спросила Охима.

– Того и гляди Нарва падет и едва ли устоит Иван-город. Силу большую собрал свейский воевода Делагард. Хитро воюет, напористо. Жаль мне наших приморских земель. Как мы их берегли! Да все нипочем пошло. А уж как кораблики-то наши весело бегали! Любо-дорого смотреть.

Охима засуетилась, поставила на стол кувшин с брагой, рыбу, коренья разные, стала угощать гостя.

– А в Москве как вы тут живете? – спросил Герасим, наливая себе брагу.

– Живем, сам знаешь как... Истомились все. Колокола не умолкают... О царевиче Иване панихиды все служат. Грех с царем приключился, вот все и молятся.

– Что ж делать! – грустно произнес Герасим. – Народу царство дорого, земля родная, вот и молятся.

– А чего ради сына порешил – того никто не знает. На посадах болтают всяко...

Охима шепотом рассказала Герасиму, что она слышала о смерти царевича Ивана.

Герасим вздыхал, покачивал удивленно головою, слушая Охиму. Потом вздохнул:

– Не узнал я его, государя. Как он постарел! Да и слушал он меня нехотя, устало. А говорил я – про изменника!.. В былые времена не так бы он слушал об измене. А еще есть ли новое што у вас? Чего ж ты не пьешь? Наливай, да и мне не забудь.

Охима послушно наполнила брагой две чаши.

– Болтают еще, будто поп какой-то латынский приехал... Веру переменить соблазняет царя.

– А царь как?

– Будто бы и царь того же сторонник.

– Так ли это? Не врут ли? – нахмурился Герасим. – Не может того быть. Царь тверд в нашей вере. Врут люди.

– Не ведаю. Бабы вой подняли у колодца, когда им о том сказали монахи.

– Бабы любят повыть. Говорил уж я. На них не гляди. А

веру государь не переменит. Не такой он. Что-нибудь да не так. Получала ли ты вести от Андрея?

– Был тут один ихний. Сказывал, Андрей там белого медведя убил. Шкуру домой будто привезет, – рассмеялась Охима. – К чему она мне?!

– Полно. И шкура медвежья пригодится. Дай я тебя, Охимушка, поцелую... по-старому, дружески.

Он обнял ее и поцеловал.

– Помнишь ли, как мы тогда втроем на реке купались по дороге в Москву?.. А ты песню пела в воде, помнишь ли? Смешная ты была.

Охима закрыла лицо руками.

– Будет тебе! Срамота! Чего вспомнил... – проговорила она. – Давно это было. Состарились уж мы. Не та я уже теперь. Старуха я.

– Какая ж ты старуха! Не греши, не наговаривай на себя. Такая же красавица, как и была. И телеса те же.

Охима посмотрела на него насмешливо.

– Полно тебе о телесах!.. Не лучше я твоей Параши...

Герасим покраснел:

– Параша Парашей, а Охима Охимой. Что о том говорить! И я тебя тогда желал. Андрейка отбил у меня Охиму.

– Не все сбывается, что желается... – с бедовой улыбкой сказала Охима.

– М-да, – опять вздохнул Герасим. – В сердце не въедешь.

Посидев немного молча и не спуская глаз со смущенного

лица Охимы, Герасим подсел к ней поближе.

– Небось я первый с тобой подружился в те поры, на берегу Волги... Андрейка потом подлез к тебе... Ох, и зло меня тогда взяло на него. Сама знаешь, любовь начинается с глаз. А уж как я впервые увидел тебя, так и началось...

Герасим взял руку Охимы.

– Вот так же тогда я взял твою руку... Помнишь?

– Помню, – опустив глаза, тихо сказала Охима.

И вдруг крепко обнял ее и прижал к себе.

– Вот так же я тогда обнял тебя и прижал к своей груди... Помнишь?! – прошептал Герасим.

– Помню... – шепотом ответила Охима, подчиняясь ласкам Герасима.

– Охимушка, что ты так тяжело вздыхаешь? – шепчет он. – Аль что смущает?!

– Нет. Я так... От судьбы не уйдешь...

– Что говорить! Счастье, что называется, сквозь пальцы у меня проскочило...

Охима тяжело вздохнула.

– Ты опять?.. – целуя в щеку Охиму, спросил Герасим.

– Я думаю... Разве ты несчастлив с Парашей?..

– А ты с Андреем?

– Я... счастлива... – ответила Охима.

– Я... тоже... Параша – хорошая... дочка у меня тоже...

– А у меня сынок...

– Ну и слава Богу! И ты счастлива, и я счастлив... Это хо-

рошо... Поцелуй же меня, Охимушка!.. Это – не грешно.

Охима крепко поцеловала Герасима...

И долго сидели они, бражничая и вспоминая далекие теперь дни юности.

XIV

Тринадцатое декабря 1581 года. Небо ясное. День морозный. В деревне Киверова Гора, в недалеком расстоянии от Пскова, московские послы князь Дмитрий Елецкий и «печатник» Роман Алферьев да посол римского папы Антоний Поссевин съехались с послами польского короля воеводой Яном Збаражским, князем Радзивиллом и секретарем великого княжества Литовского Михайлой Гарабурдой.

Снежная пустыня. От деревень остались одни головешки. Здесь не так давно хозяйничали немецкие ландскнехты. Теперь эта местность заполнилась всадниками, повозками, множеством людей. Посланцы царя Ивана Васильевича и сопровождавшие их люди прибыли сюда, блистая своими нарядами, золотом своих одежд. Степенные, с тщательно расчесанными бородами, в богатых меховых шубах, московские послы держали себя гордо, с достоинством. Люди их раскинули убранные персидскими коврами большие теплые шатры, развели около них костры. Елецкий и Алферьев не пожелали жить в уцелевших после войны дымных избах, в которых приютились надменно посматривавшие на москов-

ских послов вельможи короля Стефана. Царь внушил своим послам отнюдь не казаться представителями побежденной страны.

Из Новгорода московским людям по приказанию царя навезли целые караваны съестных припасов, много мяса. Послы усердно угощали обильными обедами, ужинами с вином и брагой римского посла Поссевина.

– Пей, Антоний, ешь... – говорил ему Елецкий. – У нашего государя всего много. Хватит на всю Европию.

В польском стане послов люди питались плохим хлебом и похлебкою без мяса. Плохо позаботились о них гетманы.

Московским людям стало известно, что Баторий из-под Пскова спешно уехал, оставив начальником над своими войсками главного воеводу Замойского. Разведчики московских послов донесли Елецкому и Алферьеву, что в изнуренном бесплодною осадою Пскова польском войске не получившие жалованья немецкие и венгерские ландскнехты бунтуют, отказываются дальше вести осаду. Замойский, чтобы успокоить войско, заявил солдатам:

«На вас смотрят послы московские из Запольского Яма: если будете мужественны и терпеливы, то они уступят; если изъявите малодушие, то они возгордятся, и мы останемся без мира и без славы, утратив плоды столь многих побед и трудов».

Все эти вести очень пригодились московским послам; они поняли, в каком тяжелом положении находится Баториево

войско под Псковом. Через своих гонцов послы донесли царю Ивану Васильевичу в Москву об этом.

Приступили к переговорам.

Пан Збаражский сказал, обращаясь к послам:

– Если вы приехали сюда за делом, а не с пустым многоречием, скажите прямо, что Ливония *наша*, и внимайте дальнейшим условиям победителя, который завоевал уже немалую часть России, возьмет и Псков и Новгород, ждет решительного слова и дает вам три дня сроку.

Елецкий на это ответил:

– Высокомерие не есть миролюбие. Мы угроз не боимся. Вы хотите, чтобы государь наш без всякого возмездия отдал вам богатую землю и лишился бы всех морских пристаней, нужных для свободного сообщения России с иными державами. Вы – не победители! Вы осаждаете Псков уже четыре месяца, конечно, с достохвальным мужеством, но с успехом ли? Имеете ли действительную надежду взять его? А если не возьмете, то не погубите ли войска и всех своих завоеваний?

Елецкий и Алферьев держались с независимой простотой, не выказывая охоты на уступки. Поэтому вместо предложенных Стефаном Баторием трех дней переговоры стали затягиваться. Чем хладнокровнее были русские, тем более горячились послы короля.

Елецкий и Алферьев предложили полякам несколько ливонских городов, занятых российским войском, а также Полоцк со всеми его пригородами: Озерище, Усвят, Великие

Луки, Велиж, Невель, Заволочье, Холм. Однако чтобы Дерпт и прилегающие к нему четырнадцать крепостей остались за Москвой.

Стефановы послы с негодованием отвергли это предложение. Они требовали уступки Польше всей Ливонии, а сверх того и денег на покрытие военных расходов.

Послы удивленно покачали головами, услыхав о требовании денег.

– Сами учинили войну, а мы должны за это вам деньги давать. Грешно так-то!

Елецкий и Алферьев от души рассмеялись.

Радзивилл высокомерно продолжал требовать денег, не обращая внимания на слова московских послов.

Антоний Поссевин все время находился в московском посольском лагере, прикидываясь сторонником царя. На самом деле, как это понимали и сами московские люди, все это делалось для виду, чтобы не возбуждать у русских недоверия к себе, втайне будучи на стороне короля.

– Хитер иезуит, но мы тоже не овечки... Пускай чудит.

Споры об условиях перемирия затягивались. Послы короля говорили о том, что король «не уступит своего права на Нарву и другие крепости, занятые шведами». Царские послы получили от царя наказ, считая Нарву и все незаконно занятые шведами соседние крепости русскими, уступить их польскому королю.

– Великим разумом наградил Бог государя нашего, – ска-

зал князь Елецкий. – Пускай Польша ради Нарвы объявит войну Швеции... Пускай отбирает нашу Нарву у шведов. Довольно Стефану красоваться своей доблестью перед нами, пускай омочит сабли в шведской крови. Пускай будет так, коли мы Нарву у шведов отстоять не можем.

Королевские послы все повышали свою требовательность. Елецкий обратился к Поссевину с просьбой, чтобы он помог Москве договориться с Польшей. Но Поссевин вместо того стал высказывать сожаление, что-де, если Елецкий и Алферьев не пойдут на дальнейшие уступки, Россию могут постигнуть великие бедствия. Король двинет войска в глубь земель российских. Иезуит начал запугивать послов, но они уже знали о безвыходном положении Баториева войска под Псковом.

Шуйский был взбешен, услыхав о препирательствах королевских послов. Он решил нанести стоявшим под Псковом войскам Батория новый удар, чтобы сбить спесь у вельможных панов.

Четвертого января Шуйский собрал большое число верховых и пеших воинов и внезапно напал на войска Замойского. После жестокой битвы он взял много пленных, побил множество неприятельских воинов. На поле битвы полегли видные королевские вельможи. По счету то была сорок шестая вылазка псковитян. Со стороны неприятеля был тридцать один приступ.

Замойский торопил своих послов с заключением догово-

ра, терпение войска надломилось; паны боялись новых волнений среди ландскнехтов.

Шестого января мир был подписан. Ливонские земли полностью отходили к Польше. Послы московские и послы польские по-братски обнялись. Воеводе Шуйскому послали гонца с известием о состоявшемся примирении держав.

Поссевин снова прибыл в Старицу. Он был уверен, что теперь-то уж он добьется своего в беседах с царем.

На другой день после свидания с царем он писал в Рим:

«Я нашел царя в глубоком унынии. Сей пышный двор ныне выглядит смиренною обителью иноков, черным цветом одежды отражая мрачность души Иоанновой. Но судьбы Всевышнего неисповедимы: самая печаль царя, некогда столь необузданного, расположила его к умеренности и терпению слушать мои убеждения».

В беседе со своими помощниками Поссевин высказывал твердое убеждение, что уния будет введена в России.

Получив разрешение вновь явиться во дворец, он начал с того, что принялся уверять царя в искреннем расположении к нему короля Стефана Батория:

– Просил меня его величество король Стефан передать твоему величеству: вражда угасла в его сердце, он не таит никакой скрытой мысли о будущих завоеваниях, а желает истинного братства и счастия России. Во всех его владениях отныне пути к пристани открыты для купцов и путешествен-

ников той и другой земли к их обоюдной пользе. Король сказал: пускай ездят в Москву римляне, и немцы, и другие люди через Польшу и Ливонию свободно, беспрепятственно. Пускай в награду за страдания будет тишина христианам и месть разбойникам-крымцам. Король сказал: «Пойду на них! Добро, коли пойдет на них и царь! Надобно унять вероломных злодеев, алчных ко злату и крови наших подданных. Надобно условиться, когда и где действовать. Я не лях, не литвин, я – пришлец на троне и хочу своим миролюбием заслужить доброе имя навеки».

Сказав это, Поссевин низко поклонился Ивану Васильевичу, сидевшему на троне в черном монашеском одеянии. Он внимательно прослушал речь Поссевина. А когда тот ее кончил, сказал:

– Мы теперь уже не в войне с ханом: посол наш князь Василий Мосальский несколько лет прожил в Тавриде. Заключил выгодное перемирие с ханом. Магомет-Гирей имеет нужду в отдыхе. Его изнурила долгая война с Персией. Оная война берегла нас от опасных нашествий крымцев в течение пяти лет. Нужды воевать с ханом уже нет у нас. Спасибо королю за его добрые слова, которые нам приятно слушать.

После этого Антоний приступил к самому главному – стал просить царя побеседовать с ним наедине о вере.

Царь на это ответил:

– Мы с тобой говорить готовы, но не наедине. Зачем мне обижать своих ближних людей? Они мои помощники, они

мои честные слуги. Я слушаю их советов. И притом в такое время. Да и то порассуди: ты по наказу наивышнего папы и своею службою между нами и Стефаном королем мирное постановление заключил. Теперь между нами дал Бог христианство сохранить в покое. Того нам и хотелось. Спасибо римскому папе. А если мы станем говорить о вере, каждый свою веру будет хвалить. Пойдет спор. И мы боимся, чтобы после того вражда не воздвигалась, ибо каждый своей вере ревнитель. Иначе не бывает.

Антоний Поссевин спокойно выслушал царя Ивана, но все же вкрадчивым голосом стал уверять, что если царь перейдет в латынскую веру, то получит не только Киев, но и Царьградский стол.

Иван, усмехнувшись, покачал головою:

– Не надо нам этого, коли веру нужно менять. Можно ли ради выгоды менять веру?! Нам с вами не сойтись о вере. Наша вера с глубокой древности была сама по себе, а Римская церковь сама по себе. Мы в своей христианской вере родились и дошли с ней до совершенного возраста. Нам уже пятьдесят лет с годом, нам нечего уже менять веру и на большое государство хотеть. Будя с нас оного. Ты мне говорил, что ваша римская вера с греческою одна: но мы держим веру истинно христианскую, русскую, а не греческую – свою, русскую, а не чужую.

Так ничем и кончилась эта беседа Поссевина с царем...

Следующая встреча царя с Поссевином произошла в тор-

жественной обстановке, в Тронной палате. Присутствовать при беседе царя с послом римского папы разрешено было лишь особо знатным боярам, князьям и дворянам. Младших дворян в палату не допустили.

Поссевин явился в сопровождении трех иезуитов.

Он принялся горячо убеждать царя продолжить беседу о вере.

Царь Иван рассмеялся:

– Что нам с тобой, друг, толковать о больших делах! Не по душе мне твои речи. Чтобы тебе не было досадно – не будем о том говорить. А вот малое дело: у тебя борода подсеченная, а бороду подсекать и подбривать не велено не только попу, но и мирским людям. Ты в римской вере – поп, а бороду сечешь, и ты нам скажи: от кого это ты взял, из какого учения?

Поссевин растерялся от неожиданности вопроса. Смутившись, он ответил, что бороду он не бреет, но она у него «сама не растет».

Тогда царь, раскрасневшись, продолжал:

– Сказывал нам наш паробок, который был послан в Рим, что папу Григория носят на престоле, а на сапоге у папы крест. И вот первое, в чем нашей вере христианской с римской будет разница: в нашей вере крест – на врагов победа... С ним ходим в бой. Мы чтим его. Как же мы будем носить крест ниже пояса? Он – защита наша.

Смущение Поссевина возрастало. Он, сбиваясь в словах, робко ответил:

– Папу достойно величать: он – глава христиан, учитель всех государей, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. Вот и ты, государь великий, и прародитель твой был на Киеве великий князь Владимир: и вас, государей, как нам не величать, и не славить, и в ноги не припадать?

Иезуиты поклонились царю в ноги.

Нахмурился Иван Васильевич, оглядывая их, и сердито сказал:

– Зачем говоришь про папу Григория слова хвастливые?! Зачем называешь его сопрестольником Христу и Петру?! Говоришь это ты, мудрствуя лукаво, а не по заповедям Господним. Нас пригоже почитать по царскому нашему величию. Мы – цари. Иное то дело. А святителям всем, ученикам апостольским, должно смирение показывать, а не возноситься превыше царей. Папа – не Христос. Престол, на котором его носят, – не облако. Те, которые его носят, – не ангелы. Папе Григорию не следует Христу уподобляться и сопрестольником ему быть. Грешно это! Да и Петра-апостола равнять Христу не следует же. Папа не по Христову учению и не по апостольскому преданию живет, коли себя с Христом равняет. Твой папа – волк, а не пастырь!

– Если папа – волк, а не пастырь, то мне уже нечего больше и говорить, – тяжело вздохнул, потемнев от обиды, иезуит и замолчал.

– Вот я и говорил, что нам нельзя с тобою вести беседу о

вере. Без раздорных слов не обойдется. Оставим это! – проговорил царь Иван Васильевич. – Живите вы по-своему, а мы по-своему. На том свете разберутся: кто праведник и кто грешник.

Однако римский посол не унимался. Не мог он на этом закончить свою беседу с царем.

Он стал просить царя отпустить несколько человек русских в Рим – изучать латинский язык. Говорил, что это очень полезно будет для Москвы.

– К чему они тебе? – спросил царь ласково. – И что тебе заботиться о Москве? О ней есть кому заботиться.

– Нам хочется, чтоб не думали о нас плохо твои подданные.

Царь Иван, сурово сдвинув брови, сказал:

– Теперь вскорости таких людей собрать нельзя, которые бы к этому делу были пригодны. А что ты нам говорил о венецианах, то им вольно приезжать в наше государство и попам их с ними. Только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костелов не ставили; пусть каждый останется в своей вере. В нашем государстве много всяких вер. Мы ни у кого воли не отнимаем, живут все по своей вере, как кто хочет, а церквей иноверных до сих пор у нас не ставливали еще.

На этом беседа царя с Поссевином о вере и закончилась.

Боярам и князьям царь на другой день сказал, что Поссевин свое дело благое для Москвы совершил. Он помог пере-

мирию с королем Стефаном, и спасибо ему за это, а посему – иезуиту надобно оказывать гостеприимство везде, где он бывает. После этого по наказу царя его окружали повсюду знаки государевой к нему милости. Царь велел уважить его просьбу об освобождении из плена восемнадцати испанцев. Еще иезуиту удалось исходатайствовать у царя облегчение участи литовским и немецким пленникам впредь до размены: их выпустили из темниц и отдали в избы к горожанам, которых обязали их кормить, с ними обращаться дружелюбно.

В день отъезда Поссевина с иезуитами из Москвы царь Иван торжественно благодарил его за посредничество в переговорах с королем Стефаном о мире, уверил его в своем личном к нему уважении.

Царская палата была полна знатных вельмож.

Проводы римского посла были обставлены особою пышностью.

Иван Васильевич, стоя, просил Поссевина передать поклон папе и королю Стефану. Дозволил Антонию подойти к своей царской руке.

Несколько богато одетых дворян принесли десяток драгоценных шкурок черных соболей: для папы и самого Антония.

– Неудобно мне, – стал отказываться от подарков Поссевин, – бедному ученику Христову красоваться драгоценными нарядами... я инок, монах, Божий слуга.

Однако после ласковых слов царя соболей он все же взял и увез к себе на квартиру.

Вместе с Поссевином царь отправил гонца – дворянина Якова Мольянинова. С ним он отсылал папе ответ на его грамоту. В своем письме уверял папу, что с большою охотою готов участвовать в христианском союзе против турок.

Якову Мольянинову и его спутникам был дан наказ:

– Если папа или его советники начнут говорить: государь ваш папу назвал «волком» и «хищником» – отвечать, что им «слышать этого не случалось».

Поссевин уехал, сопровождаемый благими пожеланиями московских вельмож, но совершенно не удовлетворенный своими беседами с царем. Основная задача, которую на него возложил Григорий Тринадцатый, выполнена не была.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Раздобрели, увлажнились почки на деревьях. Сады и рощи по берегам Москвы-реки в нежной зеленой дымке. Робкая юная поросль не в силах прикрыть собою черные сучья дубов и лип. Тонкою зеленою каймой обволакивает она распростертые в воздухе лапы древних дубов-великанов.

Талая вода все еще держится на луговой стороне; многие поселки и церквушки, что на буграх, крохотными островками пестрят среди воды. Еле заметные плоскодонки медленно ходят от бугра к бугру.

С кремлевской стены, на которой стоит царь Иван Васильевич, видно, как выбиваются из сил, борясь с течением, гребцы. Царь, сощурив глаза, с любопытством следит за ними.

Внизу, под самой стеной, чернички из Вознесенского девичьего монастыря полоскают белье. Солнце золотит юные лица.

Иван Васильевич вздохнул, отгоняя от себя мучившие его все эти дни мысли об утраченных берегах Балтики. Все другие печали, как то: о неустройствах в областях, разоренных

поборами наместников и войнами, о потере сына, достойного занять царский престол, – все это поглотила одна неотступная, острая, колющая сердце мысль о море, об отвоевании его обратно у шведов и поляков.

Старость! Рано пришла она. Не вовремя! Впереди много дел, ой как много – голова кружится, когда подумаешь! Сотни Стефанов Баториев не так страшны ему, царю, как ты, неодолимая, коварная старость!

Царица и та, при всей своей кротости и супружеском смирении, постоянно говорит ему, царю: «Отдохни, государь, ты устал, береги свое здоровье, оно нужно государству». Ничто его, государя всея Руси, так не обижает, как соболезнование жены его расшатанному здоровью, его стареющим годам. Но права ли царица?! Она, быть может, сама виновата, что не умеет разбудить в нем дух бодрости, силу и радость, радость жизни.

На дворе весна! Жить хочется! Хочется на весь мир крикнуть: «Прочь, долой старость! Долой печали и сомненья!»

Разве для него, царя Ивана, не светит солнце?! Разве для него нет весны?! Разве он, царь, не волнуется, забыв о своем сане, обо всем, глядя на плескающихся в воде юных черничек, и не наполняет ли его сердце внезапная радость, простая, ясная, как в юности, когда он видит их, слышит их звонкие голоса?! Молодость – ярче, теплее самого солнца.

Иван Васильевич склонился через перила стены, стал пристально вглядываться в толпу девушек.

Александра! Это та самая черничка, которая приносила ему, государю, как дар Вознесенского монастыря расшитое руками монахинь покрывало на гусудареву постель. Это ее имя записал царь у себя в тетрадь, чтобы одарить ее. Но потом он забыл об этом, забыл... Странно!

Чего ради такая красавица ушла в монастырь?!

Думая о черничке, царь всей грудью вдыхал бодрый, пахнущий весною, цветением воздух. Совсем рядом на зубцы кремлевской стены опустилась стайка розовогрудых птичек. Нежное их чириканье и бойкая суетливость невольно вызвали на лице царя улыбку, он вспомнил, как гонялся в юности среди цветов за пичужками в кремлевском саду.

Нет! Не пятьдесят лет! Душа рвется к счастью; омытая страстями и горем, она истосковалась о тихом, уединенном отдыхе, о любви тайной, независимой... Скрытая от всех любовь и всемогущество царя – доселе не испытанная им радость, доселе неизведанный напиток, кажущийся теперь опьяняюще прекрасным. Пускай, как робкий юноша, он будет хорониться ото всех со своей любовью.

Вот он, царь, следит за этою черничкой Александрой; почему-то ему хорошо запомнились черты ее лица. Она стоит теперь на берегу в задумчивости, отойдя в сторону от остальных своих подруг. Он помнит ее нежные, как у царицы Анастасии, большие печальные глаза. Во всем ее облике было что-то, сильно напоминающее покойную царицу. И у нее на лице также мелькают тени страдания... То же было и у той...

(Царство ей небесное!)

Царь Иван еще ниже склонил голову над перилами, он готов крикнуть: «Александра!», крикнуть, как простой воин, посадский человек, как мальчишка...

Но губы остались тесно сжатыми, а глаза осветились любовью, желанием. Лицо царя помолодело, зарумянилось.

Стоя на берегу, инокиня Александра с тоскою думала, что вновь надо идти в монастырь. Вот уже пятый месяц она томится в нем, не в силах привыкнуть к иноческой жизни. Ее тянет прочь от монастырских стен, мрачных, жутких, с их остроконечными серыми бревнами. Вороны и то не садятся на них, летят в сторону.

Весна, солнце, сверкающая ширь разлива реки навевают мысли о жизни на воле, о жизни среди простых людей. Александре уже двадцать восемь лет, но, кроме горя, она ничего не видела. И муж и ребенок теперь только воспоминание. Мужа казнили царевы слуги. Ребенка увезли ее родители в тверскую усадьбу.

Она молода, ее лицо – почти детское, кому же в голову может прийти мысль, что она – мать? Среди монастырских девственниц она кажется самою невинною. Да и в самом деле – иногда думается ей, – уж не сон ли все случившееся с ней?

Вот она стоит, смотрит на проплывающую мимо берега завозню под парусом. На дне завозни сидит женщина с ребенком, на корме стоит бородатый мужик с шестом. И неволь-

но мысли Александры, мысли горючие, беспокойные, летят туда, в тверскую усадьбу, к двухлетней дочке. Это все, что осталось у нее самого дорогого на свете.

Строгие, хмурые инокини считают ее «нечистою», они злобно презирают ее за материнство. Не раз обзывали ее «блудницей». Многие сотни поклонов положила она на эпитимье [13], когда ее силою заточили в монастырь. Но и это не примирило с ней совесть монастырских сестер, старых дев.

Александра горда. Чем больше ее преследуют, унижают, тем замкнутее, молчаливее и отчужденнее от инокинь она становится. А это и еще того более озлобляет их против нее, Александры.

Одна старая монахиня вчера после утрени отвела ее в темный угол храма и наедине сказала:

– Я вижу – лукавый смущает душу твою. Мне жаль тебя. Успокойся! Бог создал людей для страданий. Чем больше у человека счастливых дней, тем горше ожидает его жизнь в будущих днях. Человеку, живущему в горестях и печали, и малое облегчение приносит радость. Думай о худших днях, с молитвою претерпевай тяжесть их, и тогда тебе малое будет радостно. Мирись с неотвратимостью горя. Постоянно жди его!

И теперь, жмурясь от золотистых лучей солнца, слушая звонкий смех черничек, она вспоминает эти слова старой монахини и не верит им... Неужели и в самом деле надо

[13] Церковное наказание.

ждать только горя?!

Александра не заметила, что она отошла слишком в сторону и что чернички уже кончили полоскать белье и, неся корзины, пошли снова в монастырь. Только что хотела она побежать скорее вдогонку за ними, как ее кто-то окликнул из прибрежного кустарника.

Она обернулась.

Около нее стояли двое богато одетых юношей. На них были темно-зеленые кафтаны, расшитые серебром, у пояса сабли.

В испуге она замерла на месте.

– Что вам надобно от меня? – спросила она.

– Не пугайся! Тебе приказала идти с нами старица Феодора – твоя игуменья.

Александра недоверчиво попятилась назад.

– Кто вы?! Я боюсь вас! Уйдите!

– Мы – государевы люди, и бояться тебе нас нечего. Не мешкай, пойдем с нами.

Александра, едва переводя дыхание от страха, последовала за неизвестными ей людьми...

Вечером в Вознесенском монастыре поднялась тревога. В свою келью не вернулась с Москвы-реки черничка Александра.

Всех монахинь подняла на ноги игуменья Феодора. Обежали они все кремлевские улицы, площади, дворы, храмы, сады – нигде не нашли Александры. В ее келье догорала лам-

пада перед иконой Марии Египетской. На столе лежала недошитая детская телогрейка.

Ночь.

В опочивальне государыни темно, только лампады перед божницей окружены лучистым сияньем.

Царица Мария лежит под одеялом. Около нее бабка Демьяновна.

– И вот привели те молодцы черничку... Ох, Господи, срам какой, какая напасть, какой грех!.. – шепчет бабка.

– Да говори же скорее... сказывай дальше, – нетерпеливо перебила ее царица.

– И прямо во дворец, и прямо в комнаты государевы... Ох, Господи, да что же это с государем нашим случилося?!

– Полно, Демьяновна, не убивайся!.. Господь с ним, батюшкой Иваном Васильевичем! Не тужу я. Такой он есть. Неспокойный. Говори, еще что слыхала ли?

– Слыхала, матушка, слыхала. Будто уж вторые сутки та черничка в государевых покоях живет...

– Молодая ли она? – тихо и спокойно спросила царица.

– Молодая, матушка, молодая да пригожая, сказывают.

– Коли так, будь что будет. Стар он становится. Слаб он. На меня обижается, да что ж я?! С другой, может быть, лучше ему... Пускай! Господь с ним! Измучилась я с ним, истомилась!.. Изнемогаю с ним!

Сказав это, царица закрыла глаза, откинулась на подуш-

ках навзничь.

– Жаль мне его, Демьяновна, – тихо сказала она. – Душа в нем хорошая, только неспокойная. Недужит он. Не осуждаю я его, Господь с ним!..

И немного помолчав, приподнялась, улыбнулась:

– Ненадолго это, Демьяновна. И от нее отстанет он. Чудит он. Выше всего заботы его о царстве, да вот и по убиенному царевичу он тоскует. И другое прочее. Не до нас ему. Прогонит он и ее. Но не радость мне и от этого. Страшный он!

Демьяновна руками всплеснула:

– Как же так, матушка государыня!.. Ужли тебе все одно: с ней ли он или с тобой? Спаси, Господи, что слышу я! В своем ли ты разуме?!

– Все одно, Демьяновна! Меньше гневаться на меня будет. Боюсь теперь я его! – холодно ответила царица. – Пускай потешится с другой, а я отдохну... Ой, как хочется отдыха! Да и невмоготу мне. Дите жду.

Демьяновна глаза вытаращила в испуге.

– Бог с тобой! Что ты говоришь, матушка?! Не моим бы ушам то слышать! Ахти, Господи! Да что же это с тобою?

Дворцовые государевы люди приметили, что царь Иван Васильевич стал в последние дни добрее и веселее. Он даже простил явившегося к нему с повинной атамана разбойной ватаги – казака Ивана Кольцо, пришедшего с царской грамотой в руках, в которой говорилось, что покаявшиеся разбой-

ники, если они пожелают вернуться к мирному труду, будут прощены царем. Царские пристава давно искали ватагу Ивана Кольцо; за его голову был обещан большой выкуп, но найти его не могли. И вот он сам явился. Рослый, длинноволосый, угловатый, по-орлиному поворачивая голову, он осматривал окружавших его царедворцев исподлобья, недоверчиво. Царедворцы жались друг к другу, боясь подойти к этому неуклюжему великану. Очень много страшных рассказов ходило в Москве про него.

Иван Кольцо знал, что царь Иван самым безжалостным образом истреблял вольных казаков, грабивших купцов, царевых людей на Волге. Их предавали страшным пыткам, рубили им головы и вешали. Много погибло вольницы в царевых застенках. Часть казаков была истреблена царем, другие со страха быть пойманными ушли на север. И там Строгановы, приглашавшие казаков бросить воровскую жизнь, призвали их к себе на службу в Чусовые городки. Яков и Григорий Строгановы уже умерли, остались дети их – Максим Яковлевич и Никита Григорьевич и дядя их – Семен Аникиевич. Вот и Иван Кольцо, приговоренный к смерти заочно, решил оставить разбой и поступить к Строгановым, принеся повинную царю Ивану Васильевичу.

Царь пожелал сам допросить раскаявшегося разбойника.

Случилось это в один из праздничных дней после утрени в царевой Малой палате.

Царь долго с насмешливо-хмурой улыбкой оглядывал с

ног до головы Ивана Кольцо.

– Ну! – сказал он, усмехнувшись. – Нагулялся?

– Нагулялся, великий государь, будет. Тоска-докука взяла... Знать, так Господом человеку положено, чтобы не всю жизнь воровским обычаем жить. Занедужила душа!.. Сил нет! Потянуло к праведной жизни, саблей казацкой государю послужить желаю!

Иван Кольцо стал на колени, отвесил земной поклон:

– Помилуй, великий государь! Прими нас на свою службу, чтобы добрыми делами могли мы свою вину искупить... Просим слезно, батюшка государь, прими!

Царь задумался, про себя тихо молвил: «Куда ж теперь тебя?!»

Наступило продолжительное молчание. Бояре стояли неподвижно, опустив взор. Им казалось чудовищным беззаконием появление тати [14] в государевых покоях.

– Следовало бы, по-Божьему, – сказал царь, опершись подбородком на посох, – тебе голову усечь, однако я дарую тебе и твоим товарищам жизнь. Слушай! Двадцать с пятком лет тому назад посланы были мною два атамана, Иван Петров и Бурнаш Ялычев, за горы проведать басурманскую землю к неведомым властителям неведомых земель. Те атаманы с Божьей помощью дошли до моря языческого Курейского. Побывали они в улусах Черной Мунгалии. Побывали они и

[14] Тать – разбойник.

в Желтой Мунгалии [15]. И реку великую Обь видели, и озеро Большое [16] видели. А хлеб в Мунгальской земле родится всякий, и золото, и самоцветы разные, и меха звериные невиданные. Говорили мне Строгановы-гости, будто выше той земли есть и еще земля, обильная всякой снедью. И царь там басурманский зело алчный и воровской, нападает он на соседнюю вотчину нашу, Великую Пермь, грабит ее, уводит в полон людей христианских. И положили мы войной на того царя идти... Строгановы-гости рать собирают великую из казаков и прочих людей, чтоб потеху над тем воровским царством учинить... Наказываю и тебе идти туда же вкупе с теми вольными людьми. Постоять ты должен за Русь честью... Бог простит в ту пору твои грехи.

Иван Кольцо ответил царю громко и бодро:

– Бью челом тебе, батюшка государь наш Иван Васильевич, послужу мечом и своею казацкою душой. Постою за матушку Русь, как Бог велит. Наскучила мне татьба неуемная. Соберу я своих казаков да вместе со Строгановыми людьми за Каменный Пояс [17] пойду воевать тех басурман окаянных.

Царь велел Ивану Кольцо помыться в бане, да в Чудов монастырь сходить Богу помолиться, да послушать дьяка Щелкалова, что он о тех двух храбрых казаках расскажет – об Иване Петрове и Бурнаше Ялычеве.

---

[15] Черная – западная, Желтая – восточная Монголия.

[16] Байкал.

[17] Уральский хребет.

В точности исполнил наказ государя Иван Кольцо. Сходил в баню. Помолился в Чудове монастыре и к дьяку Щелкалову пришел.

Здесь он услышал чудесную повесть о путешествии двух смельчаков-казаков через Монголию в царство Китайское. Государь, зная красноречие Щелкалова, велел ему как можно ярче описать подвиги казаков и все то, что они там видели.

– Царство там есть, – говорил Щелкалов, закатывая глаза восхищения, – городом Кашгар прозывается. И царь в нем живет Темир-Железный, а от того царства от Железного царя идет в Китайское царство камень алмаз и золото в бочках несть числа... А рубежная стена в Китае кирпичная, а башням и числа нет... Царство то велико и богато. И всюду казаков Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева с товарищами встречали по-царски и провожали по-царски. И попали те казаки в город Большой Китай [18], где сам царь Тайбун живет. Город велик, бел, что снег, на четыре угла, а по углам казаки увидели великие башни, расписанные разными красками, а царские палаты золотом крыты. И вина в городе там целые озера всякого...

Слушая это, Иван Кольцо вздохнул, почесал своей громадной рукой затылок.

Щелкалов, видя, что его рассказ тронул Ивана, сказал с особым ударением:

---

[18] Пекин.

– А та земля, что повыше Китая, много богаче, и государю любо будет, коли вы ее покорите, и вам доходнее, прибыльнее будет, нежели татьбой грешить. Много добычи найдется там.

С добродушной улыбкой слушал рассказы Щелкалова Иван Кольцо и вышел от него взволнованный, веселый – хоть сейчас в поход за Каменный Пояс!

Вернувшись в Сокольничью рощу к своим людям, Иван Кольцо рассказал им о беседе с царем и Щелкаловым. Казаки весело встрепенулись, загорелись желанием идти войною на того басурманского царя. Уж наскучило им бездомное воровское бродяжничество по лесным урочищам, захотелось отвадить алчного басурманского царя от нападений на Русь. Вспыхнула в сердце обида за свою землю.

– Коли так... – сказал, погрозив кулаком на восток, Иван Кольцо, – испечем мы басурману пирог во весь бок. Надаем ему в сусалы да под микитки, как полагается. Так ли я говорю?!

– Так!.. Добро! Истинно! – раздались голоса.

Однако не все ватажники были согласны идти с Иваном Кольцо выполнять приказ царя.

Семен Слепцов, много испытавший всего в бегах, наглядевшийся вдосталь на горе-гореванное мужицкое, ставший главарем беглых холопов и тяглецов, с великой обидой в глазах крикнул в ответ Ивану Кольцо:

– Полно! Не за тем мы шли к тебе, атаман, чтобы царю

угождать, чтоб его прислужниками быть! Имей совесть! Народ гибнет в убогости, томится в дворянской кабале... Коли так, иди себе с Богом, воюй Сибирь, а мы будем воевать себе волю... Небось! Сила наша растет... К нам пристали мужики муромские, да суздальские, да костромские. Не по дороге нам с вами, казаками, не рука нам с вами за Каменный Пояс идти. Что нам в чужих землях, когда в своей правды нет!

– Дело говорит дядя Семен, дело! – со всех сторон послышались голоса ватажников.

Иван Кольцо хмуро оглядел толпу крестьян и потом зычно крикнул, как атаман, не привыкший, чтобы ему противоречили:

– Не слушайте Семена! Коли его послушаете, так из вековой своей убогости и не выйдете! Батюшка государь открывает вам дорогу... Он наградит вас, буде послужите ему честно, и волю вам даст, а коли мятежничать учнете, так и головы потеряете... А там, в тех краях, за Каменным Поясом, и добычу богатую достанете, и золото, и меха драгоценные привезете домой!

Дождавшись, когда Иван Кольцо кончит свою речь, Семен Слепцов вскочил на поваленную сосну, чтоб его было всем видно, и крикнул:

– Не надо нам ни царской милости, ни золота чужого, ни мехов драгоценных! В царские милости мы не верим, знаем мы лютость царя, знаем мы и неправду царя и его вельмож, мы им не верим! У нас своя мысль, своя дорога! За ту мысль

мы и голову сложим, коли то спонадобится, а искать счастья на стороне – Бог спасет! Нам это несподручно. Идите в те края вы без нас, а мы уж будем искать счастье на родной земле!

Опять раздались дружные, одобрительные крики из толпы крестьян.

И пришлось Ивану Кольцо расстаться с ватагою Семена Слепцова, не соблазнив мужиков выгодами царевой службы и обещаниями богатой добычи в диких землях за Каменным Поясом.

С глухим, негодующим ропотом недовольства ушли из казачьего стана толпы беглых крестьян.

II

В Ковельском средневековом замке тоскует исхудавший, мрачный князь Андрей Курбский. Голова его уже совсем поседела. Лицо избороздили морщины. Дрожащей жилистой рукой он пишет письмо в Москву к своим друзьям, которых осталось в живых не больше десятка:

«Объят ныне жалостью я и стесняем отовсюду унынием, ожидая нестерпимые, предреченные беды. И те мысли точат, яко моль, сердце мое. Я обращаюсь в скорбех ко Господу моему со вздыханием тяжким и со слезами, прося помощи и заступления, да отвратит гнев свой!»

Чем старше становится князь, тем сильнее обуревает его

тоска по родине и тем чувствительнее муки непреоборимого раскаянья. Бывает, что самое разногласие с царем вдруг начинает казаться ошибочным, ненужным, мальчишеским... Русь молодая, сильная живет. Русь твердо стоит на своих ногах, и все вражеские нападения на нее разбиваются вдребезги о могучую грудь русских богатырей... Вот и Стефан Баторий! Была надежда на него, что он посрамит Иванову гордыню, но и он принужден мириться с царем Иваном и уйти от границ Московского государства. Захват Москвы остался праздной мечтой.

В последнее время всеми забытый, никем не почитаемый, он, Курбский, принужден уйти как можно дальше от политики и заняться науками, укрыться в древних книгах. Сам не отдавая себе ясного отчета – зачем, – он принялся усердно изучать Цицерона; погрузился в философские труды древних мудрецов, чередуя это с чтением книг Священного писания. Когда все это заполняло досуг, незаметнее протекало время.

Но и тут ему мешали его недруги, а в первую очередь – его прежняя жена, литвинка Марья Юрьевна, с которой он развелся, чтобы жениться вновь на дочери старосты Кременицкого Александре.

Что может сравняться с яростью обманутой и отвергнутой женщины?

Марья Юрьевна пыталась даже отравить князя Андрея, а ее родичи, разъезжая с толпою бесшабашных, вооруженных

молодцов в окрестностях Ковеля, делали засады с намерением убить Курбского. И князь, как затравленный зверь, сидел в своем каменном мешке, боясь показаться на воле, чувствуя себя убогим, беспомощным узником.

Потеряв надежду изловить Курбского, его враги прибегли к новым видам мщенья. Начались тяжбы со стороны родных Марьи Юрьевны, посыпались жалобы королю Стефану. Король всегда старался подчеркнуть свою нелюбовь и недоверие Курбскому. От судебных тяжб ничего хорошего не приходилось ждать.

Поход вместе с польским войском под Псков утомил, разорил и не принес никаких лавров Курбскому, не спас его и от преследования врагов.

Наступили черные дни. Впору было бежать обратно в Москву. Но разве это возможно?! Родина навсегда потеряна!

Глядя в Цицероновы писания, Курбский невольно погрузился в размышления о себе.

Кто-то постучал в дверь. Иван Колымет привел пленного русского, с которым вздумал побеседовать наедине князь Андрей.

– Как звать? – отрывисто спросил Курбский, с усмешливым любопытством, но и со скрытым восхищением рассматривая стройного, красивого русского юношу, стоявшего перед ним.

– Игнатий Хвостов, – сухо ответил пленник.

– Так это на тебя сбегаются любоваться польские панен-

ки? – рассмеялся князь.

Хвостов молчал, бесстрастно слушая слова Курбского.

– Ну, как живется в плену?

– Так же, как и тебе, князь...

– Я – не пленник, я живу на воле.

– Не завидую, князь, я твоей воле. Горькая она.

– Вона ты какой... речистый! – удивленно вздернул бровями Курбский.

Хвостов молча смотрел на князя.

– Скучаешь ли ты о родине?

– Дикий зверь и тот скучает о своей норе, как же русскому человеку не скучать о своей святой земле?! – ответил с волнением в голосе Игнатий.

Немного помолчав, он спросил тяжело вздохнувшего Курбского:

– Неужто, князь, ты не скучаешь о родной стороне?

Курбский нахмурился. Ему показался дерзостью вопрос какого-то злосчастного пленника.

– Я скучаю о своей вотчине, которую воровски похитил у меня лютый царь.

– Нашему батюшке государю служат знатные и малые люди не за страх, а за совесть... У них сильна любовь к родине, она превыше всяких обид.

– Красно говоришь, детина. Трудненько тебе будет в неволе жить. Подумай об этом. Чей ты? Из какого рода?

Хвостов рассказал о себе, что знал, и когда помянул

семью Колычевых, куда его поместили монахи, Курбский вдруг вскочил с места, схватившись рукою за голову.

– Теперь я знаю, кто ты! Ты – сын Никиты Борисовича Колычева! Его убил Васька Грязной по приказанию царя, а твою матушку сослали в монастырь... Игуменьей она близ Устюжны-Железнопольской... Царь покарал твоих родителей, а тебя сделал несчастным... Тот старец, о котором сказывал ты, твой дядя... Степан Колычев – он был на миру. Затем укрылся в монастыре и там вырастил тебя. Несчастный! Ты раболепствуешь перед тираном, губителем твоих родителей!

Игнатий побледнел, слушая слова Курбского. То, что говорил князь, было похоже на правду. Нередко намекали ему, Игнатию, на мать, живущую в монастыре под именем Олимпиады, и на его происхождение из рода Колычевых.

– Так вот, парень... Переходи к нам. Оставайся в Польше, служи королю и мсти тирану московскому за смерть твоего отца и за мать. Иначе тебе плохо будет. С пленными у нас сурово обходятся.

– Много претерпел я и так всего... – тихо ответил Игнатий. – Меня били батогами, пороли, иглами кололи, да не отрекся я от царя, от нашего государя Ивана Васильевича, не изменил я и родине, и не изменю никогда. Басурмане и те стоят на своей клятве, может ли христианин ее нарушить?!

Курбский нахмурился, встал с кресла, повернулся к Хвостову.

– Стало быть, не страшит тебя жизнь на Руси?

– Мне совестно, князь, слушать такие слова от тебя. Ты знаешь, что русскому воину смерть краше всякой измены. Коли смерть эта за родину, что иное может сравняться с таким счастьем?! Мы все брали пример с воеводы Шуйского. Полюбился он нам.

Князь Курбский вспыхнул:

– Сам ли так говоришь иль тебя к тому учили? Не скрывай.

– Дозволь спросить тебя, князь. Правда ли, что и ты ходил войной на Псков? Правда ли, что и ты помогал супостатам бить нас?!

Курбский отвернулся, закричав:

– Колымет! Убери от меня сего смерда! Гони его с нашего двора... Дерзкий пес!

Игнатий усмехнулся.

– Бог судья тебе, князь! Не видать бы мне тебя больше. Великий грех свершил ты! Во Пскове мы проклинали тебя. Ты – изменник. Проливал кровь своих братьев!

Курбский закричал дико, свирепо:

– Бейте его батогами, собаку!

Колымет и другие холопы набросились на Хвостова, схватили его и вытолкали за дверь.

Александра, сидя рядом с царем Иваном Васильевичем, тихо и просто говорила:

– Ты – государь... Ты все можешь... Тебе завидуют малые

люди. Верни меня к моим родителям, к моему ребенку.

Царь молчал.

Выждав, она сказала:

– Хорошо быть царем!

Иван Васильевич рассмеялся, ласково погладил ее по голове своей большой, широкой ладонью.

– Глупая ты! Дите. Послушай же, что я тебе расскажу.

– Сказывай, государь, ты много знаешь, любо слушать тебя.

– Однажды апостол Петр позавидовал Спасителю: «Как хорошо быть Богом! Хоть бы на полдня мне сделаться богом. Потом я опять готов стать Петром». Бог засмеялся: «Ладно, пусть будет по твоему желанию: будь Богом до вечера!» Шли они полем. Навстречу им баба гнала гусей. Она вдруг оставила их и пошла назад в деревню. Петр спросил ее: «Как? Ты хочешь оставить их одних?» Она ответила: «Не могу я их стеречь сегодня. У нас в деревне храмовый праздник». – «Но кто же должен сторожить твоих гусей?» Баба ответила: «Господь Бог их охранит сегодня». Тогда Бог толкнул Петра: «Слышал, что она сказала? Так вот, оставайся и стереги тут гусей ее до вечера. А я пойду пировать на празднике в деревне!» Досадно было Петру, не хотелось сидеть в поле и сторожить гусей. Наутро он дал слово, что-де никогда более не пожелает быть Богом.

Царь замолчал, тяжело вздохнул:

– Вот так же стало бы и с теми, кто завидует царям... Вто-

рой раз уже не захотели бы они быть царями, ибо и к большому и к малому делу должен быть пристрастен царь. Везде должен быть его глаз.

Александра задумалась. Он вдруг рассмеялся, обнял ее, поцеловал и нараспев произнес:

– «Положи меня, как печать, на сердце твое, – писал царь Соломон, – как перстие на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она – пламень, и зело сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением».

Слова царя текли тихо, ласково. Она слушала их, затаив дыхание, смиренно опустив веки. Ресницы ее вздрагивали. На щеках зарделся румянец. Грозный царь, хладнокровно казнивший великое множество людей, теперь боялся причинить малейшую боль или неудобство сидевшей около него Александре. Он чувствовал, ощущал всем телом, что в этот час он молодеет, как будто бы начинает снова жить. Да! Он должен вечно жить, вечно быть юным; вообще смешно и не нужно думать о том, *что* и *кто* он есть... он – отрок, не испытавший греха, но смутно предвкушающий его сладость.

– Горлица... маленькая... моя... – шепчет он, все крепче и ближе притягивая ее к себе. – Ты мне дала радость, я берегу тебя, я не хочу порочить тебя... Будь солнцем, меня согревающим! Будешь моей весной...

Царь Иван порывисто схватил со стола Библию, поднялся во весь рост, заговорил дрожащим от волнения голосом:

– Слушай, что сказано в «Песне Песней»:

О, ты прекрасная, возлюбленная моя!
Ты прекрасна! Глаза твои голубые
под кудрями твоими... Волоса твои,
как стадо коз, сходящих с горы Галаадской.

Зубы твои – стадо выстриженных овец,
выходящих из купальни, у которых
у каждой пара ягнят, и бесплодной
нет между ними...

Как лента, алые губы твои,
и уста твои любезны; как половинки
гранатового яблока – ланиты твои,
под кудрями твоими.

Шея твоя, как столп Давидов,
сооруженный для оружий, тысяча щитов
висит на нем. Все щиты сильных.

Два сосца твои, как двойни молодой
серны, пасущиеся между лилиями.
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя,
и пятна нет на тебе...

На лбу царя выступил пот, лицо раскраснелось, голос от

прерывистого дыхания стал неровным и оборвался. Царь грузно опустился на софу, где в серебристой шелковой ферязи сидела Александра.

– Слышала? – шепотом спросил он ее.

– Да, государь мой...

И она с наивной нежностью крепко обвила своею рукою его шею.

– Хороший ты, – прошептала она.

Со счастливой улыбкой принял он от нее этот по-детски смелый знак взаимности. Иное чувство испытывал он теперь, чем то бывало, когда его ласкала которая-либо из его жен...

Стало смеркаться. В вечернем красноватом полумраке ожили на шее Александры драгоценные камни ожерелья, надетого на нее самим царем; переливались многоцветным сиянием жемчуга. В окно веяло теплым, майским, пахнущим цветами воздухом. Всюду на окнах, на столиках, казалось, еще пышнее распустились красные, белые, лиловые цветы; царь любил их, выписывал из-за моря лучших садовников, чтобы окружать свои дворцы пышными садами. И теперь ему казалось, что их мало, что надо еще больше цветов.

– Нет... Ты не черничка... Для монастыря найдутся иные... Ты будешь... будешь... будешь больше, чем царица... Ты будешь... – шепчет Иван Васильевич, отдаваясь всеми помыслами, всеми своими чувствами радости сближения с красавицей Александрой.

– Мне страшно! – вдруг откачнувшись от царя, сказала она. – Не говори так!

Иван Васильевич, тяжело дыша, потянулся к ней, крепко сжал ее своими руками за плечи.

– Ты дрожишь?! Ты не должна ничего бояться. Царь с тобою, царь за тебя! Александра! Ты больше царицы... Ты – красота, ты – видение... Сам Бог сжалился надо мною... С тобой я забываю горе...

Он прильнул горячими губами к ее шее.

– А царица Мария? – прошептала в испуге Александра.

Царь выпустил ее из своих рук.

– Что мне до нее?! Она – царица, а ты моя... моя... либо ничья! Слышишь?! Ты заворожила меня, я лобзаю твои руки, ноги... Царица за счастье почитает, коли я даю ей целовать свою руку. Слышишь?

– Слышу, государь... – робко произнесла она, прикасаясь своей щекой к его щеке.

– Люби меня... я не страшный... болтают обо мне лихие люди... Не верь им! Страшен царь, но не я... С тобою я – не царь. Ты открываешь мне глаза на жизнь! Даешь мне силу.

– Лихие люди говорили мне, будто бы загубил моего мужа... – прошептала она.

– Не верь! Не верь! Врут! Бояре... холопы мои... Молчи, не говори об этом... Я не царь тебе... Забудь о том... Губил царь, а не я!.. Ну, ну, ласкай меня!

Александра крепко обвила своею рукою его шею.

– Прости меня... – тихо сказала она ему на ухо. – Не серчай!..

Совсем потускнело за окном: в темной синеве проступали звезды, казалось, изумленно глядевшие на него, царя. Александра и в самом деле забыла, что в ее объятиях царь, она не хотела и думать об этом.

– Как ленты, алые губы твои... – в страстном порыве шепчет Иван Васильевич. – Дева, ты прекрасна!.. Спасибо тебе! Ты даешь силу, веру мне... исцеляешь меня от кручины, от старости. Я хочу жить!.. Могу жить!.. Хочу царствовать!.. Я вижу вечное, неумирающее сквозь твои глаза... Я надел на тебя ожерелье... царицы Анастасии... в нем моя юность! Моя! Моя сила! Мне с тобой смешна смерть. Нет ее!

Царь был весел на следующее утро, как давно того не бывало.

Из Швеции прибыл находившийся на тайной службе у царя Ивана человек по имени Софрон и сообщил царю, что отданные царем Польше Нарва и другие ливонские города явились яблоком раздора между королем Стефаном и Иоанном шведским.

Король Иоанн написал Баторию письмо, а в том письме сказано, что он, король Иоанн, не желает вести никаких разговоров с польским королем о Ливонии. То, что Делагарди взял у русских, отныне неприкосновенное добро короля Швеции.

Король Иоанн писал: «Пора польскому королю образумиться и не предъявлять Швеции нелепых требований на земли, завоеванные у русских шведским оружием, шведскою кровью».

Слушая речи своего тайного слуги, царь Иван, потирая руки, от души расхохотался:

– Подерутся они? Как ты думаешь? – спросил он.

– Накануне того, государь. Шведские власти в великой злобе на короля Стефана.

– А что они говорят обо мне? Не лукавь, отвечай прямо.

Софрону царь показался в эту минуту помолодевшим, бодрым, оживленным и очень простым.

– Они диву даются, как ты мог, великий государь, вписать в договор отторгнутые у Москвы ливонские города. И как тому не воспротивился польский король Стефан?

Царь опять весело рассмеялся.

– Король Иоанн женат на сестре Сигизмунда, на польке, на Ягеллонке... Что же она не порадеет полякам? – спросил он.

– Королева Екатерина пробовала вмешаться, да король ее не послушал... Баторий писал ей против занятия Нарвы и других городов Ливонии... Просил ее добиться уступки Нарвы, но король не захотел того. Королева Екатерина больна... ей трудно с ним спорить.

– Каков сам король? Сказывай, видел ли ты его?

– Видел, государь. Тучный он, толстый, малого росту...

Борода длиннущая у него... Волосы темно-рыжие... Он называет себя королем всех королей... Горд, самолюбив и начитан. Так и величает себя «королем королей»!

– Да не царей!.. – с усмешкой перебил рассказчика Иван Васильевич. – Среди королей пускай будет наивысшим. Бог с ним! Нетрудно там добиться первенства.

– Иноземцев король не любит... А его ненавидят иноземцы за дурное обращение с ними. Из королей Иоанн боится больше всего датского Фредерика.

– А к Польше как?

– Поляков шведский король ненавидит. Он сказал однажды, что, коли бы не королева, он бы «всех находящихся в Швеции поляков повесил».

Иван Васильевич с удивлением пожал плечами:

– Глупец король, коли говорит такие речи, да и притом же при жене-польке. Однако пускай бушует. То нам на пользу. А что болтают там о немецком императоре? – спросил царь Иван, насторожившись.

– Императору Рудольфу, как говорят там, не по душе, что Польша и Швеция хозяйничают в Ливонии. Шведский король боится союза твоего, великий государь, с императором. Будто отписал он Рудольфу, что-де не может ничего быть путного от сего союза. Где уж бороться Москве с Турцией, коли она не может справиться с крымскими татарами?

Слова эти заставили задуматься царя Ивана.

Он молчал, обдумывая что-то. В другое время он разра-

зился бы гневным криком, а в этот день он поразил Софрона своею сдержанностью.

– Будем молчать. Обождем, – тихо промолвил царь, отпустив тут же Софрона, которому дал приказ, чтобы тот шел к Щелкалову и там все, что знает, изложил письменно.

Вызвал затем к себе в рабочую палату Бориса Годунова.

– Так тому надобно было и случиться, – хлопнув самодовольно себя ладонями по коленям, сказал царь. – Из-за Нарвы и других ливонских городов, что уступили мы Стефану, грызня началась... Дай Бог! На стену лезет польский владыка, чтоб угодить панам, чтоб не согнали его с престола. Требует у свейского Иоганна Нарвы! А тот упрямится, дерзит Стефану. Потеха!

Борис Годунов перекрестился, обратившись к иконам.

– Благодарение Господу, началось!

– То мне и надобно, – усмехнулся царь. – Будем терпеливы. Балтийское море с надеждою смотрит на нас. Коли оружие наше притупилось о камни, так будем хитростью действовать, покудова не отточим снова оружия своего.

– Подлинно, государь. Мудрость твоя сильнее всякого оружия, – проговорил Годунов.

Царь огляделся по сторонам, как будто опасаясь, не подслушал бы его кто. Затем произнес:

– Задумал я одно дело. Покуда никому не скажу о том, и тебе тоже, но скоро узнаете... Оно способствовать будет одолению врагов, отодвинувших нас от того моря. Многие

удивятся и осудят меня, многие возмутятся и назовут меня еретиком, беззаконником. Пускай! Вон в Ермании листки уже печатают и пишут в них выдумки о московском тиране... Польский король будто деньги на то дал немцам. Какой-то книжник Хитрей написал книгу обо мне, то ж – и итальянец Нобиле... Сказки там разные обо мне... Тиран я у них. Стефан Баторий писак оных любит, везде с собой их возит... Его ближний дьяк, Тидеман Гизе в угоду своему господину сатаной меня называет... Пускай! Я одному Господу Богу отвечаю за свои деяния. Но разве не Господь Бог завещал мне возвеличить державу мою?! И я должен то сделать.

. . . . . .

. . . . . .

– Не по душе мне, однако, гордыня расплодившихся торгашей. Боюсь, что милости наши избалуют их. Настала пора купецкой воле предел положить. Не присвоили бы они себе честь похода наших казаков за Каменный Пояс?

Иван Васильевич говорил это, стоя спиной к Борису Годунову и Андрею Щелкалову и глядя в окно на Ивановскую площадь, где происходил многолюдный праздничный торг.

До этого Борис Годунов докладывал царю о полученном им известии, что купцы Строгановы приняли к себе на службу Ивана Кольцо, где его ватага соединилась с воинскими людьми, находящимися на службе Строганова. И что во главе всего этого войска поставлен Строгановыми известный государю по ливонскому походу Ермак, казачий атаман.

– Пиши Строгановым, – обернувшись к Щелкалову, произнес царь.

Дьяк, по обычаю державший в левой руке чернильницу с пером, а в правой бумагу, с позволения государя сел на скамью и, положив бумагу на колени, приготовился писать.

– Пиши, – строго сказал царь. – «Ты богат ныне народом, пищалью и зельем, а посему селитру варить бы тебе в Вычегодском посаде и в Усольском уезде не более тридцати пудов...»

Царь задумался.

– Пиши другое... Теперь – излюбленным старостам: «Берегите накрепко, чтоб при селитренной варке от Строгановых крестьянам обид не было ни под каким видом, чтобы на дворах из-под изб и хором они у вас сору и земли не копали и хором не портили. Да берегите накрепко, чтобы селитры они никому не продавали. Следите за тем накрепко!»

Лицо царя Ивана стало хмурым, сердитым.

– Самим нам селитра понадобится. Война будет у меня большая. Что вы смотрите на меня? Не верите?!

Борис Годунов и Щелкалов низко поклонились царю.

– Воля твоя, батюшка государь, как ты прикажешь, так и будет.

– Не может помириться ваш царь с потерей Нарвы! – тяжело вздохнув, произнес он. – Да и туда, за Югорский камень, придется государю войско послать. Сколь ни храбры казаки, но тех мест им не удержать... Нужна большая военная сила.

Слыхали, поди, Кучумов племяша, Маметкул опять разбойным обычаем напал на моих остяков, что живут по Чусовой реке. Строгановым дозволил я крепости строить по Тоболу, Иртышу и Оби. Разрешу им ныне и руду там копать. Борис, о чем их челобитье?

Борис Годунов ответил:

– О руде железной, медной, оловянной, свинцовой и серной, великий государь.

– Добро, вели копать. А ты пиши дальше, – сказал царь, кивнув Щелкалову. – «На сибирского салтана Строгановым можно собирать охочих людей, остяков, вогуличей... югричей... самоедов и посылать их вместе с наемными казаками и с нарядом, брать сибирцев в плен и в дань за нас приводить...» Пора и впрямь казакам, что на татьбу тароваты, послужить государю да родной земле, но и нам надо позаботиться о том, чтоб войско туда же послать. Дело это большое. Государева нога должна крепко стать в тех местах.

Борис Годунов, выслушав царя, улыбнулся:

– То-то зашумят короли заморские и все недруги наши, когда услышат о твоих, государь, новых победах, о приумножении земель в твоем царстве с востока!

– Задумал я отдохнуть от королей. Дело найдется и без них. В ту мугаметанскую Сибирь и без Строгановых издавна смотрит наш народ. Мой дед, Иван Васильевич, дважды посылал на Обь свои войска. Да и царство Сибирское стало данником нашим. Тысячу соболей обязались сибирцы пла-

тить нам каждый год. Но забыли это. Надобно им напомнить. Добивался моря я на западе, а к востоку стоял спиною. Пришел час оглянуться и на восток. Вот то, о чем я, Борис, тебе вчера намекнул.

Отпустив Бориса Годунова и Щелкалова, царь Иван стал на колени и помолился о благополучном походе его людей в Сибирь.

Когда поднялся, в голову ударила мысль: «Вот бы теперь царевича Ивана на то дело послать!»

Закрыв лицо руками, опустился в кресло. Сегодня ночью опять *он* приходил к его ложу, опять смотрел на него своими молящими, страдальческими глазами. Бледность покрыла лицо Ивана Васильевича, губы его задрожали. Тяжело опустив голову на грудь, он прошептал: «Уйди, не мучай!»

За окном раздались медленные, унылые удары церковных колоколов.

По щекам царя Ивана поползли слезы, но он вдруг вскочил, смахнул их.

– Александра! – тихо прошептал он. – Александра!

На лице его заиграла улыбка.

Осторожно, на носках он стал прокрадываться в ту комнату, где забывались им все печали, все заботы, где забывался им и его царский сан.

III

Царь Иван Васильевич с нетерпением ждал вызванных им брата царицы Афанасия Нагого и Богдана Бельского. По-праздничному нарядно одетый, гладко расчесанный на прямой пробор, с подстриженной слегка бородой, он долго любовался на себя в зеркало. Подумал: «Бояре говорят – помолодел. О Александра! Весна моего сердца!»

Обернулся к иконам, помолился. Расправил мускулы, потянулся, посмотрел на себя в зеркало.

«Нет! Я не стар. Теперь я вижу, что силен я, что могу быть возлюбленным юницы... Теперь я отпущу Александру. Пускай вернется в свой дом. Мало пользы от Суламифи игуменье Вознесенского монастыря. Схима не для нее. Не место розе в ледяном погребе».

На лице Ивана Васильевича появилась добродушная улыбка.

«Она заслужила себе свободу». Ему ли, царю, об этом не знать. Она победила мнимую его старость, она зажгла в нем, царе, пламень утех былой молодости. Любя жизнь, она не знает греха; в своей кротости она смелая, – трудно предугадать ее порывистые ласки. Они неожиданны и дерзки. После них – она не *она*. Как будто с ней ничего не случилось, и с ним тоже. Не Суламифь, а богомольная черничка либо невинная боярышня из строгого отцовского терема. Тогда с

нее можно рисовать святую деву.

«Такою же была Анастасия, – думает царь. – Все думали, что она – смиренная овечка. Как они ошибались!»

Ни с кем так счастлив в любовных утехах не был он, царь, как с Анастасией. Никто не мог так забывать о его царском величии и владычествовать над ним, как Анастасия. Ни перед кем он не чувствовал себя таким маленьким, обыкновенным, как перед покойной ангельски невинной царицей Анастасией. В своей хрупкости, кажущейся бестелесности никто не обладал такою земною властью над ним, царем, как она, Анастасия, и никто так хорошо не распознавал ближних к царю людей, как она. Первая она заподозрила в двуличии Курбского. Не она ли предупреждала его, царя, в ненадежности службы Курбского?!

«Надобно скорее отпустить Александру, довольно греха! – сокрушенно вздохнув, думает царь. – Не подослал ли ее мне, царю, сатана, демон? Она опасна в своей красоте, в греховной сладости. Завтра же отошлю ее в родительскую вотчину».

Вспомнил время, проведенное с ней, и сердце сжалось от тоски при мысли о разлуке. Опять помолился на иконы: «Прости меня, грешного!»

Постучали в дверь.

Афанасий Нагой и Богдан Бельский. Оба низко поклонились царю.

– Ты нас звал, государь?!

– Жалуйте! Садитесь.

Размашистой, бодрой походкой стал он ходить из угла в угол по горнице.

– О чем поведу беседу с вами – держите в тайне.

Иван Васильевич хитро подмигнул подобострастно глядевшим на него вельможам.

– Клянемся, батюшка государь!

– Слушайте. Не могу помириться я с утратою Нарвы да Иван-города. Море Западное, Балтийское, нам нужно вернуть. Без него царству Русскому тягота великая. Поведал мне заморский врач Роман Елизарьев [19], будто в Лондоне, в королевиной семье, невеста мне есть... Хочу породниться с английской королевой...

Афанасий Нагой и Богдан Бельский в страхе вытянулись на месте, подумав: «Не помутился ли разум у батюшки Ивана Васильевича?»

– Что вы на то мне скажете? – сощурив глаза, спросил царь. – Ну!

Стал говорить Бельский; от страха у него зуб на зуб не попадал; заикаясь и задыхаясь, он пробормотал:

– Доброе дело... го... су... дарь...

– Ну, а ты что же, Афанасий, молчишь? – строго спросил царь.

Нагой, набравшись духа, прошептал:

– По... мо.. ги... тебе Го-о-спо-одь...

---

[19] Доктор Роберт Якоби.

– Дурак! – громко рассмеялся царь. – А как же твоя сестра, матушка царица Мария? Отвечай. Брат ты ей или нет?!

– Бог спа... сет... – совсем растерявшись, пробормотал Афанасий.

– Кого Бог спасет? – широко раскрыв глаза, смотрел на Афанасия Нагого царь.

– Не ведаю, государь... – со слезами на глазах простонал Нагой.

– А я знаю! Спасет Бог – Нарву, Западное море!.. Глупец! – вскрикнул царь, застучав посохом об пол. – Пора бы тебе, Афонька, разума набраться. А позвал я вас не попусту. Пойдите-ка к тому дохтуру Роману Елизарьеву и выспросите у него с умом, по порядку все надлежащее о той девке, королевиной племяннице, о которой он мне сказывал. А после того доложите об его ответах мне. Да смотрите, не пророните ни слова о том, что вы посланы к нему мною. Бражничайте с ним и беседуйте, выпытывайте. А ко мне пришлите дьяка Писемского Федора. Жду его. Дело есть.

Бельский и Нагой ушли.

Оставшись один, царь рассмеялся, вспомнив, в какое недоумение привел он Нагого. Снял со стены гусли и стал на них играть заунывную духовную песнь.

Мысли опять об Александре. Она очень любит, когда царь играет на гуслях. Слушает со слезами восторга и тихо подпевает звону гусельных струн.

Пришел дьяк Посольского приказа Федор Андреевич Пи-

семский, седобородый, полный, степенный человек. Отвесив царю земной поклон, Писемский стал ждать, что скажет ему царь, продолжавший играть на гуслях, как будто не замечая его, Писемского.

Сильный удар пальцами по струнам – и царь Иван Васильевич стал во весь рост.

– Гляди на меня, Федор, – могу ли аз быть женихом? – спросил он. – Огляди меня со всех сторон. Не помолодел ли я в последние недели?

Писемский, почтительно склонив голову, тихо ответил:

– Государю все дозволено, коли то на пользу царству. Не токмо я, а и все слуги при твоем дворе видят, что молодеешь ты в последнее время и милостивее ты стал к нам, малым сим! Господь молодит тебя на счастье Руси.

Много видел всякого рода причуд и шуток со стороны Ивана Васильевича за свою долгую службу старый дьяк и теперь принял слова царя за шутку.

– Коли правду говоришь, – продолжал Иван Васильевич, – готовься плыть за море к моей возлюбленной сестре, королеве Елизавете. Бывалый, острый ты дьяк и в странствованиях посольских умудрен. Хитер стал. Дам тебе я грамоту, а в ней будет сказано, что-де посылаю я к тебе, к сестре своей, посла, дворянина и наместника шацкого – Федора Андреевича Писемского. А в придачу себе возьми ты подьячего Епифана Неудачу Васильева сына Ховралева, способного к ихнему языку. Не так давно узнал я его, но вижу, смышле-

ный он, толковый.

– Слушаю, государь. Когда прикажешь отъезжать? – поклонившись царю в пояс, спросил Писемский.

– Когда укажу тебе. Скоро. А начнешь переговоры ты с королевой о союзе воинском вашего государя с королевой аглицкой против короля Стефана, чтоб помогла она своей воинской силой нам пробиться вновь к морю на западе. И оттого торговля станет у нас с аглицкими торговыми мужиками вельми богатая, изобильная. Понял ли? Внуши королеве, что Англии от того великая польза станет.

– Понял, батюшка государь Иван Васильевич, понял, – снова с поклоном ответил Писемский. – Дело ясное. Дело Божие.

– Торговлишкой заморские купчишки зело любят позабавиться. Прилипчивы, жадны, ловки. Раззадорить их постарайся обещаньями, чтоб кровь в них заиграла и нутро их купецкое о барышах затосковало и чтоб они того ради королевне своей челобитье крепкое учинили.

– Точно, государь, жадны они и завистливы. Грех один!

– Коли так, не будь и ты вороною, Федор Андреевич. А после того – речь твоя пойдет о моей женитьбе. Хочу породниться я с великою аглицкой королевой, хочу помощь от нее получить против врагов. Ливонию вернуть надобно. Горе злосчастное рушилось на меня – нет нам теперь исхода к морю на запад. Да и на севере дацкие и свейские разбойники стали нападать на торговые караваны. Не сочти сие желание

мое блажью или дуростью. Царь знает, что делает. Сватовство проведи там совестливо, с усердием. Головою будешь отвечать!

– Истинно, великий государь. Добиваться того моря – святое дело. Сам Господь надоумил тебя, батюшка Иван Васильевич, о том море заботу иметь, – сказал Писемский.

– Федор, не умаляй и северных наших вод... Там, чую, впереди великий будет торг... – пытливо глядя на Писемского, произнес царь.

Писемский, хорошо зная, о чем больше всего страдает Иван Васильевич, принялся расхваливать плавание по Ледовому океану и Студеному морю, говоря, что сила России от утраты Балтики не уменьшится.

Царь Иван слушал с видимым удовольствием похвальные слова Писемского о северном плавании.

– Сам ли ты думаешь так, Федор Андреевич? Но было бы лучше и прибыльнее иметь и то и другое море. Не так ли? – улыбнулся царь.

– Истинно, государь!.. Моря народу на пользу, а царю во славу.

– И царю на пользу. Славы мне мало, – с недовольным видом покачал головою Иван Васильевич, а потом улыбнулся.

Улыбнулся и Писемский, ободренный хорошим настроением царя.

– Пришли-ка сюда Андрея Щелкалова. А сам иди. Да не болтай. Держи при себе. Испытать задумал я дружбу коро-

левы.

Писемский поклонился и вышел.

Царь сел за стол, оперся головою на руки. Задумался. Датский король Фредерик, видя неудачи его, царя, в войне с Польшей, перекинулся на сторону шведов, нарушил заключенное им с Москвою мирное условие – не нападать на Русь. Теперь и Студеное море может стать недоступным для торговых судов, и Холмогоры зачахнут. А этого усиленно добиваются зарубежные враги Москвы.

Пришел дьяк Щелкалов. Царь приказал ему немедленно, завтра же, отослать гонца в Датское государство с укоризненной грамотою королю Фредерику. Несмотря на перемирие и на уступку острова Эзеля, после падения Нарвы датский король изменил свое доброе отношение к Московскому государству. Король помогал шведским войскам да и сам нападал на русские земли. Царских послов принимает не с подобающей честью. Задерживает и облагает несоразмерно пошлиной суда, идущие через Зунд. Многие иноземные торговые суда, идущие к Холмогорам и Коле, захватываются разбойным обычаем. Датские власти предъявляют свои права на Печенгский монастырь, тогда как обитель сия стоит в Печенге более семи-десяти лет.

Царь Иван вскочил с кресла, испугав Щелкалова, и стал громко, почти выкрикивая слова, диктовать:

– «А за свейские многие грубости послали мы к Колывани и к тем городкам, которые за свейским королем, рать свою,

чтоб наказать беззаконие злобных воров!» Пиши! Пускай не думают, что ослабли мы, да и бороться с неправдою устали.

Афанасий Нагой, сняв шапку, растрепанный, хмельной, со слипшимися на потном лбу волосами, не вошел, а влетел в покой митрополита Дионисия.

– Спасите, батюшка! Погибаем! – упал он к ногам мирно совершавшего трапезу старца, испугав его до крайности. Митрополит с удивлением откинулся на спинку кресла. – Государь наш, батюшка Иван Васильевич, – закричал Афанасий, – опять жениться задумал!

Нагой начал перечислять всех жен царя по порядку: помянул царицу Анастасию, затем Марию Черкешенку, Анну Колтовскую, Марфу Собакину, царских наложниц: княжну Анну Васильчикову и Василису Мелентьеву, и вдруг неистово завопил:

– Марию Федоровну Нагую!.. Машу!.. Сестру мою в обман ввел! Покарай его Господь!

Митрополит замахал руками на гостя:

– Что ты! Уходи! Уходи! Не болтай попусту. Не приходи ко мне во хмелю. Отрезвись!

Нагой упорствовал.

– Неладное творится с государем, Господь с ним! Сказывал мне постельничий: аглицкий человек, лекарь, принес в государеву палату кости человеческие и череп – мертвая голова, а государь те кости осматривал и слушал речи нечести-

вого... даже перстами касался тех костей. Слыхал я от одного дьяка, батюшка митрополит, будто государь и подземную нору роет до самого окияна-моря, – прошептал Нагой. – Хочет на остров Буян уплыть...

– Зачем же так? – спросил митрополит улыбнувшись.

– В Аглицкой стране тот остров. Государствие хочет царь покинуть.

– Грех тебе такой поклеп на государя возводить. И не к лицу тебе, родичу государыни.

– Мария Федоровна, супруга государева, обманута! Грешит государь с черничкой тайно... Похотливую девку при себе держит. На свою половину ввел... Хоронит ее тайно, никому ее не кажет...

– Иди проспись, Афанасий, – указав на дверь, строго сказал митрополит.

– Сатана, батюшка, сильнее царей... Научи же нас, Нагих, как нам быть? Родичи мы государя... А коли он женится на иноземке при живой жене, что тогда делать нам?! Казнит он нас всех, ее в монастырь заточит, а у нее скоро дите народится. Да и тебе, отче, без Нагих худо будет.

Митрополит сердито крикнул на Афанасия:

– Уходи, ради Бога! Нечего мне тебе советовать, да и не к лицу мне с тобою о государевых делах судить... Погрязли вы, Нагие, в суете мирской. Тщеславны вы. Господь с вами, с Нагими!.. И другим своим родичам закажи, чтоб не ходили ко мне.

Нагой озадаченно почесал затылок.

– Батюшка, чтой-то с тобой!

Митрополит поднялся с кресла и стал спиною к Нагому.

– Уходи, говорю... Проспись! Не хочу я знаться с тобой! Не терплю себялюбцев.

Нагой помялся-помялся на месте, а потом сказал:

– Благослови меня на дорогу, владыка...

Митрополит громко проговорил:

– Иди, протрезвись. Государь знает, что делает.

Обиженный, раздосадованный Афанасий вышел из митрополичьих покоев. Во дворе на него набросились зубастые псы. Еле отбился от них.

Пробираясь потемневшими улицами по Кремлю, Нагой с ужасом подумал: «Началось!»

Польские власти, узнав, что пленный Игнатий Хвостов был при царском посольстве к папе, отдали его в холопы владелице замка «Стара Весь» красавице вдове Софии Каменской, не обменяв его на своих пленных.

Когда его впервые привели к ней, она только что вернулась с охоты на оленей. Окруженная псарями и ловчими, она сидела верхом на стройном, сверкавшем белизною коне. Ее красивые черные глаза остановились на пленнике с веселым любопытством.

– Какой красавец! – сказала она по-польски окружавшим ее панам, не подозревая, что пленник понимает ее.

– Из него выйдет прекрасный дровосек, – насмешливо произнес сидевший на коне поодаль от нее нарядно одетый пожилой пан.

На Игнатии был изодранный в боях кафтан; сапоги стоптанные, ветхие. На голове ничего не было. Пышные, вьющиеся белокурые волосы его красиво обрамляли лоб. Игнатий держался с достоинством, слушая произносимые по его адресу слова.

– Накормите его, дайте ему вина, сведите в баню, да чтобы он одежду сменил... У пани Каменской не должно быть слуг в лохмотьях. Это не к лицу владелице древнего замка...

Сказала это и исчезла вместе с провожатыми своими в глубине парка.

Слуги повели Хвостова в людские избы. Нашелся один парень, говоривший хорошо по-русски, некогда жил он в Москве, служил у князя Мстиславского, а потом бежал к себе на родину. Звали его Лукаш.

– Хорошая у тебя хозяйка! Добрая. Веселая. В замке то и дело устраивает она богатые пиры. А если бы ты попал к соседу нашему, хорунжему Бенедикту Манюшевичу, то едва ли прожил бы до будущего лета на белом свете. Жестокий он, бессердечный. Выжимает из пленных все соки.

Хвостов сказал смиренно:

– Рад служить честно пани Каменской. Бог, я вижу, сжалился надо мною.

Лукашу понравился кроткий, спокойный ответ Хвостова.

Он по-дружески стал за ним ухаживать. Накормил его, дал ему вина, свел в баню, а затем облек его в новый кафтан, шаровары и сапоги, приговаривая:

– Есть и московиты – добрые люди, не злодеи.

С этого дня Игнатий стал усердно выполнять все работы, которые ему поручали: колол дрова, возил воду, плотничал. Его усердие снискало ему общее благоволение со стороны десятников.

Во время отдыха гулял в окрестностях замка, стоявшего на высоком холме.

Вокруг замка было разбросано несколько деревень. Иные ютились на холмах, иные по сторонам дороги. Часто деревушки утопали среди зелени лип, тополей, верб. Хаты отделялись одна от другой высокими плетнями. Издали деревни имели вид зеленых рощ, над которыми возвышались колокольни костелов, светлые стены усадеб, сверкавшие на солнце своею белизной.

Игнатий с большим любопытством присматривался к местности. Он останавливался перед «Божьей мукой» [20] при въезде в деревню. Вспоминал Москву, окружающие ее селенья, часовенки с древними иконами.

Иногда он спускался по склонам холмов, покрытых халупами, к речке. Подолгу глядел в прозрачную воду, омывавшую многоцветные камешки, следил за игрой серебристой плотвы, а сам уносился мыслями к дому Никиты Годунова,

[20] Распятие.

вспоминал Анну, и делалось ему так тяжело на душе, так грустно. «Неужели никогда не увидимся?»

Но не выходило из головы у него и то, о чем ему сказал князь Курбский. Неужели в самом деле это правда? Неужели его мать жива? Крепко засели у него в памяти слова «монастырь близ Устюжны-Железнопольской».

Он видел, как женщины собирались у деревянного сруба колодца с «журавлем», как доставали они воду из колодца, наполняли бадьи и, весело перекликаясь, расходились по домам. Иногда они останавливались и с любопытством следили за ним, русским пленником. «О чем так крепко задумывается красавец?» Они подсылали своих детей с лепешкой или хлебом к нему, в их глазах светилось сострадание.

Игнатий благодарил их кивком головы. Они отвечали ему тем же.

В разбросанных вокруг замка рощах по ночам раздавались неумолкаемые трели соловьев. Невольные слезы выступали на глазах Игнатия, когда он прислушивался к их пенью.

Опять – Анна! Опять душа тянется к ней, такой далекой и такой близкой.

С соловьиным пеньем соперничает однообразное стрекотанье коростеля и хриплый крик бекаса, напоминая подмосковные деревенские теплые летние вечера.

«Как мог Курбский сменять родину на чужую землю?» – невольно возникает этот вопрос в голове Игнатия.

Однажды, когда Игнатий работал на водяной мельнице, у

подножия холма, на котором стоял замок, к нему приблизилась на коне сама пани Каменская.

Он почтительно поклонился ей. Она приветливо кивнула ему в ответ.

Она была одна. Обратившись к мельнику, спросила – не знает ли он человека в окрестности, который мог бы позолотить ее отцовский ларец.

Мельник ответил, что он не знает такого человека.

Тогда Игнатий сказал, что ему знакомо это ремесло: его научили монахи в монастыре, где он некоторое время жил.

– Так ты понимаешь наш язык? – с удивлением спросила она.

– Немного, – покраснев, как девица, ответил Игнатий.

– Если ты способен к тому ремеслу, то должен позолотить мне отцовский ларец, – сказала она, слегка склонившись с коня в его сторону.

– Как прикажете, панна, так и будет, – кротко ответил он.

– Вечером ты придешь ко мне... – сказала она и помчалась на коне по дороге к замку.

Мельник, узнав теперь, что работавший на мельнице плотник знает его, польский, язык, тоже завел беседу с Игнатием.

– И чего ради Стефан король затеял войну с русскими? Не по душе мне была та война. Да и другим холопам в Польше и Литве не хотелось воевать с русскими. Одна кровь у нас с вами. Жаль мне тебя! Король воюет, а у нас чубы летят.

Немного помолчав, он продолжал:

– Я – литвин. Народ наш хотел еще до короля Стефана, чтобы ваш царь сидел у нас королем. Не знаю – почему того не случилось. Иль потому, что вера разная? Но ведь тяжко и нам самим под Люблинской унией. Литовские паны пострадали от унии... Они и ныне не отстают от мысли, чтоб отложиться от Польши.

Игнатий сказал в ответ:

– На Руси много разных вер, есть даже язычники и магометане, а защищать ее идут все вместе, заодно... Ваш народ – христиане... Не могло то послужить помехой. Не верю тому я. Из-за Ливонской земли то несогласие.

– Вот и наша хозяйка, пани София, не одобряла войны. Отец ее был литвин. Не хотела она давать и людей на войну, да пригрозили ей. Польский начальник Замойский не ладил всю войну с литовским начальником Радзивиллом... Это все знают, загордились паны – глядеть тошно! Под Великими Луками Замойский едва не подрался с Радзивиллом...

Солнце играло с потоками бурлящей воды у колес мельницы. Синие стрекозы кружились над водяною пылью омута. Стрекотали кузнечики. Небо синее, ни одного облачка. Над ближней рощей низко парил орел.

Подойдя ближе к Игнатию, мельник прошептал:

– Тебе бежать надо, вот что. От нас и погони не будет. Пани София добрая... Она жалеет вашего брата. У нас бегали. Леса кругом дремучие.

Хвостов посмотрел недоверчиво на мельника. Он сам день и ночь думает о том же. Мельник будто угадал его мысли.

– Как это сделать? – наивно спросил Игнатий.

– Тебе нетрудно, если ты знаешь наш язык. А коней у нас немало. Пасутся они вот тут за мельницей. Мы поможем тебе. Мне жаль тебя: парень ты молодой, красивый, видать, грамотный. Не к лицу тебе холопом быть да пленником.

Игнатий промолчал.

– Ты и не задумывайся. Теперь, после победы, у нас стало просто. Паны пируют и Богу молятся. Подожди, когда у нас пир будет, да и беги...

Вечером Игнатий предстал перед пани Каменской в ее комнате, украшенной картинами и древним оружием.

Она была в воздушном белом платье, покрытом серебристыми блестками. На голове сияла диадема из бриллиантов. На руках сверкали перстни. Игнатий подумал: для того чтобы показать отцовский ларец, она слишком нарядно одета.

Ларец стоял на столе. Игнатий внимательно осмотрел его. Сказал, что позолотить ларец не представляет особого труда, и объяснил ей, что для этого нужно.

Она с рассеянной улыбкой слушала его. Ему показалось, будто она думает о чем-то другом. Действительно. Вдруг она спросила его – женат ли он, а если не женат, не осталось ли у него в Московии невесты.

Он ответил, что ни жены, ни невесты у него нет.

В эту минуту на его лицо легли красные предзакатные лучи через открытый балкон. Он невольно закрыл лицо рукой и вдруг почувствовал, как за шею обхватила его пани София и звонко поцеловала в лоб.

Он остолбенел, растерялся от стыда.

Она только захохотала, взяла его за руку и увлекла в соседнюю комнату. Здесь, на столе, сверкал хрусталь, в чашах дымилось теплое красное вино, множество всяких яств покрывало скатерть, расшитую турецкими золотистыми узорами.

Игнатий был ошеломлен роскошью обстановки, одурманен густым ароматным воздухом, вливавшимся сюда сквозь окна, и совершенно сбит с толку внезапными ласками этой незнакомой ему женщины, его теперешней властительницы.

Она приказала ему сесть за стол. Она приказала ему выпить с ней вина. Он робко подчинялся. Слегка охмелев, он не противился ее новому объятию и бесчисленным поцелуям. Но, опомнившись, он вскочил со скамьи, низко поклонился.

– Прости, пани!.. Отпусти меня, ради Бога!

Ее лицо стало сердитым. Она топнула ногой.

– Садись! – крикнула она с таким грозным видом, что Игнатий сразу опустился на скамью. – Я головой своей отвечаю перед королем за тебя.

Вдруг с хохотом она стиснула его в своих объятьях.

– Пей вино! Пей! Ты мой холоп, раб!

Она поднесла ему большую серебряную чашу с вином; та-

кую же выпила и сама.

– Я люблю русских! Хорошие они... и ты хороший! – хмельным, смеющимся голосом сказала она. – Храбрые! Я люблю смелых.

В голове Игнатия все смешалось: «Анна», «Курбский», «Царь Иван»... Все закружилось хороводом, и стало как-то радостно на душе... «Вернусь, вернусь, Анна!»

– Игнатий... Игнатий... ты – мой раб!.. И я твоя!.. раба!.. – совершенно охмелев, шептала ему в ухо пани София.

Что было дальше, наутро Игнатий с трудом вспоминал, а припомнив, тяжело вздыхал, мысленно прося прощенья у Бога.

IV

Тончайшими зелеными нитями проник лунный свет в опочивальню царицы Марии. Пахнет греческими благовониями и разомлевшими в тепле за день цветами.

Перед образами слабый огонек лампады.

Царица Мария лежит в постели, под одеялом.

Около нее в кресле сидит царь. В полумраке выделяется его расшитый золотом кафтан. Перед приходом в опочивальню царицы царь принимал в Столовой избе молдавского посла. В беседе с молдавским послом царь Иван узнал, что в Молдавии ходит слух, будто вместо Стефана Батория поляки и литовцы думают призвать на престол к себе его, царя Ива-

на. Та же весть дошла и до крымского хана. Он перетрусил и прислал в Молдавию письмо, в котором говорилось: «Советую полякам отнюдь не выбирать московского царя или его сына. Он старый их неприятель. Для Польши гораздо выгоднее дружба моя и султана, их старых приятелей. Пусть они выберут кого-нибудь другого – и я буду их другом еще больше, чем прежде».

Царь, смеясь, рассказал об этом царице:

– Дело то прошлое, но видишь, царица, как все испугались нашего соединения с Польшей и Литвой... Даже и теперь им все мерещится московский государь на польском престоле. Король свейский, французский, немецкий, римский папа и турки – все боятся нашего соединения с Польшей. За то ныне я, более чем прежде, буду помогать господарю молдавскому в досаду туркам.

Царица молча слушала царя.

– Что ж ты молчишь? – спросил царь.

Царица продолжала молчать.

– Недужится тебе?

– Аль ты, государь, уж и запамятовал? Дите я жду, – тихо, грустным голосом, ответила она.

– Нет, государыня, не запамятовал я... А с Божьей милостью сына жду. Правда, стар я становлюсь, но отцовское сердце не угасло во мне.

Опять наступило молчанье.

Вдруг царица приподнялась на ложе и спросила:

– Государь, правда ли, что ты сватов за море посылаешь?

Царь недовольно поморщился. Лицо его, освещенное лунным светом, казалось царице бледным, каким-то чужим, холодным.

– Кто посмел тебе об этом сказать? – строго спросил царь.

– Брат мой, Афанасий...

– На дыбу его, изменника!.. – проворчал Иван Васильевич.

– За что, государь, коли это правда?

– Дело то государственное, посольское. Оное в тайне должно хранить, даже от царицы. А вот Афонька-болтун проговорился... Хмельной, гляди, был?

– Нет, государь, не хмельной. И не за что его на дыбу, батюшка Иван Васильевич. А коли то правда, как же я-то буду? – тихо, спокойно спросила Мария.

– Обожди печаловаться... Послал я Писемского за море по своему, государеву, делу, зело важному, да только скудная надежда у меня. Не горюй! Проверю я дружбу королевы аглицкой... Надобно знать: один я буду воевать или в союзе с Англией?

Хотела царица спросить государя о черничке, да побоялась разгневать его, и к тому же не особенно это волновало ее.

– Много думала я, великий государь, о том, Богу много молилась. Позволь мне молвить слово: делай, батюшка, как то тебе угодно. Твое дело большое, мое малое. Твоя дорога

великая, моя крохотная тропиночка... Бог с тобой!

Иван Васильевич тяжело вздохнул:

– Не говори так, царица. Не умаляй своего царского сана. Недостойно. И ты и я идем по одной дороге. Ты – кроткая, разумная – это пригоже, да только знай меру. Я ищу помощи себе. Может быть, рука неисповедимого умножит благость свою к нам, русским людям, ущедрит нас новыми милостями, может быть, вознесет время мое выше прежних времен, но теперь мне тяжело, Мария! Тяжело видеть страдания твои, тяжело смотреть и на горькую долю моего царства. Три десятка лет добивался я моря, но так и не добился его. Оно – чужое теперь. Вырвали его из рук моих.

Мария слышала, в каком волнении говорит это царь. Голос его дрожал, слова наталкивались одно на другое, и ей стало жаль царя.

Она взяла его руку и поцеловала.

– Прости, государь, коли я досаждаю тебе. Глупая я.

Иван Васильевич склонился, поцеловал ее.

– Нет, ты не глупая. Я не взял бы тебя в жены, коли ты была бы такая. Ты почуяла грех во мне. Да, я грешен перед тобою. Но ты уже поняла: государь лиха тебе не желает, он ждет дите от тебя. Прости меня, коли я тебя огорчил! Знай, все будет так, как Господь укажет. Афоньку гони прочь от себя – беспутный он питуха!

Царь снова поцеловал Марию и, помолившись на иконы, вышел из царицыной опочивальни.

Царевич Федор Иванович в саду около своих палат слушал, как бродячий монах играл ему на гуслях духовные стихиры. Дрожащим, старческим голосом гусляр пел:

Возливайте, избранные,
В сердца свой божий страх.
Загремит труба небесна,
И по дальним сторонам,
По безлюдным островам,
Со слезным со рыданием
Зрю аз ужас превеликий...

Ирина, сидя на скамье с рукоделием на коленях, в почтительном молчании смотрела на мужа, лицо которого, молитвенно устремленное ввысь, выражало блаженное, неземное торжество.

Этого странника привел к царевичу ее брат, Борис Федорович. Зная набожность Федора Ивановича, Годунов старается угодить ему певцами, гуслярами, сказочниками, каликами перехожими.

Теплый, летний вечер; тишина, все заполнявшая кругом в кремлевских угодьях, располагала к мирному отдыху, к покою и тихой радости, только ласточки, с визгом проносившиеся над дворцовыми садами, нарушали благоговейную тишину. Да и то их нежные, пискливые голоса не мешали общему покою и довольству: казалось, и ласточки радовались

красоте этого вечера.

Калитка вдруг скрипнула, и в сад вошел царь Иван Васильевич, а с ним Богдан Бельский, Никита Романович и Федор Федорович Нагой, отец государыни.

Иван Васильевич остановился, увидев царевича, сидевшего около монаха; с усмешкой на лице он покачал головою, вздохнул:

– К мокрому теленку и муха льнет. Кто это ему постоянно подсылает убогих старцев?

Подойдя ближе к Ирине, вскочившей при появлении царя, он спросил ее строго:

– Кто привел этого старца?

– Борис Федорович... – тихо ответила она, опустив голову.

Иван Васильевич нахмурился:

– Чего ради твой братец так печется о моем царевиче? Не нравятся мне сии душеполезные заботы его.

Царь подозрительно посмотрел в лицо Ирины. А затем, обратившись к ближним вельможам, повторил:

– Да. Не по душе мне сии заботы Бориса.

Федор, очнувшись от своего молитвенного забытья, медленно поднялся, подошел к отцу.

– Добро пожаловать, батюшка государь!

– Федор! Беда навалилась на меня, – опять у тебя гнусный бродяга чей-то! Берегись! Дальше будь от них!

– Слушаю, батюшка государь, – тихо, дрожа от страха, проговорил царевич Федор.

– Пришел я проведать тебя да побеседовать с тобою о делах как отец, государь твой.

– Что же, батюшка, побеседуем... – пролепетал Федор.

– Слыхал ли, что в Сибирь я отправляю войско под началом князя Быховского?

– Нет, батюшка государь, не слыхивал...

– А знаешь ли ты, что сибирский царек не платит нам положенной дани?

– Не слыхивал и того.

Царь желчно рассмеялся.

– Кому уж, как не тебе, то знать?!

Повернувшись к вельможам, царь приказал им удалиться, подождать его за калиткой сада. Когда ушли, он взял царевича под руку и велел ему сесть рядом с собой на скамью.

– Федор, – тихо начал он, – ты мой наследник.

Увидев, что гусляр стоит в дальнем углу сада, царь вскочил, погрозился на него посохом:

– Убирайся отсюда! Здесь не место тебе!

Странник в испуге бросился бежать в калитку.

– Много их что-то в Москве развелось. Не худо бы этого добра поубавить, – гневно сверкнув глазами, сказал он. – Садись. Можно ли тебе оставить царство, когда у тебя весь свет – в монахах, в странниках да в юродивых. Погляди, как царские дети в иных странах к престолу готовятся.

Иван Васильевич задумался.

– Помни: блаженны народы, именующие своих владык от-

цами. Кротость и величество должны сиять на челе царского отрока. Следует сделать себя народу любезным, а народ послушным. Вот каковы должны быть дела твои. Личина пономаря у царского детища – посмешище в глазах народа. Честь быть отцом народа – нелегко, Федор, дается. Имя победителя пишется на камне, а титло отца отечества запечатлевается в сердцах.

– Прости, батюшка государь, коли грешу перед тобою, не ведаю того, как быть любезным... – проговорил жалобным голосом царевич. – Молюсь Господу Богу, чтобы помог мне... Молюсь!

– Хотелось бы мне, чтоб стал ты во главе моих отборных полков, что пойдут на Кучума. Да не могу. Не годишься. Простые казаки, разбойники, волжская вольница годятся, а ты нет. Послал я за те горы казаков... После того пойдут и мои воины. Славное дело впереди.

– Пошли, государь, и меня...

Царь рассмеялся.

– Где уж тебе! Ты уж о них Богу молись. Оное более тебе к лицу. Где тебе устоять против коварных сибирских язычников?! Все войско погубишь. Э-х, сынок!

Во время этой беседы Ирина ушла в дальние аллеи сада.

– Позови жену.

Федор крикнул:

– Ирина! Ирина!

Она быстро приблизилась к скамье, на которой сидел царь

с сыном.

– Не пускай к нему бродяг... Негоже царевичу забавляться их забавою. Коли еще увижу, голову срублю тому бродяге. Стыдитесь людей!

– Слушаю, батюшка государь...

Царь сощурил глаза, глядя на Ирину.

– Нет ли какого умысла тут? Не во зло ли нам то делается?

– Не ведаю, государь, о чем твоя речь? – смело сказала Ирина.

– Чего ради толкутся у вас святоши-бродяги? – строго спросил ее царь. – Ты не знаешь?! Отвечай!

– Царевич того желает.

– Точно, батюшка государь, точно. Сам я о том тоскую, – спохватившись, вмешался в разговор царевич.

– О Господи! – возведя глаза к небу, воскликнул царь. – Доколе же, Господи, ты будешь карать меня?

Он пристально посмотрел в лицо царевича Федора.

– Что ты, государь, так на меня смотришь?

– Страшно, Федор! Страшно твоему отцу! За тебя страшно.

Царевич с растерянной улыбкой взглянул на Ирину.

– Зачем страшиться? Молитвой господней отгоняю я от себя всякий страх. Ничего не боюсь, ибо с нами Бог, Вседержитель.

Царь Иван вскочил с места и, грозно замахнувшись на царевича посохом, закричал:

– Молчи! Над отцом смеяться вздумал?

– Что ты, батюшка! Что ты, батюшка! Я так... попросту...

– Царский сын ничего не говорит «так», ничего не делает «попросту». О, если бы я... – Царь закашлялся, схватился за голову, простонал.

Федор всполошился:

– Батюшка, что с тобой?!

Иван Васильевич не отвечал; низко согнувшись, что-то шептал про себя. Перед ним снова, как живой, предстал покойный Иван Иванович. Опять эти глаза!

Федор побежал в дом, принес маленькое распятие.

– Приложись, государь!.. Приложись!.. Лучше станет.

Царь тяжело приподнял голову. В глазах его были слезы. С ужасом он взглянул на сына, отстранив рукою распятие...

– Лучше бы... ты! – раздался его горячий, из души, казалось, вылетевший шепот.

– Святой водицы принести... Побегу принесу.

Царь через силу поднялся со скамьи и медленной, разбитой походкой вышел из сада.

В уютной, соседней с опочивальней комнате сидел на софе царь с черничкой Александрой.

– Прощай, голубка моя!.. Спасибо тебе!.. Порадела мне в плачевные для меня дни... Тяжко мне с тобою расставаться. Однако не волен царь стать твоим супругом. И без того по всем государствам пошла молва о распутстве московского

тирана. Да и грешно нам. Довелось мне книгу одну видеть. Писана она бывшим на московской службе немцем. Сказано там, что я тысячу наложниц вожу повсюду за собой...

Царь горько усмехнулся. Улыбнулась и Александра.

– А на деле... двух цариц враги отравили... двух жен попы не признали моими женами. Взял лишь молитву, но не обряд венчания. Попы за мной следят зорко. Каждый шаг царя обнюхивают и судят в монастырских кельях, в дворцовых теремах, на площадях и в кабаках... Жизнь царя у всех на виду.

Александра спокойно слушала царя, втайне радуясь тому, что царь намерен отправить ее в родную усадьбу.

Он продолжал:

– Донесли мне мои тайные люди, будто и про тебя сказывают небывалое... Да, моя горлица, высота сана имеет свои стеснения, свои оковы уединения, свои печали. Вокруг смерда нет такого вероломства от его ближних, какое обитает около обеспеченных высоким саном. Великолепные чертоги вмещают лютые заботы, едва ли не большие, чем в хижине сошника. Не обижайся на меня! Царица страдает... Срам ей! Судит меня. Нагрешил я – буду замаливать свои грехи!

Он крепко обнял Александру.

– С тобою я молодею, от тебя выхожу я бодрый и приступаю к делам своим спокойно, с верою и терпением, но увы... начал страшиться злобности попов в такое лютое, неудачливое время. Сколь ни боролся я с ними, все же они сильнее меня. Прекрасные ланиты твои, как утренняя заря, освежа-

ют силы мои, когда просыпаюсь я около тебя, но когда наступает день, я теряюсь в мыслях, как быть мне с тобой. Уйди, красавица, Господь с тобой! Покинь меня! Сегодня в ночь увезут тебя. Буду тосковать я, гневаться на себя стану по ночам, однако... расстанемся.

Александра взяла руку Ивана Васильевича и покрыла ее поцелуями.

– Государь мой, батюшка Иван Васильевич, нелегко и мне покидать благодетеля моего, нелегко расставаться с тобою, государь. Осчастливил ты меня своими царскими ласками. Благодарю тебя за твои милости ко мне. Коли Господу Богу так угодно, отпусти меня... Буду плакать и я, буду молиться и тосковать о тебе. Моему горю покоряюсь я безропотно, ибо я раба твоя.

Царь Иван поднял Александру и понес ее на руках в свою опочивальню... Ему хотелось показать силу свою, доказать, что он не слабый старик, что он сильный, здоровый мужчина...

Ночью из государевой усадьбы под конвоем десятка всадников, предводимых Богданом Бельским, выехал наглухо запертый возок.

Царь с крыльца долго прислушивался к удаляющемуся топоту коней. Придя в свою опочивальню, он усердно помолился на икону. Сразу стало пусто и сиротливо на душе.

Борис Годунов застал во дворце одну Ирину. Царевич Фе-

дор молился в домовой церкви.

– Здравствуй, сестра, – низко поклонился он царевне и поцеловал ее в голову. – Слыхал я, будто государь вчера посетил вас. Так ли это?

– Верно, братец Борис Федорович, посетил нас государь. И не один.

– Что это значит? Никогда государь не берет никого с собою, коли идет к царевичу Федору. А тут, говорят, его провожали Бельский, Юрьев и другие бояре, – сказал, разводя от удивления руками, Борис.

– То и я приметила, братец...

– О чем же он с царевичем говорил?

– Учил он царевича, как быть почитаемым в народе.

Борис Федорович с усмешкой покачал головою.

– Лучше ступой в море воду толочь, нежели тому царевича учить. А царевич что?

– Царевич... ничего. Он гусляра слушал, как тот молитвы разные пел. Любит царевич духовные песни. Он такой розовый, румяный делается, когда молитвы слушает.

– Не говорил ли чего обо мне государь? – почти шепотом спросил Ирину Годунов.

– Спрашивал он, кто царевичу гусляра прислал, мы сказали, что ты, Борис Федорович. Царь тогда молвил: чего ради Борис Годунов старается Федору разных старцев, бродяг подсылать?

– Что же ты сказала?

Борис Годунов, затаив дыхание, ждал ответа.

– Я сказала государю, что-де сам царевич любит духовные стихиры... Он сам просит присылать ему этих людей.

Борис в задумчивости сел за стол.

– Давай пиво, Ирина... Жажда замучила...

Ирина принесла большой кувшин с пивом и налила высокую серебряную чашу дополна.

– Пей, батюшка Борис Федорович, пей, мой любезный братец!

– Неприятность за неприятностью, – сказал он, осушив до дна чашу с пивом.

– Что такое?! – испуганно спросила Ирина.

– Пошел слух по Москве, будто ученик Никиты, стрелецкий сотник Игнатий Хвостов передался на сторону поляков и после перемирия не хочет возвращаться в Москву. Выходит, Никита изменника у себя держал, а я изменнику потворствовал, расхваливал его царю, ввел государя в заблужденье! Не дай Бог, коли слух этот до Ивана Васильевича дойдет... А уж это того и гляди так и будет. Мои недруги помогут этому. Вот грех-то какой! Истинно: не ищи беды – сама сыщется. О, если только о том пронюхают Бельский да Никита Юрьев, несдобровать тогда мне, злую докуку нагонят на царя вмиг, восстановят его против Годуновых.

– А царевич Федор?! Он заступится. Я попрошу его. Не кручинься, братец, государев гнев мы предотвратим.

– Полно, Иринушка, ужели ты не знаешь нрав царя?

Шепотом он добавил на ухо Ирине:

– Родного сына не пощадил, Ивана Ивановича, – помяни, Господи, его во царствии твоем! – Борис перекрестился. – А уж со мной и вовсе... Чего ему? Коли дело касается измены, царь беспощаден. Всех приберет, кто с изменником какое-либо дело имел.

И Борис Федорович, и его сестра Ирина тяжело вздохнули.

– Может быть, зря болтают о том, Борис Федорович? – спросила она. – Может быть, там Хвостов Игнатий убит?!

– Кто знает, может, и зря. Однако из плена почитай уже все вернулись, а его все нет и нет. Те, которые вернулись, видели его в плену. Жив. Здоров. А коли так – чего же ему там сидеть?

– Чудно, братец, чудно...

– То-то чудно и непонятно. А государь тоже неспроста разведывал о страннике-гусляре, неспроста и обо мне говорил. Он недоверчив и подозрителен. Едва ли и самому себе-то он верит! Ну, будь что будет, прощай, сестра!

Борис Федорович крепко поцеловал сестру и быстро вышел из комнаты. На дворе его ждала повозка, впряженная в пару вороных красавцев коней.

V

Иван Колымет доложил Курбскому, что московский па-

рень Игнатий Хвостов живет, как дома, у Софии Каменской. Он – конюх на усадьбе «Стара Весь». Красавица вдова души в нем не чает. Болтают люди, будто он тайным полюбовником ее стал. Хорошо бы пустить по Москве слух через Петьку Сухарева об измене Хвостова. Голос Колымета прерывался от прилива какого-то зловещего восторга:

– Вижу я – холопом он царским, верным человеком у Ивана был, да и не нарочно ли его оставили тут у нас? Не соглядатай ли? Надобно и воеводе здешнему знак дать – мол, соглядатая нашли... Пани Каменская прячет его. Эта пани доносила на тебя, князь. Свидетелем на суде против тебя была! Не худо бы припомнить это.

Курбский молчал. Он думал: не слишком ли много чести пускать по Москве слух о переходе на сторону поляков простого, незнатного стрельца? Стоит ли ради этого поднимать шум? Колымет готов каждому человеку сделать какую-нибудь пакость, ему все равно, а князю Курбскому не к лицу вступать в борьбу с пленным холопом. Смеяться будут королевские вельможи. Другое дело оклеветать, показать изменником какого-нибудь нужного царю воеводу либо боярина. Такое в прошлом бывало. Ну, а теперь... чего добьешься этим? Больше пользы приласкать юношу, привлечь на свою сторону.

– Не время и не к месту ныне мне мстить Каменской, Ванюха. Не такое тут дело. У каждой вдовы, у каждой красивой панны есть любовники – за это ни король, ни сенаторы на нее

не рассердятся. Да и Бог простит ее. В Москве пускать такой слух стоит ли? Малый человек – тот Игнашка... И царю он не Бог знает какой слуга...

Колымет рассмеялся:

– Поздно, князь. В Москву уже поскакал от нас Яшка, наказал я ему, чтобы донес о нем смоленским людям, а те в Москву бы дали знать. Малый он или не малый, а царю Ивану все будет досада от того.

Когда шел этот разговор, в соседней комнате стоял сельский мельник, которого для размола зерна вызвал на усадьбу Курбского Иван Колымет. Услыхав имя Софии Каменской, он стал прислушиваться к громко говорившему Колымету.

Князь Курбский выразил неудовольствие, что Иван Колымет без его ведома делает то, что не по душе ему, князю.

Колымет резко и грубо ответил князю, что он – не раб ему и не холоп. Ранее он был дьяком в Посольском приказе, а это чин немалый. Он может думать по-своему.

Курбский закричал на него, чтобы он «вон ушел от него».

Обозленный, хлопнув дверью, Колымет вышел из комнаты князя. Наткнувшись на мельника, он сказал ему с раздражением:

– Чего ты тут толчешься? Не до тебя мне сегодня. Приходи завтра.

Мельник поклонился и ушел.

Почти бегом направился он по дороге на усадьбу Каменской.

Найдя в конюшне Игнатия Хвостова, мельник передал ему все, что слышал в доме Курбского.

– Меня сочли изменником! – ужаснулся Хвостов. – Что же мне теперь делать? Я – изменник!

– Госпожа тебе доверяет... Она тебя жалеет. Но она тебя и любит. Ей не надо ничего говорить. Возьми ночью лучшего коня в ее конюшне и скачи к московскому рубежу. Он не так далеко отсюда. Скачи, не теряй времени, – сказал старый мельник-литвин.

Затем он на ухо прошептал Игнатию:

– А чтобы твой царь встретил тебя не плахой, а с приветом, возьми у меня... Там я, на мельнице, спрятал планы польского воеводы. В лесу хмельной пахолик [21] потерял. Вез он планы те в Краков. В них царь найдет то, что ему нужно, и знать он будет то, чего, по мысли Замойского, царь не должен знать...

Наступила ночь. Луна то скрывалась в темных косматых облаках, то снова появлялась в полной своей красе.

Пани София веселилась с приехавшими к ней погостить родственниками. Из окон замка доносились песни, топот плясунов, звеневших своими шпорами, крики, веселый, хмельной шум...

Игнатий потихоньку оседлал самого быстроногого коня, спрятал под нательную рубашку большие листы бумаги, что дал ему мельник, и, выведя тихонько коня в ближайшую ро-

[21] Слуга, оруженосец; здесь – гонец.

щу, вскочил на него и помчался по дороге прочь из усадьбы.

Мельник перед этим ему указал, где лежит ближайший путь к московским рубежам.

– А коли кто будет дорогой спрашивать, куда путь держишь, скажи, в замок «Отрада». Там живут сестры пани Каменской, – сказал мельник.

Простились они, как родные. Литвин обнял Игнатия и поцеловал, пожелав ему благополучного пути.

Долго смотрел старый мельник вслед скачущему на коне Игнатию, спрятавшись в стоге сена. На глазах его сверкали слезы.

Темнее тучи Никита Годунов. То, что ему сегодня сказали в Разрядном приказе, убило его, повергло в страх и тоску, – государю стало известно об измене Хвостова Игнатия, который состоял у него, Никиты, на службе и столь продолжительное время жил у него в доме.

Теперь жди грозы. Борис Годунов и тот уже не заезжает на его усадьбу, как бы избегая иметь дело со своим дядей.

В Приказе тоже шепчутся при его появлении.

Феоктиста Ивановна, услыхав обо всем этом от него, горько расплакалась.

– Что же это такое?! – причитывала она. – С отцом моим сотряслась такая ж беда, и в ту пору от нас все откачнулись, а теперь то же самое с супругом моим, Никитою Васильевичем! Какое лютое время!

Она скрывала многое от своего мужа. О, если бы узнал теперь Никита Васильевич, как она обнимала по-матерински изменника, как иконою его благословила в дорогу, как допускала тайные встречи Анны с Игнатием! Беда была бы тогда ей и дочери Анне.

Никита сидел один в горнице, когда к нему подошла Анна и, упав на колени, проговорила:

– Батюшка мой родимый, отпусти меня в монастырь. Думала я, думала, да и надумала уйти от суетной жизни в монастырь, замаливать свои грехи... Не могу я больше жить так, как живут другие люди. Незачем мне больше жить в моем тереме, коли Игнатий изменником царю и родине стал...

Горькие слезы проливала она, говоря это.

Испуганная ее плачем и причитаниями, выбежала из своей комнаты Феоктиста Ивановна.

– Что ты, доченька?! Что ты, неразумная?! Бог с тобою, сердешная! Можно ли так говорить, милая?!

Еще настойчивее после слов матери стала проситься в монастырь плачущая Анна.

Никита Васильевич сидел молча, безучастно глядя на жену и дочь. Все рушилось, все гибнет: и его многолетняя, честная служба царю, и его семейный уют, и надежды на тихий отдых в старости после службы. Куда идти? К кому обратиться? Да и что он будет говорить? О чем?!

В такие трудные для царя, для отечества дни – измена! Что можно придумать позорнее, преступнее, грешнее этого?

Сам бы он, Никита, теперь, попадись ему в руки Игнатий, убил бы его из пищали либо стащил бы его в застенок для страшных мучений. За измену родине – все дозволено, все священно и Богу угодно. Игнатий Хвостов – Иуда?! Так ли это? Может ли это быть?

Как во сне, слышит Никита Васильевич голос дочери: «Отпусти, отпусти!» и плач жены.

Вдруг он вскочил и, хлопнув изо всей силы рукой по столу, закричал диким, чужим голосом:

– Нет совести у вас! Молчите!.. Не шумите!.. Прочь! Вы только о себе! Себялюбцы.

Мать и дочь в испуге побежали на свою половину. Никогда Феоктисте Ивановне не приходилось слышать такого крика от мужа.

– Чего ревете?! – продолжал кричать Никита. – Может быть, попусту болтают... Гляди, ничего и нет!.. А вы ревете!

В это время на дворе появился верховой.

Никита затрясся, увидев его.

– Собирайся, Никита Васильевич, государь тебя требует, – проговорил, не слезая с коня, знакомый Годунову стрелецкий начальник кремлевской стражи Анисов.

– Ладно. Обожди, – глухо ответил Никита.

Опять вбежали в горницу мать и дочь, вцепились в Никиту Васильевича:

– Не пустим! Не пустим!

– Глупые, отстаньте! – стараясь сохранять спокойствие,

проговорил Никита. Вырвался из их рук и быстро пошел во двор.

Вскоре он поскакал на коне рядом с Анисовым в Кремль.

Обе женщины, плача, стали на колени перед иконами.

Герасиму в Разрядном приказе объявили: те рубежи, на которых он стоял, заняты шведами; наиболее угрожаемыми ныне границами стали поселки на севере, у Колы, Печенги, на Мурмане – туда и надо перенести его сторожевую службу. Дали время съездить за женой и дочерью в Новгород, где он их оставил, и поселиться пока в Холмогорах, до особого наказа Разряда.

Герасим с этими вестями зашел к Охиме. По обычаю, обнялись и поцеловались. Она очень обрадовалась тому, что и Герасим едет туда же, где теперь находится ее Андрей с сыном.

– Увидитесь... Расскажи ему о моей жизни... о Москве... Вот обрадуется Андрей-то! Отвезешь ему и сыну рубахи, я сшила им...

Слушая ее речи, полные восторга, Герасим вздохнул:

– Тяжело, матушка, насиженное место покидать. Все пропало там у меня. Жена и дочь остались, и то слава Богу! Поеду за ними в Новгород. Повезу с собой.

– Полно, батюшка Герасим Антонович, вези ты их в Москву, да у нас пускай пока и поживут. Дом у нас в полтора жи-

тья [22]. Хватит всем места. Дом новый, теплый, печка с трубой.

– А и дочка у меня хороша! – рассмеялся Герасим. – Невеста! Звать Наталья. Девка – любо-дорого смотреть.

– А у нас и жених ей найдется! – рассмеялась Охима, покраснев до ушей. – Садись-ка! Пообедаем. Соскучилась я тут одна, без Андрея да без Митьки. Богу в Успеньев собор хожу молиться, только и всего. Молюсь о них. Долго что-то они там сидят. Беспокоюсь я.

– Вишь, и меня с моими ребятами, порубежниками, туда же усылают. Видать, большое государево дело там. А враги, сама знаешь: где у нас что-либо прибыльно, туда и они лезут. Вон на Печенгу дацкие люди разбойным обычаем напали. Мало им тех земель на Балтийском море, что государь им отдал. Полезли, как волки, и на север, к Ледовому морю. Не зря нас посылают туда, а чтоб то море оберегать. Насмотрелся я на наших соседей. Да и свейский король тоже: зоб полон, а глаза голодны. Много обид нам причинил он. Ну, да ладно – сколько ни дуйся клещ, а все одно отвалится. Потерпим, а там будет видно...

Охима поставила на стол в кувшинах сусло, налила в чаши гороховую похлебку, нарезала хлеб, грибов соленых подала. Помолившись, оба сели за стол.

– Да, родная Охимушка, течет жизнь в постоянной тревоге. Не помню я, когда ночью бы меня не будили. Не пом-

[22] С одной комнатой наверху.

ню, чтобы и коня наготове постоянно не держал я. Служба на рубеже, как порох близ огня. Беспокойно. Параша и та со мной ходила на бой. Все было! Время такое. Каждый жаждет покоя, отдыха, истомились по счастью, ан по нашему-то и не выходит.

Охима рассмеялась:

– Вот и Андрей мой... Начнешь ему что-нибудь говорить, а он: «Время теперь такое! Потерпи! Изменится...»

– А что ему и говорить, коли не это? Понятно, не хотела бы Русь столько врагов иметь. Однако на Бога надейся, да и сам не плошай. Видел я много всего. Видел, как и города рассыпаются, будто песок морской. Видел бури на море, моя засека у самой воды стояла; видел бури и на суше, бури человеческие. Как будто ни того, ни другого нам не надо, а все то приключается. Вот и думай! Что к чему. А у меня такой теперь слух, что вот сплю и слышу: где-то таракан ползет, а может, это не таракан? Вскакиваю, смахиваю его, проклятого, в лохань и опять ложусь. Сплю и еще пуще прислушиваюсь. Вот какова служба на рубежах.

Охима сочувственно покачала головой.

– У нас будто поспокойнее. Только татары...

– То-то и оно... – засмеялся Герасим. – Везде одинаково. Крым от Москвы далеко, а все-таки спать спокойно и вам не всегда можно. А я, матушка Охима, и не мог бы теперь спокойно жить. Скучно, пожалуй, стало бы. Коли я день пропущу и на коне засеку не объеду, мне не по себе, будто чего-то

не хватает. А уж если дам отпор какому-нибудь врагу, разбойнику, – то у нас с Парашей и Натальей настоящий праздник в тот день. У нас там просторно было, море, пески да морские орлы и чайки. Как-никак, а два десятка лет продержались мы там и мореходам нашим путь у моря охраняли. Я и не верю, что у нас отняли то море. И никто не верит. Оно опять нашим будет. Поверь мне – будет нашим!

Охима усмешливо покачала головой:

– Будет ли?

– Будет! – ударив кулаком по столу, грозно гаркнул Герасим. – Была та земля русской – и останется такой. Немало за нее нашей крови пролито.

– А где взять такую силу, чтоб врагов прогнать? – спросила Охима.

– Был бы у нас хлеб, а зубы сыщутся... – рассмеялся Герасим, подмигнув Охиме. – Не сомневайся.

– Когда же ты поедешь в Новгород?

– Завтра. Ну, спасибо тебе, Охимушка! – низко поклонился Герасим, помолился и стал собираться в Разрядный приказ.

Среди болот, сквозь дремучие леса пробирался Игнатий Хвостов к московскому рубежу.

Коня пришлось оставить в одной из литовских деревень. По дорогам скакать на коне стало опасно – чем ближе к границе, тем больше всякой стражи было расставлено королев-

скими воеводами на путях к России.

В литовских деревнях Игнатию оказывали дружеский прием; крестьяне прятали его у себя в хатах, давали ему пищу, провожали его по потаенным лесным тропам. А чтобы не растерзали Игнатия дикие звери, снабдили его пистолью и кинжалом.

Горя желанием скорее вступить на родную землю, Игнатий почти бегом пробирался по лесным тропам. Сердце билось невыразимою тревогою, горячая, мучительная мысль о том, что на родной стороне о нем говорят как об изменнике, терзала его. Ведь и до Анны дойдет этот слух, тогда что? Да и все другие люди, знавшие его, что скажут теперь? Они проклинают уже его, Игнатия. Они думают, что и впрямь он изменил родине.

Да разве он по своей воле сидел на усадьбе пани Софии? Разве не искал он постоянно удобного случая, чтобы сбежать от нее? Ее доброта к нему, злосчастному пленнику, была прихотью развратной дворянки-помещицы. Разве покидала его хоть на единый час мысль об Анне? Но... пани София окружила его таким надзором, что каждый шаг его ей был известен, и если ему удалось в ту ночь бежать, то только потому, что слуги ее были все в доме, прислуживая на пиру, устроенном ею в честь родственников, да и кони оставались без надзора конюхов, которые спали хмельные в своей хате.

Игнатий спешил в Москву и не только ради себя, ради своего оправдания. Он узнал от пани Софии, когда она была во

хмелю, что король и Замойский тайно принимали у себя послов от крымского хана. Король хотя и заключил мир с московским царем, но не оставляет мысли подготовить новую войну против русских. А с ханом у него был совет об одновременном нападении на Русь.

– Зачем тебе возвращаться в Москву? – говорила она. – Скоро опять ее сожгут татары. Близкий к Замойскому человек сказывал мне о том... У меня тебе будет хорошо. Ты будешь у меня своим человеком. Король наш воинственный... Он уж надоел нам... Мы хотим мира... А он только и думает о новой войне.

Много всего наслушался Игнатий у пани Каменской и теперь спешил обо всем этом рассказать в Посольском приказе, а коли то угодно будет, и государю.

Путь его к рубежу становился с каждым шагом все опаснее.

Везде попадались ему конные разъезды польских порубежников.

Однажды он едва не попался им в руки. Чтобы ускользнуть от польских стражников, он просидел целую неделю в болотистых лесных урочищах. Но он постоянно старался утешать себя тем, что нет ни радости вечной, ни печали бесконечной!

Никите Годунову велено было царем сдать свою должность стрелецкого начальника воеводе Соломину, бывшему

в дальнем отъезде на поимке разбойников. Государь обошелся с ним холодно, когда он был на приеме во дворце. Никита понял, что на него легла тяжелая государева опала.

Он сидел теперь целые дни дома в глубоком унынии. Одно горе за другим свалилось на его голову. Вот уж истинно: пришла беда – жди другой! С дочерью Анной теперь творится что-то неладное. Не пустил в монастырь. Задурила, плачет целые дни, не ест, не пьет, и сон ее не берет, и дрема не клонит. Кропили святой водой, к колдунье водили – как будто в рассудке помешалась девка. Мать извелась, глядя на нее.

На посад стыдно выйти – все соседи уж знают, что Никита Годунов впал в немилость у царя. Смотрят искоса люди, нехотя здороваются. Хоть в петлю лезь от тоски и позора. В несчастье познаются друзья, и вот оказалось, что их не было и нет. Даже Борис Федорович и тот покинул его, Никиту. А за что? Да разве мог он, Никита, знать, каков будет Игнатий? В чужую душу не влезешь, чужая душа – потемки.

Так тяжело, так тяжело на сердце у Никиты, что и Богу молиться не тянет. Одеревенел весь. Вот и теперь: из комнаты дочери опять доносятся всхлипывания и причитания. Но стоит ли утешать?! Что скажешь ей?! Какие слова могут унять ее рыдания?

Никита сидит за столом, опершись головою на руки, – горькая дума бродит в его голове: не согласиться ли и впрямь на пострижение в монахини своей дочери Анны? Воля Божья. Против судьбы не пойдешь.

Оделся Никита в новый кафтан, собравшись в Вознесенский девичий монастырь, чтобы поговорить с игуменьей о своей дочери Анне, посоветоваться, послушать, что скажет старица.

Феоктиста Ивановна обеспокоилась, видя это, но не решилась спросить, куда он хочет идти. В последнее время Никита Васильевич стал неузнаваем: раньше он был ровный, спокойный, ласковый, теперь стал раздражительный, крикливый, порывистый, взял в привычку брагу пить неумеренно.

– Полно тебе убиваться, очнись, доченька! Ведь ты и отца-то замучила! Бегает он, себе места не находит... Ему и без того горя хватит... Грешно так-то... – приговаривая, гладила она по голове дочь. Анна сидела в углу на скамье, закрыв лицо руками.

– Что ж ты молчишь? Или онемела?

Анна продолжала неподвижно сидеть, никак не отзываясь на слова матери.

Феоктиста Ивановна с убитым видом отошла прочь.

VI

Одиннадцатого августа того же 1583 года посол царя Федор Писемский со своими товарищами отбыл из Холмогор на богато оснащенном корабле в Англию.

Государев наказ: во-первых, договориться с королевой

Елизаветой о военном союзе России с Англией. Во-вторых, наедине с королевой тайно поведать ей о желании Ивана Васильевича породниться с королевским домом. Невестой своей государь желает племянницу королевы, принцессу Марию Гастингс, при условии если Мария будет иметь качества, необходимые для московской царицы. То рассмотреть должен сам посол. Царь поручил Писемскому взять у принцессы ее парсуну [23] на доске или на бумаге и в точности записать для царя: высока ли Мария Гастингс, дородна ли, бела ли и в каких летах?

Особо, под большим секретом, царь велел Писемскому узнать: каково подлинное сродство принцессы Гастингс с королевой и сан ее отца; имеет ли она братьев, сестер?

Перед отъездом Писемского из Москвы царь напутствовал его словами:

– Разведать о ней все, что можно, дабы не случилось ошибки.

Теперь, расположившись в уютной, теплой каюте на корабле, Писемский рассказал о беседе с царем своим спутникам, подьячим и толмачам. А затем передал им и другой наказ царя:

– Если королева или ее люди скажут, что у вашего государя уже есть супруга, отвечать: «Правда, у государя супруга есть, но она не царевна родом и не дочь князя-владетеля, а простая дворянка. Она не угодна ему и будет оставлена, коли

[23] Парсуна –портрет.

состоится сватовство царя к племяннице королевы, Марии».

Все провожатые Писемского дали ему слово, что сказанное им они исполнят в точности, как то угодно батюшке государю.

Писемский проговорил, нахмурившись:

– Жену в чужой вере государю не к лицу держать. Он велел сказать королеве, что Мария Гастингс должна принять нашу веру, которая на Руси. Неприлично перед русским народом царице, откуда бы она ни была, иметь не нашу веру, а чужую.

– Правдиво сказано! – поддакнули Епифан Неудача и другие посольские люди. – Вера у нас – то же, что земля, на которой стоит русское царство. Изменить вере – изменить земле.

– Вот потому-то государь и требует, чтобы не только Мария, но и ее слуги, что приедут к нам, тоже приняли русскую веру. Еще государь велел сказать, что наследником престола будет царевич Федор. А если от английской княжны родятся дети, им будут даны уделы, как издревле то водится на Руси.

Немного помолчав, Писемский поднялся со скамьи и произнес, погладив в раздумье бороду:

– Придется нам трудненько. Государь тверд в своем слове. На уступки не пойдет. Так он и сказал мне: «Если королева согласия тебе на все эти мои требования не даст, то проси у нее отпуска домой. Дела тогда у нас никакого не может быть».

После этого Писемский сказал:

– Что знаете и что слышите от меня, держите про себя. Худые люди, что с послами едут в чужую землю, а на язык невоздержанны. Государь писал Наумову в Крым: «Ты своих робят отпустил в Москву, а они, дорогою едучи, все вести разгласили. Так ты бы вперед к нам вести писал, а людей своих не отпускал, чтобы такие вести до нас доходили, а в людях бы молва не была без нашего ведома». Вы целовали крест на том, то и выполняйте.

Все опять повторили Писемскому, что будут верно служить царю и ни одним словом не обмолвятся о том, что знают.

– Нелегкое дело наше! – громко вздохнул Писемский.

В самом деле, задача нелегкая: и союз военный, государственный заключить, и чтобы о красоте Марии царю слово правильное молвить, и чтобы в необходимости перехода в русскую веру ее убедить. А с пустыми руками вернуться опасно. Царь может разгневаться: не сумели-де государев наказ выполнить.

Забота великая навалилась, что и говорить!

Да еще такое длинное путешествие! Надо обогнуть Мурманскую землю, Колу, Норвегию по Ледовому океану и через другой океан проплыть, чтоб добраться до берегов Англии. Два океана!

Уже по выходе из Холмогор, на Студеном море, морские ветры дали себя знать, корабль едва-едва справлялся с вол-

нами, а что дальше?

Корабль был торговый, вез пеньку, канаты, тюленье сало и многое другое в Лондон. Матросы были опытные, они уже не раз ходили по Ледовому океану и в Норвегию, и в Данию. На корабле находилось немало и английских торговых людей из лондонской «Московской компании».

Вокруг летало множество чаек, иногда они садились на реи мачт, опускались на палубу, бестолково кружились над головами, словно заигрывая с людьми.

Родной берег оставался все дальше и дальше позади.

Писемский и его спутники, стоя на палубе, усердно молились в сторону Москвы.

– Прощай, матушка Русь!.. Уплываем! – громко сказал Писемский, обернувшись растроганным лицом к своим товарищам.

Леса, болота, поля... Глухие, всеми забытые деревушки с бедными, обнищавшими поселянами, которые внешний мир познают только по налагаемой на них дани да по насильственному изъятию по временам из их семей парней в королевское войско для никому из них не понятной борьбы с русскими. Все остальное от них скрыто лесами, болотами и заросшими дикою травою полями.

Настал день – все это осталось позади Игнатия.

Его нога ступила на родную, русскую землю. Это был для него день великой радости. Он с восхищением окидывал

взглядом открывшуюся перед ним местность.

Он стоял на высоком холме. Отсюда была видна извилистая уходящая вдаль, сверкающая зеркально в лучах полдневного солнечного сияния река. Среди ярко-зеленых лугов, красуясь белизною своих стен, высилась сельская церковка, стиснутая крохотными избами, сбившимися вокруг нее в кучу, словно они спасались от неприятеля, угрожающего им со стороны соседнего беспокойного польского царства. Так подумалось Игнатию, потому что и в литовских деревушках ему приходилось много всего слышать о мародерстве наемников короля Стефана – немецких, венгерских и разных других ландскнехтов. Было известно, что Баторий не брезговал брать к себе в войско всяких бродяг, заведомых воров и убийц. Они никого не боялись, никого не слушали, сам король ничего не мог поделать с их воровским разгулом. Знал Игнатий и то, что при всяком нападении на русские села и города народ набивался в церковь или собор, прячась за их стенами от налетчиков и поражая их из своего укрытия стрелами и огнем.

Игнатий облегченно вздохнул, почувствовав, что он действительно опять на родине, когда до него донесся торопливый, звонко разносившийся по равнине звон колокола с церковной вышки, когда увидел внизу около реки стадо коров, охраняемое босыми, весело перекликавшимися по-русски ребятишками.

Русь, великая, родная Русь в этом удаленном от Москвы

уголке своем представилась Игнатию такою спокойною, простою, мирно зеленеющей, как будто все, что творится в иных ее пределах, – случайное, навязанное ей со стороны завистников, и даже около неприятельского рубежа она хранит гордую мысль о своей неумирающей силе, о своем счастии в будущих временах, о своей непобедимости...

Снял шапку Игнатий, поклонился на все четыре стороны, помолился, обратив лицо к сельскому храму, и стал спускаться с холма по извилистой тропинке вниз.

В деревне он заночевал, а затем по дороге, которую ему указали крестьяне, двинулся в дальнейший путь. Его беспокоила весть, которую ему поведали в деревне, будто царь убил своего сына, а после того тронулся умом, государством правят бояре, а от сего великие раздоры идут в Москве.

Крестьяне говорили, что рассказал это один монах, пробиравшийся к посольскому рубежу из Новгорода.

Однако его смущало, что рассказывал это мужикам новгородский монах. В Новгороде духовенство ненавидело царя, да и вообще все духовенство на Руси не жалует царя своим благоволением. Они не могут простить ему, что на последнем церковном соборе царь посягнул на отчуждение у них в пользу мелких, бедных дворян церковных земель. Царь говорил тогда: «Вы покупаете и продаете души нашего народа. Вы ведете жизнь праздную, утопаете в удовольствиях и наслаждениях, дозволяете себе ужаснейшие грехи, вы-

могательства, взяточничество и непомерные росты [24]. Ваша жизнь изобилует кровавыми грехами: грабительством, обжорством, праздностью, содомским грехом...» Игнатий знал, как после этого собора попы и монахи обозлились на царя, мешали даже его женитьбе.

Игнатий постарался отогнать от себя мрачные мысли о царе. Он наслаждался смолистым запахом хвойного бора; чувствовал себя как дома в этих лабиринтах узких, окаймленных прямехонькими стволами сосен, просек; радовался щебетанью лесных пичужек, стуку дятлов, кукованью кукушек... Все это, давно знакомое, знакомое с самого детства, теперь зеленело и звучало по-новому.

О пани Софии Каменской теперь было неприятно, тяжело вспоминать. Анна! Анна! Русская, простая, ласковая, невинная девушка в его уме застила теперь своею красотою всех красавиц иноземного царства. Прочь они все! Опять он увидит ее, свою единственную, свою Анну!

При воспоминании о любимой девушке грудь ему стиснуло горячее нетерпение поскорее ее увидать. Он готов был пуститься бежать по дороге к Москве. Все вдруг озарилось в нем чувством безграничного счастья... В обветшалой, изодранной одежде, почти босой беглец из плена – он никогда не испытывал такого довольства собой, такой сладкой гордости, как теперь, – да, он богаче всех богачей!.. В его душе величайшее в мире богатство – любовь! Она окрашива-

[24] Процентная прибыль.

ет небо в мягкий розовый цвет, темную чащу хвойного бора она осыпает красными, ярко-золотистыми, лиловыми, шелково-белыми цветами, источающими нежный запах, запах ее шеи, ее головки, всей ее... Вот какова его любовь! Надо забыть навсегда богатую пани Каменскую. Она красива, но где ей затмить своею красотою Анну?! Несчастная! Она была добра к нему, Игнатию, но... Бог с ней!

«Игнатий, прибавь еще шагу! Торопись, Анна ждет тебя! Не думай ни о ком, только о ней!»

Ему кажется, что эти слова ему нашептывают со всех сторон какие-то невидимые добрые духи.

И он, с довольною улыбкой отталкиваясь палкой от земли, ускоряет свой шаг по дороге к Москве.

Ермак и его есаул Иван Кольцо, разбив войско татарского царя Кучума, овладели на берегу Иртыша главным городом татарского царства Сибирью. Кучумово войско билось стойко, отчаянно, Ермак одержал большую победу, выполнив наказ Строгановых, которые перед походом сказали ему:

– Иди с миром очистить землю Сибирскую и выгнать безбожного салтана Кучума!

Начав поход первого сентября в ладьях, нагруженных съестными припасами и снарядами, легкими пушками и «семипядными» пищалями, казаки к двадцать шестому октября с боями уже подошли к столице Кучумова царства и утвердились в ней.

Город Сибирь стоял на высоком берегу Иртыша, укрепленный с одной стороны крутизной, глубоким оврагом, с другой – тройным валом и рвом. Нелегко было овладеть им, но лихие казацкие воины, не щадя своей жизни, взяли его и угнали далеко в тайгу Кучумово войско и самого его, царя Кучума.

Богатая добыча досталась казакам: золото, серебро, азиатские парчи, драгоценные камни, меха... Все это Ермак разделил поровну между своими воинами.

Ермак был не только храбрым вождем, но и добрым, разумным воеводою; он сумел снискать любовь и доверие к нему мирных жителей, татар и остяков. Его воины не смели обижать местных людей.

Летописец тех времен писал: «Ермаковы казаки в Сибирской столице вели жизнь целомудренную, молились и сражались».

Смелый и мужественный племянник царя Кучума, Маметкул по ночам нападал на лагерь Ермака. Казакам приходилось все время быть настороже, всегда быть готовыми к отражению вражеских набегов. Но и тут не посчастливилось Кучуму, все еще надеявшемуся отбить свою столицу у Ермака. В одном из боев царевич Маметкул попал в плен к казакам.

Победа осталась на стороне Ермака полная. Уже ничто не могло помешать ему чувствовать себя хозяином в Сибири. Но он понимал, что с горсточкой казаков ему все же не удер-

жать завоеванных земель.

Ермак послал Строгановым грамоту, а в ней говорилось, что-де «Бог помог ему, Ермаку, одолеть салтана, взять его столицу, землю и царевича, а с народов присягу в верности».

Ермак грамоту написал и к царю, что «его бедные, опальные казаки, угрызаемые совестью, исполненные раскаянья, шли на смерть и присоединили знаменитую державу к России, во имя Христа и великого государя, на веки веков, доколе Всевышний благоволит стоять миру».

Ермак писал, что он ждет указа государя и присылки им воевод, которым он, Ермак, и сдаст царство Сибирское. Он уверял царя, что казаки готовы к новым подвигам, готовы умереть за царя и родину на поле битвы или на плахе, как будет угодно ему, государю, и Богу.

С этою грамотою поехал в Москву вместе со Строгановым Иван Кольцо.

Царь милостиво принял обоих. Атаман Кольцо с товарищами бил челом царю Ивану Васильевичу царством Сибирским. Он поднес царю подарки Ермака: шестьдесят сороков соболей, двадцать черных лисиц и пятьдесят бобров.

Площади и улицы Кремля и посадов наполнились народом. Церковные благовесты потекли над Москвой, бирючи в нарядных, расшитых серебром кафтанах разъезжали на конях по площадям и выкрикивали весть о присоединении к Московскому государству великого Сибирского царства.

Во дворце шел пир в честь приехавших в Москву Строга-

нова и послов Ермака.

Государь допустил Ивана Кольцо к своей руке, притом же пожаловал Ивану Кольцо и его товарищам денежную награду, подарки сукнами, камками.

Иван Васильевич велел отправить Ермаку помощь. В поход выступили пятьсот хорошо вооруженных стрельцов под началом воеводы Семена Болховского.

Иван Кольцо привез Ермаку в город Сибирь царские подарки: две брони, серебряный кубок и шубу с собственных царских плеч – честь, которую никому никогда не оказывал царь.

В царской грамоте казакам было объявлено вечное забвение их старых вин и вечную благодарность им России за важную, оказанную государству услугу. В грамоте царь назвал Ермака «князем Сибирским», а не атаманом, велел ему «распоряжаться и начальствовать, как было дотоле, чтобы утвердить порядок в земле и верховную государя власть над нею».

Иван Васильевич стал бодрее, воспрянул духом после присоединения Сибири. В беседе с Борисом Годуновым он сказал:

– Могу радоваться тому случаю, но не похваляться. Разбойники, мужики оказались дальновиднее меня и моих бояр. Пока мы сдавали города на западе, они шагнули на восток. Они облегчили тяготу моих неудач. Хвала им! Сие дерзание мужиков говорит о силе их, о непокорливости, о бесстрашии... Они могут быть победителями, они... они...

Царь вдруг остановился, задумался.

– Видишь?! Можно ли того было ждать?! Тысячи людей под началом моих воевод делали меньше горсти беглых рабов. А это знак! Ох, Борис, мало мы знаем черный народ! Всю ночь думал я о том, – что будет дальше? Не дано нам много понимать... Ведь и они о родине...

Задумался и Борис Годунов.

– Великий государь, – тихо заговорил он, – то и я думаю. Черный люд непонятен. Разбойниками, татью величаем мы беглых холопов, что прячутся по лесам и грабят князей и купцов на больших дорогах... Мы почитаем их пропащими людьми, неспособными думать о благе государствия, но, как видится, у них есть мысль, разум, есть воля...

На лице царя застыло выражение недоумения:

– Мысль, говоришь?.. Воля?.. Откуда ты знаешь? И я то же думал...

А через некоторое время с негодованием воскликнул:

– Глупцы бояре, князюшки и дворяне!.. Им и невдомек, что их холопы – люди! Да еще такие, как ты говоришь! Ого-го-го! Мудрено, Борис!

Царь махнул рукой:

– Иди! Не пугайся! Я не хочу, чтобы ты пугался... И я не буду. Довольно мудрствовать.

Борис Годунов покраснел, низко поклонился и собрался уходить.

– Стой! – сказал ему вслед царь. – Моя жизнь недолга уж.

А вам придется жить и дальше. Боюсь я за вас. Береги Федора!

Борис ушел.

Царь долго смотрел в окно в глубокой задумчивости; покачал головой, вздохнул и пошел в свою опочивальню.

VII

Писемский с дьяком Неудачей и с толмачом Бекманом благополучно прибыл в Англию. Правда, нелегко было пройти Ледовитый океан и обогнуть Норвегию, но все же и бури, и льдины, и ветры – все было побеждено кораблем, на котором плыл московский посол. Почти четыре месяца продолжалось путешествие. Мужественно, с большим терпением и пристойной послу царя гордой самоуверенностью держался все это время Писемский на корабле. Бури не пугали его; равнодушно смотрел он на громадные, разъяренные валы, вздымавшиеся выше корабля, готовые затопить его; ни словом не обмолвился он и тогда, когда не было на корабле пресной воды, а его мучила жажда; не роптал он и на перебои в еде. На все смотрел просто, с улыбкой, как человек, которого все это только забавляет, но не нарушает его спокойствия.

Капитан и матросы на корабле диву давались такому хладнокровию московского посла...

В Лондоне Писемского приняли с почетом, но здесь он

узнал, что королева Елизавета отдыхает в своем замке в Виндзоре. Писемского не смутило это. Он решил добиться скорейшего свидания с королевой. Особым вниманием окружили его сановники двора королевы, оставшиеся в Лондоне, и торговые люди из лондонской «Московской компании». Почти ежедневно устраивали они пиры в честь московского посла, стараясь всячески развлечь его. А в Виндзор были отправлены гонцы к королеве с известием о прибытии московского посольства. Послу объявили, чтобы он был готов к свиданию с королевой.

Королевские вельможи хвалили мудрость московского царя, расхваливали ум и преданность престолу самого посла, пили вино за здоровье царя и его посла. Всячески старались они показать свое дружелюбие к Москве.

– Дымно кадят, – сказал, отдуваясь, после одного пира Писемский, – всех святых зачадили. А день за днем уходит – все мы королевы не видим.

Высокий, усмешливый молодой парень Епифан Неудача сострил:

– Думали по часам, а выходит – по годам. Продувной народ здесь.

Писемский похлопал его по плечу, шутя:

– Год, братец, не неделя: все будет, да не теперя. Потерпим. Иной раз это и на пользу.

А за окном серо, туманно. Словно громадные чудища во мгле высятся темные фасады домов. В другое окно посмот-

ришь – мутная даль моря. У берегов прижались суда; над водой голый лес мачт... Мокро, сыро, скучно кругом. Чужбина. И никаких вестей из Виндзора.

В напряженном ожидании прошло еще и еще много дней. Наконец посольству предложили переехать в Виндзор.

И вот однажды явились к Писемскому несколько знатных лордов из королевиной свиты.

«Слава Богу, – подумал Писемский, – пришли за нами. Пора».

Вельможи раскланялись, пожали руки московским людям по своему обычаю, и один из них сказал:

– Мы приглашаем знатных господ принять участие в охоте на оленей. Мы уверены, что знатному господину, министру его величества, московского владыки, придется по вкусу такое развлечение. Королева одобрила это.

Писемский вежливо, с достоинством выслушал англичанина и, поклонившись, сказал:

– На королевином жалованье много челом бью. А гулять, ездить теперь не приходится. Присланы мы от государя к королеве по их великим делам. Мы сюда не гулять, а по важному делу прибыли, но государеву делу до сих пор и почину нет. Да нынче же у нас и пост: мяса мы не едим, и нам оленина ни к чему не пригодится! Не обижайтесь, но охота нас не прельщает.

Он пожал плечами и иронически улыбнулся.

Высокий, худой, бритый джентльмен в зеленом бархатном

камзоле и серых обтянутых до колен штанах с поклоном развел руками и отрицательно покачал головой:

– Мы надеемся, что посол его величества не пожелает огорчить нашу великую королеву. Мы не можем доложить ей о вашем отказе.

Писемский ответил:

– После этих ваших слов можно ли мне, государеву слуге, идти против желания ее величества великой королевы?

Вельможи, удовлетворенные таким ответом, вышли.

Писемский почесал затылок, тяжело вздохнул:

– М-да. Милость велика, да не стоит и лыка. Ждали невесту государю высмотреть, а придется олениной оскоромиться.

И, покачав головой, усмехнулся:

– Ой, чудной народ, ой, чудной народ! Замотать нас хотят. Наберемся же терпенья.

– Что делать, Федор Андреевич, – сказал Епифан Неудача, – ради государя и оленинкой оскоромишься... Вон я на обеде у королевина казначея какую-то лягушку съел. После того она три дня в брюхе прыгала... Ради государя на все пойдешь.

– Ладно, отмучаемся, и мы людьми станем! – засмеялся Писемский.

...Наконец посол Федор Андреевич Писемский, его дьяк Епифан Неудача и толмач Бекман были приглашены в замок. Окруженные нарядно одетыми вельможами и в сопровожде-

нии торговых людей «Московской компании», они прошли анфиладу роскошных дворцовых палат по расшитым золотыми узорами коврам.

Писемский шагал важно, неторопливо, подняв голову, высокий, дородный, готовый до конца отстаивать интересы своего государя. За ним следовали дьяк Неудача, с пером, чернильницей у пояса и со свитком бумаги в руке, и толмач Бекман, худой, маленький, подвижный человечек с козлиной бородкой.

Посол и его провожатые вошли в большой мраморный зал. На высоком троне, сияя блеском своего пышного платья и массою драгоценных камней, под красивым бархатным балдахином сидела сама королева Елизавета. Московские люди были поражены роскошью, богатством и блеском всей обстановки приема.

Вокруг королевина трона, на ступенях, стояла толпа нарядно, цветисто одетых вельмож. В зале царила необыкновенная тишина; слышны были только шаги посла и сопровождавших его людей.

Когда Писемский приблизился к трону, королева поднялась.

Писемский, став на одно колено, поклонился и громко передал королеве приветствие царя Ивана Васильевича.

Елизавета внимательно выслушала посла, а потом, сделав несколько шагов вперед, взяла государево письмо и велела своим пажам принять соболя и другие подарки царя Ивана.

С приветливой улыбкой она сказала Писемскому, что, к сожалению, не знает русского языка и не может на его родном языке выразить ему свою горячую благодарность, но это не мешает ей питать самые дружеские чувства к царю.

Она спросила о здоровье Ивана Васильевича и тут же высказала глубокое сожаление по поводу кончины царевича Ивана.

В расшитом серебряными узорами белом платье, стройная, высокая, красивая королева своим видом невольно заставила Писемского подумать: «Вот бы нашему государю невеста под стать!»

Она была оживленна, приветлива и не скупа на слова.

Писемский сказал:

– Наш государь Иван Васильевич приказал мне передать вашему величеству, что он любит вас как мудрую, великую королеву.

С бедовой улыбкой Елизавета ответила:

– И я люблю его не менее. Я очень желаю видеть царя когда-нибудь собственными глазами. Это – моя мечта.

Затем она спросила Писемского: нравится ли ему Англия?

Писемский ответил:

– Страна, которой правит такая мудрая, прекрасная королева, навсегда останется в доброй памяти у меня, у московского посла, о том я и доложу своему государю. Англия – многообильная, многолюдная и веселая страна, и русский

царь гордится дружбою с ней.

Королева Елизавета спросила Писемского: спокойно ли теперь в Московском государстве?

Писемский ответил, что мятежи все давно утихли и слухи о них постоянно распускают в Европе недруги царя. Преступники давно раскаялись, а государь объявил многим свою милость. Казней теперь на Руси нет. Тихо и хорошо стало.

После приема в королевском дворце в честь русского посла был устроен торжественный обед.

Из дворца королевы Писемский вернулся вполне довольный приемом королевы. Она очень понравилась ему. Одно беспокоило, что дело затягивается. Пока еще никаких разговоров о военном союзе России с Англией и о сватовстве царя Ивана к Марии Гастингс не произошло.

Хорошее впечатление от первой встречи с королевой Англии скоро рассеялось, так как опять потекли томительные дни ожидания, опять нудные, бесплодные разговоры с вельможами.

Писемский стал наотрез отказываться от веселых пиров, не желая принимать участия и в прогулках по виндзорским рощам. От охоты, на которую его часто приглашали королевские придворные, он открещивался с негодованием.

– Мы сюда приехали, – говорил Писемский, – за делом, а не для игрушек. Мы – послы, а не стрелки. Бог с ней, с олениной! Не надо нам ее!

В придворных кругах пошли слухи о строптивости мос-

ковского посла.

Наедине со своим дьяком Писемский, расстроенный, обиженный, вздыхал:

– Далась им эта охота на оленей, дьявол ее побери! Тошнить уж меня стало от их ухаживаний. Царь, гляди, нас там заждался. Сердится! Иван Васильевич не любит проволочек в деле, которое задумает. А мы тут толчемся на одном месте. Государь не зря послал нас. Он хочет вернуть море любой ценой. И мы должны его волю выполнить.

Царица Мария в бурную осеннюю ночь разрешилась от бремени – родила сына, которого и назвали Димитрием.

Царь неотлучно находился при ней. Он видел, как обмывали маленькое розовое тельце новорожденного мальчика. Он слышал его слабый писк, и слезы проступали у него в глазах. Ему было жаль царицу Марию. Он сознавал, что не уделяет ей той мужней заботы, которую уделял он в молодые годы прежним своим женам. Он чувствовал усталость, старость. Его в последние дни преследовала даже мысль о близкой, как ему казалось, смерти.

Он склонился над постелькой малютки. Стал вглядываться в черты его лица. Что-то ждет его, этого царевича, впереди? Ему, царю, было понятно, что не видать уж ему этого сына взрослым. Здоровье подорвалось. Сердце временами замирает, отказывается работать. И даже присланный королевой Елизаветой знаменитый лекарь Елизарьев не в силах

облегчить болезнь.

Царица Мария лежала на постели мертвенно-бледная, измученная тяжелыми родами, жалобно смотрела на царя, стараясь не стонать.

Он наклонился над ней, поцеловал ее.

– Ты вся в огне!.. Господь с тобой, Мария!.. Не сердись на меня...

– Полно, государь... – почти шепотом произнесла она.

Лицо ее теперь показалось царю совсем детским, как у малолетней девочки.

Заплакал новорожденный. Царица в беспокойстве зашевелилась, пытаясь поднять голову.

– Что с тобой, государыня?! Лежи спокойно... Я подойду...

Царь Иван поднялся, подошел к постельке царевича, оттолкнув мамок.

– Ну, ну, не беспокой мать! – с напускной строгостью сказал царь и тихо рассмеялся. – Пока твой отец жив, спи... не беспокойся. Отец не даст в обиду...

Детский плач прекратился.

Царь указал царице рукой на ребенка:

– Слушает отца... Молодец! А теперь я пойду...

До царя донесся едва слышный голос Марии:

– Не уходи. Мне страшно!

Иван Васильевич поморщился. Он почувствовал внезапно нахлынувшую на него острую тоску.

– Не уйду. Останусь, – сказал он, пересиливая себя.

Сам больной, немощный, изнывающий под тяжестью забот и тревог, царь Иван с ужасом подумал, что он должен быть опорой жене, детям, что за него все держатся... Но какая опора?!

Тяжело вздохнул он, перекрестившись.

– Со мною тебе легче, Мария? Да?!

Она утвердительно кивнула головой. И это его еще больше повергло в уныние. Мелькнула мысль: вдруг он и в самом деле скоро умрет, что тогда с ней будет? Разве сможет она выдержать напор алчной боярщины? И сможет ли ее спасти от беды царевич Федор?!

Лучше не думать!

Царь сердито закричал на мамок, приказав оставить его одного с царицей. Мамки в страхе удалились.

– Государь, ты любишь меня? – шепотом спросила царица.

– Да, – поглаживая ее по голове, ответил царь.

В осенней позолоте кремлевские сады.

Погода не по времени теплая, солнечная.

Царь Иван Васильевич с царицей Марией, уже вставшей после родов с постели, и с сыном Федором совершает прогулку на паруснике по Москве-реке. Большое широкое государево судно убрано персидскими коврами. На бортах цветная роспись: драконы, сказочные птицы и всякие иные «чюдесы».

Царь и царица Мария сидят у носовой части палубы на

возвышенном месте, в бархатных с позолотой креслах. Ступенью ниже царевич Федор.

В нижней части судна, у широких окон, гребцы – двадцать юношей в голубых шелковых рубахах. Весла вздернули вверх, предоставив судну идти самостоятельно, вниз по течению.

Ближние к царю дворцовые бояре расположились позади царской семьи на золоченых скамьях. Сидят строгие, неподвижные, со взглядами, устремленными к царской семье.

Вдоль бортов судна – обтянутая кольчугами стража с секирами на плечах.

Судно медленно движется вниз по реке. Паруса едва-едва колышутся под легким дуновением попутного ветерка.

Молодые, румяные лица гребцов сияют счастьем. Еще бы! Немалая честь незнатным дворянам вести на веслах государево судно.

Царь молчит, но не суров. Лицо его худое, морщинистое, желтое. Мутным, усталым взором окидывает он уплывающие назад берега.

Тихо журчит вода под острием килевой части. Кругом пустынно. Не видно даже москворецких рыбаков. Государева охрана накануне запретила обывателям в этот день показываться на реке.

Лиственный лес большими, багряно-золотистыми валунами слоится, покрывая собою прибрежные холмы. Стволы березок вытянулись, белоснежные, прямехонькие – не шелох-

нутся, будто это государевы рынды, построившиеся для проводов царя.

Когда судно проплывало мимо большой заводи, тесно окруженной кленовой рощей, Иван Васильевич поманил к себе стоявшего во главе стражи Годунова.

– Вели остановить, – тихо сказал он. – Причальте к берегу.

Годунов дал знак рукою рулевому и гребцам. Судно плавно, крутым полукругом, вошло в заводь, остановилось вблизи берега.

– Гусляров и домрачей! – кивнул царь Бельскому.

Из трюма вылезли несколько древних старцев. У одних в руке гусли, у других домры. Около царева кресла старцы упали на колени, прильнув лбами к ступеням помоста, у самых ног царя.

– Буде! Вставайте! – нахмурился царь, взялся за голову, закашлялся. Затем, отдохнув, сказал: – Спойте про далекие походы Олега Храброго, как он море переплывал и византийские земли топтал.

Скорехонько поднялись гусляры и домрачи с пола, помолились на все четыре стороны, поклонились до пола государю и уселись, поджав под себя ноги, полукругом, против царского места.

На судне стало так тихо, что слышно было, как играет в воде серебристая плотва, как мышь лесная в страхе шмыгнула в траве, шурша сухим осенним листом.

Зазвенели струны, полилась песнь старцев:

Уж давно то было,
Как на святой Руси,
На святой Руси,
В славном Киеве
Всколыхнулся люд,
Провожая князюшку,
Князя храброго,
Князя мудрого,
Во поход большой...
То не буря и не молния, –
Паруса Олега поднялись над морем...

Лица старых гусляров оживились, глаза блеснули гневом.

Песня рассказывала о том, как в древние времена по днепровским водам в Черное море уходили с торговлей русские купцы и как в Цареграде их обижали греки, грабили, побивали, а кого и в полон брали. Не стерпело сердце у князя Олега, и повел он на ладьях свое войско по Черному морю, чтобы жестоко наказать Цареград. А в каждой ладье сидело по сорока воинов. И в голове каждого воина была та же мысль, что и у Олега: отомстить грекам за их злодейства.

Долго ли, мало ли плыли Олеговы ладьи, но, хорошо зная направление ветров, киевские мореходы прошли море смело, не потеряв ни одной ладьи. Никакие морские волны не могли одолеть силы острокрылых русских парусов.

И вот однажды на заре приблизилось Олегово войско к

самому Цареграду. Ступила нога русского войска на греческую твердь. В великом страхе затворили греки город железными цепями, заперли и городскую гавань.

Князь Олег велел втянуть ладьи на берег и поставить их на колеса. Ветер был добрый, попутный. Затрепетали паруса, и по суху, как по морю, с песнями помчались воины прямо к стенам города, чтобы скорее взять его и строго наказать греков за давнишние их обиды и злодейства.

Заметались в городе греки. В страхе стали кричать: «Русь идет! Что будем делать мы?! Это не Олег, а сам святой Димитрий на нас пошел!»

И вздумали просить мира у князя. Отправил Олег своих послов к грекам. Заповедал: взять с греков дань по двенадцати гривен на человека, а важнее того – наказал своим послам Олег требовать у греков, чтобы, когда приплывают в Цареград русские послы, брали бы они хлебный, столовый запас, сколько хотят, и мылись бы они в бане, а пойдут русские люди домой, чтоб давали им греки на дорогу съестной запас, якоря, канаты, паруса, сколько надо, ибо Русь любит море и не отстанет от него никогда.

– Нет! Не отстанет! – с силой стукнул об пол своим посохом Иван Васильевич. – Море Западное будет нашим! Будет.

Царь покраснел, весь пришел в движение.

Сидевшие позади него бояре испуганно вздрогнули, прислушались к словам царя. Все они знали, что царь не расстается с мыслью снова отнять у шведов Нарву и другие города

на Балтийском море.

Гусляры смущенно умолкли.

– Что же вы?! – нетерпеливо крикнул царь. – Иль батогов захотели? Сказывайте дальше!

Снова зазвенели струны, и потекли напевные слова старческих голосов.

А как пошел Олег с данью домой, он наполнил свои ладьи всяким греческим товаром. Но больше всего набрал он шелковых и всяких иных драгоценных тканей.

И велел Олег воинам сшить из тех греческих шелков паруса на русские ладьи, а на вратах Цареграда повесить свои щиты: пускай знают греки, что их победил русский князь!

Поплыли по морю домой, в Русскую землю, Олеговы ладьи, и опять море ничего не могло сделать с Русью: паруса Олега оказались сильнее черноморских демонов.

Князь Игорь, и Ольга-княгиня, и Святослав – сын их – бесстрашно плавали по водам, да и своим внукам и правнукам то заповедали.

Гусляры, закончив свой песенный сказ, низко поклонились государю Ивану Васильевичу.

– Одари! – кивнул царь головой Бельскому.

Гусляры еще раз земно поклонились царю, ушли, спустились опять в трюм.

Иван Васильевич после этого некоторое время сидел молча, в задумчивости. Над водой пролетели сороки, оглашая тишину дерзким карканьем; где-то далеко, в глубине леса,

слышалась песня девушки, собиравшей грибы.

Обернувшись к боярам, царь поднялся с кресла и сказал:

– Слыхали, мои добрые бояре, с каких пор русские князья плавали по морям?! Не стыдно ли нам теперь на этой посудине около своего кремника [25] прохлаждаться?

Бояре, стоя, выслушали царя.

– Великий государь! – сказал седой как лунь боярин. – Так-то безопаснее плавать, под стенами кремника да по родной реке. Слышали мы, сколь ужасное несчастье постигло фламандские и аламанские корабли в Средиземном море... На пути в Гишпанию, в Средиземном море, во время большой грозы погибли четыре тысячи человек, и все драгоценное добро пошло ко дну.

Иван Васильевич крикнул:

– Молчи! Невежда! – и тихо, но взволнованно продолжал: – На пуховой постели нежиться с боярыней еще того более не опасно! Однако для того ли создал нас Творец по образу и подобию своему?! Бог сотворил мир, он обитает в великих пространствах, Бог вездесущ, Бог бесстрашен, всюду поспевает. Какое же подобие Творца человек, коли он дальше своей избы пойти куда-либо боится?! И достоин ли быть подобием Божиим человек, а тем более – князь, коли он прячется от больших, смелых предприятий, коли он страшится их? Не дело ты сказал тут, боярин. А тем, кто утонул в Средиземном море, Господь простит их грехи, не оставит их без

[25] Кремник – кремль.

своей милости. В жизни своей стремился я не к легкому, а к трудному.

Наступило продолжительное молчание. Бояре притихли.

– Будем и мы достойными киевских витязей. Будем и мы, как хозяева, ходить по морям... Будем, будем!

И, обратившись лицом к небу, Иван Васильевич перекрестился, прошептав:

– Помоги, Господи!

После этого царь приказал вывести судно из заводи. Водяная поверхность, отражавшая голубое небо и прибрежные деревья, покрылась волнами, на которых желтыми и красными звездами колыхались опавшие с кленов листья.

Вернулся с прогулки царь сердитый, возбужденный.

Оставшись наедине с царицей, он взволнованно стал ходить из угла в угол царицыной палаты.

– Слыхала, что старые колдуны пели? – И, не дождавшись ее ответа, он продолжал: – Каждое слово их терзало мое сердце. Вот какие были на Руси князья! Они мне оставили великое богатство, а я его все измотал... Они на Византию ходили и заставляли ее покориться их воле. По морю ходили! Слышишь! Бесстрашные!

Царь стал хулить себя, называя свое правление лютовством, а себя «лютым зверем».

– Всех измотал: и народ, и дворян, и войско, и даже...

Он, обессиленный, побледневший, грузно сел в кресло, опустив голову на грудь.

Царица Мария испуганно подскочила к нему, стала его ласкать, целовать, он рукою отстранил ее.

– Да... и сына... Иванушку!

Царица стала на колени перед иконой. До ее слуха донеслось: «Скоро, скоро и я умру! Жди, жди меня!..»

Мария поднялась с пола. Ей самой было плохо. Бессонные ночи измотали ее. Новорожденный царевич Димитрий по ночам плохо спал, а мамок царица к нему не допускала. Обессиленная, мучимая болью в животе после родов, она легла на постель.

Царь, тяжело вздохнув, вышел из царицыной палаты.

VIII

В царевой рабочей комнате – Иван Васильевич и Борис Годунов. Царь сидит за столом, быстро перебирая четки, хмурый, злой. Годунов, как виноватый, вытянулся перед ним, опустив голову и тихо переминаясь с ноги на ногу.

– Ну, что скажешь мне про того Игнатия?!

Голос царя зловеще приглушенный; взгляд острый, сверлящий душу, такой взгляд, когда от царя можно ожидать всего, даже казни. Под тяжестью такого взгляда царя немало бояр, князей и простых служилых людей прямо из этой комнаты ушли на тот свет.

– Я ставил того изменника царевичу Ивану в пример. Указывал на него... Почитал его, с твоих слов, верным слугой

мне... Зачем обманул меня? Прикрывающий изменника – тот же изменник.

– Государь, так ли это? Изменник ли он?! Мы знаем, что многих наших воинов побили и в плену. Кто знает...

Царь нетерпеливо хлопнул со всею силою рукой по столу:

– Не успокаивай меня! Привык я ждать худшего, нежели лучшего! Приучили вы к тому меня. С малых лет потерял ваш царь веру в людей. Легче для человека разумного узнать поддельность золота и серебра, нежели двуличность человека. Получать милости от царя, бражничать с ним – много найдется у него друзей, а дело царское справлять честно – мало охотников. Жизнь то показала. Ну, говори, слушаю тебя!

– Трудно, батюшка государь Иван Васильевич, мне говорить в защиту того, кого я не считаю преступником. Должен прежде я увериться в том; что болтают бродяги, злые люди, – не могу я почесть за святую правду. И на тебя, государь, болтливые гадины изливали реки клеветы и лжи. Казни меня, но я от своих слов не отступлю.

Царь терпеливо слушал Годунова.

– Хотел бы и я так же думать о том молодце, как ты... Не худо разувериться во зле, но как?

В дверь постучали. Годунов открыл.

В комнату вошел князь Мстиславский. Низко поклонился царю.

– Говори. Чего ради поторопился? Обождал бы.

Мстиславский вздохнул, развел руками:

– Винюсь, великий государь, – в Дорогомилове задержали мои люди человека, а у него нашли планы с польскими буквами... О том донесла мне стража.

– С польскими буквами?! – задумался царь. – Что за человек?

– Не ведаю, государь... Наш, русский.

– Вели привести его сюда... Обыщите, нет ли ножа?

– Слушаю, государь!

Царь Иван покачал головою:

– Смельчак! Хотел бы я посмотреть на него. Вот, гляди, каковы есть люди у короля!.. Жизни не жалеют!.. Списывает у нас под носом наши же земли и крепости... В Риме и планы Москвы уж есть, привез Тедальди. А я только Богу все молюсь, чтобы послал он мне добрых, совестливых слуг... Приказываю я тебе через соглядатаев наших разведать: изменник или нет тот Игнатий? Не пожалей казны! Вот мой сказ тебе, Борис. Иди!

– Слушаю, великий государь! – громко ответил Годунов на слова царя, поклонился и вышел из государевой комнаты.

Царь вызвал постельничьего, велел ему позвать Бельского.

Когда тот явился, царь с усмешкой произнес:

– Не любишь ты Годуновых! Вижу, Богдан, поперек дороги они стали тебе. Да и Нагим тоже, и Никите Юрьеву. Не ошиблись, слуги мои верные, Годунов – сила! Не справиться

вам с ним. Чую, возьмет он верх надо всеми вами... Опалу ждете царскую на него?.. Не так ли?! О, если ему срубить голову, как бы возрадовались вы!

Бельский смущенно заморгал глазами, не понимая, зачем царь говорит все это.

– Вот бы вам потеха была, кабы я опалу на него наложил! Ревнивы вы. Смешно смотреть мне, как вы следите за моими милостями к людям. Уж и теперь, замечаю я, сторониться вы его стали, зазнаваться начали перед ним. Беду почуяли за его спиной. Не рано ли? Не поторопились ли? Насмотрелся я на своих придворных холопов. Почему ревнивы? Потому что любят себя больше царя и родины, оттого и грызутся из-за близости к царю. Невелика честь государю иметь таких усердных слуг!

После некоторого раздумья Иван Васильевич сказал:

– Трое уж мне из вашей толпы доносили на Игнатия Хвостова, что служил с Никитой Годуновым, – будто он изменил мне. И ты тоже. А скажи: так ли это? Говори, говори, говори... Почему вы Игнатия Хвостова называете изменником?

Бельский с низким поклоном, жалко съежившись, ответил:

– От смоленских дьяков то слышал я...

– А они от кого?

– Не ведаю, государь...

– Мало ты знаешь... Пошел вон! Болтун! Неверный раб! – Царь ударил Бельского по плечу посохом. Бельский быстро

скрылся с глаз царя.

Оставшись один, царь опять раскрыл большую книгу в кожаных досках, привезенную ему Поссевином. В ней было описание всего того, что говорилось на Тридентском соборе. Он знакомился с ней по переводу, сделанному одним католическим монахом.

С усмешкой смотрел царь на перечисление в книге всяких вер, против которых вооружились римские папы. Тут и лютеранство, и гуситы, и кальвинисты, англикане, пуритане и много других толков. И между всеми царило несогласие, а короли все перессорились из-за них.

Царь сердито плюнул. Его привело в негодование, что папа и лютеране смеют посягать на русскую веру, пытаются втянуть и россиян в церковную свалку.

Вот почему эту книгу и поднес ему, царю, Поссевин, что в ней показано, как на том соборе в Триденте возобладало направление строго папистское. Папу на этом соборе католики превознесли выше всех государей.

Еще раз зло плюнул царь, сердито закрыв книгу.

«Благодарение Господу, одна у нас вера; с нас довольно нашей христианской, русской веры... Попы у нас ходят под государями, и Бог за то никогда не наказывал нас... Русь крепнет. Войны, и пожары, и моры, и измены – все было, и опять будет, но Русь от того не сгибнет, подобно иным царствам... Крепка она!»

Раскрасневшись, взволнованный, он отошел от стола.

Постучали.

Опять Мстиславский; низко поклонился:

– Дозволь, государь, слово молвить...

– Говори.

– Тот молодец – наш, русский. Игнат Хвостов назвался.

Царь с удивлением подался в кресле назад, пожав плечами:

– Хвостов?

– Так, великий государь.

– Веди его сюда. Живо! Скорее!

Царь стал быстро ходить из угла в угол своей комнаты.

Вскоре вернулся Мстиславский. Позади него шел Хвостов.

– Эк ты какой нарядный! – насмешливо оглядел с головы до ног Игнатия царь. – Говори, где был, что видел.

Игнатий стал на колени:

– Батюшка государь, бежал я из польского плена...

Хвостов стал рассказывать царю обо всем, что с ним было. Упомянул и о Курбском, и о мельнике, который подслушал разговор Курбского с Колыметом.

Когда царь выслушал рассказ Игнатия до конца, его первым вопросом было:

– Стало быть, Курбский через своих похлебцов оговаривал моих верных людей? Мельник то слышал?

– Истинно, государь, так мне передал тот литвин, мельник.

Царь задумался. На желтом, болезненном лице его снова появились красные пятна.

– А где тот план, что ты привез с собой?

Мстиславский подал царю Ивану свиток бумаги.

Царь развернул его. Стал внимательно рассматривать.

– Гоже... хорошо... ладно... – с торжествующим выражением на лице, про себя говорил он.

Свернув опять свиток, Иван Васильевич пристально посмотрел в лицо Игнатию, продолжавшему стоять на коленях.

– Встань! – махнул он рукой.

Хвостов поднялся.

– Вижу, что верный ты мой холоп. Иди к Никите Годунову, скажи ему: государь не гневается на него, но рад, что имеет таких слуг, как он. Так и скажи.

Обратившись к Мстиславскому, царь строго проговорил:

– Накажи Богдану Бельскому, чтоб из моих конюшен подарили ему оседланного, в шемахинской сбруе, лучшего коня и одежды лучшие чтоб ему дали. Пускай Бельский сам подведет Хвостову дареного того коня. Слышишь, – сам он подведет коня.

– Слушаю, великий государь, слушаю.

– Отныне сей молодец будет в моей дворцовой страже.

Снова опустился на колени Игнатий и поблагодарил царя за его милости к нему.

Иван Васильевич невольно воскликнул, глядя на удалявшегося Игнатия:

– Экий дородный да пригожий детина!

После ухода князя Мстиславского с Игнатием царь разложил на столе принесенный ему свиток и принялся внимательно рассматривать его. Перед ним предстали во всей наготе замыслы королевских вельмож о новом походе, вкупе с крымским ханом, на Россию.

Тому, что польские паны думают о новом походе на Русь, он не удивился, ведь и сам он спит и видит, чтобы снова двинуться на короля и отнять у него Ливонию. Его удивило желание панов примириться с татарским ханом, вечным врагом христиан.

«Выгода выше Бога!» – улыбнулся царь.

Феоктиста Ивановна подошла к воротам, чтобы посмотреть, хорошо ли они заперты. С некоторых пор у нее появилась какая-то боязнь чужих людей и всяких посланцев из приказов и других пришельцев.

Страх и печаль ходили за ней по пятам. Никита уж сговорился с игуменьей, чтобы Анну отдать в монастырь. После того и она, Феоктиста, примирилась с этим, ибо не хватало уже у нее сил отговаривать от этого дочь.

Но только Феоктиста захотела потрогать запоры на воротах, как на воле раздался знакомый голос. Она вздрогнула, холодок пробежал по ее телу.

– Кто там? – крикнула она.

– Отворите, это я – Игнатий!

Ничего не понимая, она заторопилась в дом к мужу. Вышел Никита Годунов.

– Ты ли это, Игнатий? – крикнул он.

– Батюшка, Никита Васильевич, как есть я, Игнатий, – донесся с воли голос Хвостова. – Пусти меня! Не опасайся.

– Как тебя пустить-то?! – растерянно произнес Никита.

– С государевым и милостивым словом к тебе!

– Коли так, входи, – обрадованно вздохнул Никита.

Ворота открылись, и вошел нарядно одетый Игнатий.

Облобызались.

– Государь велел передать: он не гневается на тебя, но рад, что имеет таких слуг, как ты, – весело произнес Хвостов.

– Слава тебе, Господи! – широко, с чувством перекрестился Никита. – Ну, идем ко мне в хоромы. Идем, дорогой гостьюшка... Рассказывай!

Феоктиста бегом побежала в дом. Она сказала Анне о том, что вернулся Игнатий. Анна сначала взглянула на нее испуганными, недоверчивыми глазами.

– Бог милостив, доченька моя милая, вернулся, – со слезами на глазах повторила мать.

Анна вскочила с постели, побежала на крыльцо.

Ей навстречу шли отец и Хвостов.

– Любуйся... Вот он! – сказал Никита Годунов. – Смотри!

Анна, забыв про отца, про мать, про все на свете, бросилась Игнатию на шею и горько разрыдалась. Он горячо поцеловал ее, тихо проговорив:

– Милая! Как тосковал я!.. Эх, если бы ты знала!

Феоктиста Ивановна засуетилась, чтобы достойно отпраздновать неожиданное великое счастье.

– Сказывай еще раз, что сказал государь? – со слезами в глазах спросил Никита.

– Государь батюшка сказал, что он не гневается на тебя, но рад, что имеет таких слуг, как ты!

Никита снова обнял Игнатия, счастливый похвалой царя.

– А меня государь взял к себе в дворцовую стражу. Телохранителем буду у него.

– Дай еще раз облобызаю тебя и за это!

Анна не спускала глаз с Игнатия.

Никита заметил это и, указав на нее Игнатию, сказал весело:

– Гляди, как она смотрит на тебя! Глаза-то какие!

Анна не смутилась. Слишком глубоко ее горе было в отсутствие Хвостова, и теперь она считала себя свободною в выражении своих чувств. Отец был рад, что она ожила, повеселела.

– Ну, что теперь сказать матушке игуменье? – шутливо спросил Никита дочь. – Пойдешь ли в монастырь?

– Что ты, батюшка, Бог с тобой! Ни за что не пойду.

Никита Васильевич громко рассмеялся.

А когда все уселись за стол, Никита Годунов стал рассказывать о своих невзгодах: о том, как ему и его семье пришлось пострадать за него, за Игнатия.

– Едва руки на себя я не наложил... – тяжело вздохнув, закончил он свой рассказ. – А теперь рассказывай о себе ты.

Феоктиста Ивановна, наблюдая тайком за дочерью, собрала ужин. Никита Васильевич налил всем браги.

Выпили за здоровье государя.

Отдохнув, Игнатий стал рассказывать о себе.

И мать и дочь, слушая его, проливали обильные слезы. И только когда рассказ дошел до беседы с царем, все снова повеселели.

Был тихий, осенний вечер. Стемнело. В окно влетали ночные бабочки на огоньки свечей. Глаза Анны блестели счастьем. Игнатий старался сдерживать свой восторг, скрывать до поры до времени свои чувства к любимой девушке.

В глазах отца и матери светилась радость, и то, о чем все они думали в это время, каждый пока держал при себе.

В селе Гринвич, на правом берегу Темзы, во дворце, состоялся совет министров английской королевы с московским послом Писемским.

Богатая, роскошно обставленная палата в королевском замке была полна знатными сановниками Елизаветы и торговыми людьми из «Московской компании».

Начался разговор с заявления Писемского королевиным министрам, что московский государь, великий князь Иван Васильевич считает польского короля, союзника папы и цесаря, – с которыми ее величество королева Англии в недруж-

бе, – своим врагом, врагом России.

Писемский говорил стоя, высокий, важный, освещенный солнечным лучом, пробившимся в палату сверху сквозь узкие цветные окна. Голос его звучал твердо, громко, убеждающе. Он приводил доказательства крепкой связи короля Стефана с римским папою и германским императором.

Королевины сановники диву давались бойкости и находчивости в словах русского посла. Удивленно перешептывались они между собою. При всей осторожности и недоверчивости Писемский был настойчив и неуступчив в своих требованиях.

В глубокой тишине, царившей в палате, он говорил, что царь Иван Васильевич, жалуя у себя англичан, как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с королевой Елизаветою. Царь хочет иметь с ней «одних приятелей и одних неприятелей», «вместе воевать и вместе мириться». Королева может ему содействовать если не деньгами, то оружием, а если не оружием, то деньгами. Царю нужны: наряд огнестрельный, доспехи и другие воинские снаряды.

Английские вельможи смущенно переглядывались между собою.

– ...Нам нужны, – продолжал Писемский, – сера, нефть, медь, олово, свинец и все, что полезно в военное время.

Выслушав до конца речь московского посла, англичане повели оживленную беседу между собой.

Писемский, усевшись в кресло, с достоинством осматривал находившихся в зале.

Поднялся высокий, бритый, седой вельможа.

– Мне хочется спросить московского гостя: разве у России война с Польшей и Литвой не кончена? Римский папа хвалится примирением московского государя с королем Стефаном.

Поднялся Писемский.

– Папа может хвалиться чем ему угодно, – с усмешкой ответил он. – Государь наш хорошо знает, кто ему друг и кто ему недруг. В этом можете не сомневаться.

После продолжительной беседы министров с Писемским решено было приступить к составлению договора.

Сановники взялись за это дело с особою торжественностью, усердно помолившись Богу. Предложения царя они принимали полностью.

После составления договора Писемский стал просматривать договорные статьи. Он обратил внимание на то, что министры, изъявляя согласие королевы на предложения царя, именовали Ивана Васильевича братом и «*племянником*« Елизаветы. Затем они вставили в договор выражение «царь *просит* королеву». И наконец – министры записали в договор условие, чтобы никому, кроме англичан, царь не разрешал торговать в земле Двинской, в Соловках, на реке Оби, Печоре и Мезени.

Писемский с неудовольствием произнес:

– Царь – брат, а не *племянник* вашей королевы. Царь объявляет волю свою, требует, спрашивает, а не *просит*. Вы хотите, чтобы была включена в договор статья о дозволении торговли в России одним аглицким людям. Но возможно ли это? Пусть советники королевы рассудят: можно ли Аглицкой земле пробыть с одним русским торгом?! А с другими землями не торговать и к себе других купцов не пускать ни с какими товарами?! Если же Аглицкой земле с одним русским торгом быть нельзя, то как же русским пробыть с одним аглицком торгом?! Пристани наши открыты для всех мореходов иноземных. Всем мы рады, кто с добрым делом к нам жалует!

Министры после этой речи Писемского вычеркнули в договоре слово «племянник», вычеркнули и слово «просит».

Но они заявили, что хотели бы сказать кое-что и с своей стороны.

Один из них поднялся с своего места и спокойно, разведя руками, заявил:

– Нам не хочется, чтобы русские забыли о тех великих трудах, опасностях и издержках, какие выпали на долю английских мореплавателей, совершавших далекий путь к берегам северной России, чтобы завязать дружескую связь с русским народом. Поэтому неудивительно, что мы требуем особенных для себя выгод против других купцов. И то мы требуем себе такой льготы только в Двинской земле.

После этого сановника поднялся другой англичанин.

Он возражал против новой пошлины, введенной в России царем. Эта пошлина тяжела, неприемлема для английских торговых людей.

Слушая речи сановников королевы, Писемский покачивал головой, выражая несогласие со словами говоривших, и, когда они кончили, он проговорил, удивленно пожав плечами:

– В какой земле во время войны пошлины на товары не повышаются? Ваши купцы, долго будучи у нас свободными от всякой пошлины, обогащались неслыханно. И теперь наш государь установил с ваших купцов пошлину половинную, не как с иных. Имея разорительную войну с Литвою, ханом и другими врагами, не мог наш государь не прибегнуть к повышению пошлины. Это всякий должен понять.

На том и закончилась беседа министров Елизаветы с Писемским.

Оставалась недоговоренность о сватовстве царя к Марии Гастингс.

Королева Елизавета пожелала отложить сватовство до тех пор, пока поправится ее племянница после оспы, которой она в недавнее время болела.

Царь Иван пристрастился к игре в шахматы, подаренные ему одним итальянским гостем.

С ним часто соревновался в шахматной игре присланный в Россию к царю врач Роберт Якоби, прозванный Елизарье-

вым.

В наступившие зимние вечера царю доставляла особое удовольствие шахматная игра.

Однажды, играя с врачом, царь сказал:

– Меня осуждают там, за морем, ваши писаки, будто я страшное злодеяние учинил в Новгороде... Но велико ли было милосердие короля Людовика Одиннадцатого у франков, обратившего в пепел и тление свои города Льеж и Аррас? Измену жестоко наказал он. И дацкий владыка Христиан многие тысячи людей извел за измену. А Мария Тюдорова аглицкая своими бабьими руками усекала головы недругам.

Роберт Якоби, чтобы угодить царю, привел в пример герцога Альбу, учредившего «Кровавый совет» в Нидерландах и казнившего восемнадцать тысяч человек за неповиновение испанским властям. Он привел в пример даже и свою королеву, «мудрейшую из всех правительниц, – как он сказал, – когда-либо существовавших на земле». Он рассказал царю, как двенадцать лет тому назад она казнила около тысячи человек в северо-западных провинциях Англии.

Выслушав его, Иван Васильевич засмеялся.

– В своего отца пошла твоя королева... Король Генрих и женам своим головы рубил.

Роберт Якоби промолчал. Царь оживился.

– Мне писал Максимилиан, немецкий цесарь, какую кровавую гульбу учинил король франков в ночь под Варфоломея... В его королевстве в одну ночь много тысяч народу пе-

ребито вместе с грудными младенцами в угоду католическим попам. Столько крови король франков без ума пролил. Глупец! А папа Григорий даже знак серебряной, чтоб на груди носить, в честь сего кроволития выбил... Тоже глупец! И собака!

Роберт Якоби, хорошо игравший в шахматы, чтобы польстить царю, заведомо проигрывал все партии.

И в этот раз также в выигрыше остался царь Иван. Ему это доставило большое удовольствие. Он весело рассмеялся, похлопав по плечу англичанина, который делал вид сконфуженного своей неудачей. Царь понимал, что ему уступают в игре, и принимал это как должное, отнюдь не выдавая себя, не показывая виду, что он выиграл благодаря тому, что из уважения и страха ему уступают.

Он насмешливо подшучивал над «проигравшимся» Якоби, а тот вздыхал после этого еще больше, в растерянности качал головою.

Царь и тут хотел быть царем: и все другие, кто с ним играли в шахматы, поступали так же, как и Якоби.

Откинувшись на спинку кресла, царь сказал с улыбкой:

– Что-то Писемский долго мне невесту не везет. Послушал я тебя, посватался к ней, а видишь, как дело затянулось. Ты говоришь, красива она? Не так ли?

– Государь, смущает меня одно: какова бы она ни была красавица, все одно не стоит она тебя. Столь великому и мудрому владыке трудно найти под стать невесту.

Царь испытующе посмотрел на него.

– Яков, не ври! Красавица, даже из холопок, хороша. Одной мудрости, да в придачу знатности, мало... Гляди, я облысел... Тело мое немощно... Состарился... За что меня любить?! Пробовал я приблизить к себе деву...

Тяжело вздохнув, царь с усмешкой махнул рукой.

– Ты – лекарь... Верни мне мою молодость! Ну! Озолочу тебя; первым человеком в моем царстве сделаю.

Англичанин растерянно пожал плечами.

– Чего же ты! – нетерпеливо стукнул его по руке царь.

– Не по силам то мне, да и никому на то разума не дано. И едва ли когда смогут люди то...

– Молчи! – громко сказал царь. – Не надо! Боюсь! Давай сызнова играть. Вот моя молодость! Забываю я обо всем на свете, когда сижу за этой диковинкой.

Иван Васильевич показал на шахматы.

– На душе мне легче становится... Я чувствую тогда, что живу, будто здоров, будто нет горя у меня. Кто выдумал это – того следует почитать как чудотворца.

Роберт снова расставил шахматы.

Началась игра, во время которой царь Иван любил вести тихую, спокойную беседу.

– А я и не гонюсь за той девкой... Коли союза у меня не будет с королевой твоей, то и незачем мне ту княгиню аглицкую брать. Господь с ней! Союз мне надобен с твоей землей... Мы хорошо понимаем, сколь полезны для Англии то-

вары нашей страны. Если мы не встретим в нашей сестре королеве Елизавете большей готовности, чем ныне, то все повольности в нашей земле у ваших купцов будут отняты. И мы сию торговлю передадим голландцам, венецианцам и германцам... А с вами торга не будет. Однако я еще подожду от нашей сестры решения – либо согласия, либо отказа. Буду ждать Писемского.

Сделав несколько ходов шахматами, царь Иван откинулся на спинку кресла. Отдохнул немного. Вытянулся.

– Больно в пояснице... Ломит, – сморщился царь.

Якоби заботливо вскочил, приложил ухо к спине царя.

– Ничего, государь... Застуда... Пройдет... Овечьего молока испить на ночь... Да настойку из шелковой, водяной травы, как то ранее говорил я вам.

Внимательно поглядел на него Иван Васильевич.

– Пью я ее, да не помогает... Зуд меня одолел, по ночам не сплю.

– Яичный желток с солью смешать, да и помазать, где зудит... Ваше величество, это зело помогает.

– Коли так, помажь.

Царь Иван был послушным в лечении болезней. Он искренне верил врачам и во всем подчинялся их советам.

Глубоко вздохнув, он сказал:

– Не щадил я себя по недомыслию в малых годах, а ныне вот и жалею... Много я прелюбы сотворил, прости ты меня, Господи! Много грешил!

Царь набожно перекрестился.

– Ну, играй... Ставь дальше... Не хочу думать о том.

Якоби услужливо углубился в игру. Царь тоже сосредоточил свое внимание на шахматной доске. Но через несколько времени все же опять оторвался от игры.

– Море нам нужно!.. – громко сказал он.

– Государь, вы обладаете огромным морем на севере...

– Мало! – сердито крикнул царь. – Мало!

Якоби испуганно съежился.

– Винюсь, государь. И то сказать, невежда я в сем деле.

Царь смягчился.

– Ладно. Ставь дальше.

IX

Писемского рано утром разбудил Неудача.

– Федор Андреевич, от королевы прискакали гонцы, приглашают тебя во дворец.

Быстро собрался Писемский. Чисто вымылся, даже побрился, расчесал волосы на голове, оделся в лучший парчовый кафтан и стал дожидаться послов королевы; поверх кафтана накинул опашень.

Природа благоухала. Был солнечный, весенний день. Писемский вышел на балкон, щурясь от солнца.

Яркие цвета, мягкий отблеск шелка и тяжелые складки бархата одежды Писемского как нельзя лучше гармонирова-

ли с блеском самоцветных камней, матовой белизной жемчужного шитья. Темные меха бобра и соболя, окаймлявшие ворот и короткие рукава опашня, делали фигуру Писемского важной, величественной.

Наряды московских послов всегда приводили в восхищение иноземцев своей необычайностью, сказочным своеобразием. Их называли «костюмами покоя». Широкие, свободные, они говорили о широте и мощи самой русской натуры.

Писемский не смущался тем, что при его появлении во дворцах, на улицах на него с любопытством и удивлением глазели люди, как на чудо. Он видел иногда насмешки на лицах знатных господ, но равнодушно проходил мимо них с глубоким сознанием своего посольского достоинства, убежденный в красоте своего отечественного костюма.

Вот и теперь он знал, что будет предметом любопытства и насмешек толпы придворных, но его это не смущало. Его радовало то, что, наконец, он увидит Марию Гастингс, будущую невесту царя. Об этом его поставили в известность еще вчера. Пора уже кончать сватовство и возвратиться в Москву. От царя приходят письма, полные нетерпения и недовольства.

Не так давно Писемский представлялся королеве и наедине с ней говорил о сватовстве царя.

Королева Елизавета сказала ему с улыбкой:

– Ведь мой брат, ваш государь, как мне известно, любитель красивых женщин, а моя племянница не обладает кра-

сотой. Она недавно была в оспе. Ни за что не соглашусь, чтобы ты видел, а живописец, изобразил ее для Иоанна царя с лицом красным, с глубокими рябинами. Нет, этого нельзя.

Писемский спокойно сказал:

– Ну что ж! Я подожду, когда лицо ее снова посвежеет, и тогда ее посмотрю. Однако к царю без того я не поеду и без изображения ее художником тоже. Твое величество, великая королева, приказала бы мне обождать того дня, когда принцесса твоя будет вполне здоровой. И на том я справляю тебе мою, послову, благодарность.

Елизавета пробовала приводить еще разные другие доводы, но Писемский сказал:

– Воля моего государя для меня священна.

Убедившись, что настойчивость русского посла непреодолима, Елизавета согласилась, чтобы Писемский ожидал благоприятного дня для смотрин Марии Гастингс.

И вот этот день настал.

К дому, где находилось московское посольство, подъехало несколько золоченых возков, запряженных красивыми конями с султанами из перьев на голове. Это прибыли за Писемским королевские дворяне – придворные слуги.

Они передали московскому послу приглашение королевы пожаловать в Иоркский дворец. С особым почетом они усадили Федора Андреевича в самый богатый возок, который окружили нарядно одетыми конными воинами.

Карета быстро довезла московского посла до Иоркского

замка.

По широкой лестнице, устланной турецкими коврами, Писемский поднялся в палаты дворца. Здесь его встретили сам королевский канцлер Томас Бромлей, затем граф Гонтингдонский, брат Марии Гастингс. Обменявшись приветствиями с московским послом, они пригласили его в сад, и там, расположившись в беседке, сказали, что сейчас выйдет из дворца и сама племянница королевы – Мария Гастингс.

Важно развалившись в кресле, Писемский стал деловито ожидать появления Марии.

Вдруг дверь наверху отворилась, и по широкой лестнице, украшенной многими колонками, обвитыми вьющимися растениями и цветами, стала спускаться, скромно потупив взор, высокая, стройная девушка, одетая в малиновое бархатное платье, плотно облегавшее ее тонкую изящную фигуру.

– Вот она, – сказал Бромлей. – Гляди, рассматривай. Королеве угодно, чтобы ты видел ее не в темном месте, не в комнатах, а на чистом воздухе. Любуйся.

Писемский встал и поклонился ей.

Она, покраснев, ответила ему ласковым поклоном.

Видно было, что принцесса Мария смущается, что от пытливого, пронизывающего взгляда усердного московского посла страдает ее женское самолюбие.

Писемский попросил ее обернуться кругом, с видом знатока осматривая ее с головы до ног.

Затем он попросил Марию пройтись по аллеям сада, среди цветов и зелени; сначала он поодаль шел за ней, потом повернулся и пошел ей навстречу. И так, расходясь и встречаясь с ней, он во всех подробностях изучил ее внешность.

Вскоре смотрины закончились, и, окруженная придворными дамами и девицами, Мария Гастингс ушла внутрь дворца.

Граф спросил Писемского, понравилась ли ему его сестра.

Писемский сказал:

– Я не знаю большего счастья для моего государя и для моей родины, если бы принцесса Мария стала его супругою...

Писемского вновь пригласила в свой дворец королева. Она захотела опять наедине побеседовать с послом о сватовстве царя.

Встреча с королевой Елизаветой произошла в ее дворце в Гринвиче.

– Как же так, – спросила королева, – твой государь хочет жениться на моей племяннице, когда у него не только есть жена, но недавно от нее родился и ребенок – царевич Димитрий?

Писемский не верил ходившей в Англии вести о рождении у Марии Нагой ребенка.

Он ответил королеве:

– Злые люди выдумали такую новость, чтобы помешать государеву сватовству, полезному для вашего и моего отечества. Королева должна верить единственно грамоте царя и

мне, послу его.

Елизавета опять стала говорить, что царю Ивану, конечно, не понравится Мария и что портрет ее, написанный художником, не пленит разборчивого в женской красоте царя Ивана.

Писемский горячо возразил ей и стал в ярких словах хвалить красоту Марии Гастингс.

Королеве это понравилось. А то, что царь женат, – как показалось Писемскому, – не особенно обеспокоило королеву. Ведь и ее отец, король Генрих Восьмой, имел шесть жен, да еще, разведясь, казнил двух из них. Дело то в Англии не новое.

Перед отъездом из Англии Писемский был приглашен в королевский замок, где в честь его королева Елизавета устроила роскошный обед. Рекой лилось вино, не умолкали похвальные царю Ивану и королеве Елизавете речи. Пиршество затянулось далеко за полночь. Писемский и Неудача изумили всех придворных гуляк своею твердостью в принятии винных напитков. Это англичанам очень понравилось. Они даже обняли поочередно Писемского и Неудачу.

После пиршества у королевы московского посла и его помощника катали на яхте по реке Темзе.

Светила луна, окрашивая в бледное серебро стоявшие на якорях у берега корабли и волнистую поверхность реки.

Писемский запел старинную русскую песню. Вспомнил детство, Волгу, плавание по ней в быстроходных челнах.

Неудача баском подпевал ему. Даже сопровождавшая их веселая английская молодежь стала по слуху, без слов им подтягивать.

На другое утро дьяк писал царю: «Мария Гастингс ростом высока, стройна, тонка, лицом бела: глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках долгие». Много лестного он сказал о Марии Гастингс, тая надежду на удачный конец сватовства.

Перед отбытием из Гринвича Писемский получил от королевы для передачи царю два письма. В одном писала, что она польщена предложением союза, а потому и приносит царю душевную благодарность за это. В другом, что приветствует Ивана Васильевича за намерение посетить Англию, не ради ухода от какой-либо опасности, мятежа и бедствий, чего Боже упаси. Королева надеется видеть царя у себя, в Англии, для личного знакомства и свидания.

Кроме того, она вместе с Писемским отправляла своего посла к царю Иеронима Боуса.

Английский посол в сопровождении сорока дворян, среди которых находился ученый проповедник Коль, вместе с Писемским сели на корабль в Гарвиче двадцать второго июня 1583 года.

Погода благоприятствовала. Дул попутный ветер. Судно было снабжено пушками на случай столкновения с пиратами, которые в эту пору были особенно дерзки. Внутренность корабля имела много разных помещений. Особенно понра-

вился Писемскому выкрашенный в розовую краску, богато обставленный мебелью зал совета. В дорогу запаслись вином, сухарями, мясом и другими съестными припасами в громадном количестве.

На мачтах развевались флаги с английским и русским гербами. Чайки носились над самыми головами, кружились над кораблем, как бы конвоируя его.

Писемский обернулся к все дальше и дальше уходившим назад берегам Англии, снял шапку и со вздохом облегчения произнес:

– Благодарение Богу! Опять домой! Дождался-таки. Куда ни ездишь, а дома все лучше.

Во время отвала играли трубачи.

Писемский, стоя на носу, около капитанского кресла, задумался. Далек путь на родину, труден и небезопасен, однако на душе радостно, как никогда.

Писемский перекрестился:

– Помоги нам, Господи, благополучно добраться до Москвы!

Вокруг суетились матросы, перекликаясь на своем языке, занятые работой на палубе. Англичане собирались на палубе кучками и о чем-то, размахивая руками, горячо между собою беседовали.

Посол королевы Боус и ученый англичанин Коль разговаривали с капитаном, указывая руками вперед – в морскую даль.

Кругом расстилалось на бесконечное пространство слегка колышущееся море, отливая цветом вороненой стали.

Итак, домой! Сердце билось от волнения при одной только этой мысли: что же будет, когда снова увидишь Москву?!

Ровно месяц плыл корабль до русской земли. Много бурь пришлось испытать в пути. У берегов Норвегии едва не погибли, корабль страшным ураганом бросило к скалам, он получил пробоину. К счастью, общими усилиями команды корабля опасность удалось миновать – пробоина была заделана.

После долгого пути корабль прибыл в бухту святого Николая [26]. Светило солнце. Гостеприимно приняло корабль спокойное море.

Нога Писемского ступила на русскую землю. И он и подьячий стали на колени и возблагодарили Бога за благополучное возвращение домой. Не сразу могли они оправиться от долгого морского плавания. Все еще казалось, что их качает на волнах, особенно ночью, во сне. Грезились громадные серые скалы, широкие безотрадные дюны...

Писемский и англичане, наконец, прибыли на судах по реке в Холмогоры. Здесь Боус и его провожатые расположились в домах английской торговой «Московской компании«. Дома в Холмогорах у англичан были большие, просторные.

---

[26] Устье Северной Двины, где находился Николо-Корельский монастырь. Сначала бухтой святого Николая называли только Двинскую губу, а затем все Белое море.

Боус привез с собою много вина и всякой провизии. Приезд земляков английские торговые люди праздновали несколько дней подряд. Писемский остановился в доме воеводы, князя Звенигородского. Князь рассказал Писемскому о недомогании царя.

– А я батюшке Ивану Васильевичу невесту высмотрел.

Звенигородский махнул рукой...

– Говорят, будто пухнет он, язвы на теле... Какая уж тут невеста...

В Холмогорах англичанам пришлось прожить пять недель, пока из Москвы не приехал посланный государем дворянин, который должен был встретить и проводить англичан, а также наблюдать за доставкой посольским людям вовремя и в потребном количестве провизии.

За две версты до Москвы посла Боуса встретили четыре дворянина в сопровождении двухсот лихих всадников. Они окружили послов королевы, размахивая в воздухе шапками. Дворяне предложили послу Боусу слезть с коня и, стоя, выслушать приветствие царя. Боус не захотел слезать с коня, считая это унизительным для Англии. Начались пререкания; наконец обе стороны пришли к соглашению слезть вместе одновременно с коней. Тут началось тоже затруднение: каждый боялся, чтобы нога другого не ступила на землю раньше. Однако все произошло к общему удовольствию: русская и английская ноги стали на землю одновременно. Ничья держава не оказалась опозоренною.

В Москву Боус прибыл только в конце сентября, а двадцать четвертого октября посол был приглашен явиться ко двору.

Его сопровождали сорок молодых дворян в парчовых кафтанах и шелковых голубых рубашках. По пути к дворцу по обе стороны были расставлены шесть тысяч стрельцов.

У дверей царской палаты посла и его людей встретил пожилой знатный боярин.

Войдя в палату, Боус увидел сидевшего на высоком троне царя Ивана Васильевича, окруженного белоснежной шеренгой юных рынд.

Около царя, на золоченых колонках, лежали три короны: Московская, Казанская и Астраханская. В палате, справа и слева, двумя полукругами сидели сто бояр в парчовых платьях.

Боуса подвели к целованию царской руки. После любезных расспросов о здоровье королевы Елизаветы царь указал Боусу на заранее приготовленное ему место в десяти шагах от себя.

Посол встал и хотел подойти к царю, чтобы передать ему королевину грамоту. Вдруг к нему подскочил думный дьяк, пытаясь взять у него грамоту.

– Не к тебе послана грамота ее величества, а к твоему государю, – с негодованием оттолкнул его посол и передал грамоту самому царю, который, видя поступок посла, с улыбкой покачал головой.

В тронном зале, в Столовой избе, царем был устроен торжественный обед в честь английских гостей. Во время обеда царь, поднявшись со своего места, выпил большой кубок вина за здоровье королевы, своей доброй сестры, и пожаловал из своих рук послу большой кубок рейнского вина с сахаром, чтобы он выпил за здоровье его, московского царя.

Боус с поклоном осушил кубок, провозгласив тост за здоровье царя...

На другой день посол был призван к царю на его половину, и там в присутствии ближних бояр царь повел беседу о делах.

После долгих споров и разговоров царь увидел, что его желания не удовлетворены. Боус заявил, что он не уполномочен решать королевины дела. Он может передать королеве требования царя, но сам решить их не в силах.

Царь вскочил со своего места и, сверкнув глазами, гневно крикнул:

– Коли так, я не считаю твою, английскую, королеву своим другом. Обойдемся и без нее. У меня есть друзья получше королевы!

На это Боус смело ответил:

– Королева – моя повелительница. Она – величайшая в христианском мире государыня, она равна тебе, московскому государю, считающему себя сильнейшим. Королева легко защитится от твоей, государь, злобы. Не имеет она ни в чем недостатка, чтобы напасть на всякого, кто решится быть врагом ее величества.

Царь удивленными глазами глядел на Боуса.

Бояре в страхе замерли на своих местах.

Боус дерзко смотрел в глаза царю.

– Ого! – усмехнулся царь. – Когда так, хорошо. Что ты скажешь о французском или испанском короле?

– Я почитаю, государь, королеву, мою государыню, столь же сильною, как и каждый из них, – отвечал Боус.

– А что ты скажешь о германском цесаре?

– Такова сила моей королевы, что король, ее отец, не очень давно давал субсидию, помогал денежно императору в его войнах против франков.

Услыхав это, царь пришел в крайнее возмущение.

– Ты не посол! – закричал он. – Я выгоню тебя из дворца.

Рассерженный вид царя Ивана привел в содрогание всех присутствующих, кроме английского посла. Он стоял перед царем, не теряя своего достоинства.

Громко он сказал царю в ответ:

– Великий государь, ты можешь поступать, как тебе угодно, по своему желанию, ибо я нахожусь в твоей стране. Однако моя государыня, питая любовь к своим подданным, безусловно сумеет отомстить тому, кто надругается над ее послом.

Царь побагровел от волнения, слушая дерзкую, прямую речь иноземца.

– Иди к себе домой, – сказал он, вдруг притихнув.

Боус поклонился и вышел.

После его ухода царь обратился лицом к боярам:

– Похвалы нашей достоин посол королевы! Сей посол не мог допустить ни одного обидного слова о своей государыне. Это ли не похвально?!

Иван Васильевич погнал дьяков вдогонку за послом.

Вскоре тот вновь предстал пред царем.

– Слушай! – сказал Боусу царь. – Известна моя любовь к сестре моей, королеве Елизавете! Скоро вновь позову я тебя, и мы посоветуемся с тобой, чем полезен будет вашей стране московский государь и чем вы будете нам полезны.

Царь распорядился увеличить послу жалованье на корм. Дьяк Савва Федоров явился в посольский дом и объявил об этом Боусу.

Однако корм оказался так обилен, что посол стал просить отменить его. Несколько раз Боус обращался к царю с этой просьбою, но царь ни за что не соглашался на это.

Роспись нового корма: На каждый день: 1 четверик муки, 2 живых гуся, 20 кур, 7 баранов, 1 бок поросенка, 70 яиц, 10 ф. масла, 70 белых хлебов, 12 хлебов, 1 галлон уксуса, 2 бочонка соленой капусты, 1 гарнц луку, 10 ф. соли, 1/4 бочонка вишневого меда, 1/2 галлона горячего вина, затем много всяких других медов и вин. На 3 дня: 1 бык.

Бояре, дьяки и всякие служилые посольские люди, видя особую милость царя к послу, старались показать ему свое дружеское внимание.

Просьбы английской королевы о привилегиях для англий-

ских купцов царем были частью удовлетворены, посол отправил в Англию свое донесение королеве, а сам стал готовиться к обратному путешествию на родину.

Царь Иван с грустью сказал царевичу Федору, сидя в его комнате:

– Чего-чего не делал я ради Варяжского моря! Аглицкой королевне воздал непомерную честь, изъявив свое согласие на ее требования. Тоже ради моря. Имею мысль: в союзе с ней отбить обратно Лифляндское побережье. Пошлю нового посла к ней. Без моря на западе не быть России! Так заповедал нам сам Господь. Не отступлюсь я от той мысли. А коли меня Господь приберет, – добивайся и ты, чтоб то море стало нашим. Во сне я вижу его. Спать не ложусь, чтобы не думать о нем.

Царевич Федор с подобострастием слушал отца, кивая в знак согласия головой.

А когда Иван Васильевич замолчал, царевич, поправив свои рыжеватые волосы, тихо, робко промолвил:

– Мне рассказывал дьяк Совин, будто на море просторно и рыбы летают над водой.

Царь Иван пристально посмотрел в лицо сына.

– Просторно и на моей земле, зело просторно. И не за тем я гонюсь. Матушка Русь не обижена простором. Нам море... море нужно на западе. Понял ли ты меня? Рыбы пускай летают там, а нам надобно, чтобы корабли наши летали по всем

морям.

Усердными кивками головы царевич Федор подтвердил, что он понял слова отца.

– Коли меня не будет, ближним советником своим сделай Бориса. Он разумом не обижен. Поможет тебе в трудных делах. А с аглицкими людьми будьте осторожны.

– Слушаю, батюшка! – с услужливой готовностью поспешно ответил царевич.

Царь, глядя на сына, тяжело вздохнул. Посидев молча, он вдруг спросил:

– Жаль тебе будет отца, коли он Богу душу отдаст? Немощен я, болен, пухну невесть отчего. Чувствую свой скорый конец.

Глаза царя Ивана, большие, полные внезапно нахлынувшей на него горькой озабоченности, испугали царевича. Царь ждал ответа.

– На все воля Божья, государь... – сокрушенно потряс головою царевич Федор.

– Дурак! Не то молвил! – Топнув ногою, царь поднялся с места и разбитой походкой, высокий, сутулый, опираясь на посох, пошел к дверям. На пороге он снова гневно повторил: – Дурак!

И вышел.

Царевич Федор с растерянным видом поклонился ему вслед, а затем, обернувшись к иконам, стал усердно класть земные поклоны.

...Беседы с английским послом и донесения дьяков Посольского приказа убедили царя Ивана в том, что Англия ведет хитрую, расчетливую игру с Москвою и что она не отступит от преследования только своей выгоды. Это особенно ясно стало царю после переговоров Писемского о сватовстве его, царя, к Марии Гастингс. Сватовство было одним из способов познать искренность дружбы английской королевы. Средство это было крайнее, неожиданное для королевы и, быть может, очень смелое, даже дерзкое, и поэтому лучше можно было уловить искреннее настроение королевы. Застигнутые врасплох таким необычайным актом дружелюбия, англичане вынуждены были говорить и делать не то, что бы они говорили и делали, если бы заранее были подготовлены к этому. Писемский зорко следил в Лондоне за всем, что происходило при дворе королевы в связи с его приездом.

Иван Васильевич велел позвать к себе в покои Писемского.

– Держи при себе, – сказал он дьяку, когда тот явился, – все, что видел и слышал в Англии...

Тихо рассмеявшись, он продолжал:

– Смеха достойна наша с тобою затея! Однако скрывать мне от тебя-то нечего: польза от странствия твоего в ту страну получилась немалая. А уж какой я жених! Холодеет, Федор, во мне кровь, чувствую то с каждым днем. Желания мои истлевают, как сорванные наземь осенние листья... Ну, да иди! Спасибо тебе за верную службу!..

Затем, нагнувшись к уху Писемского, царь прошептал:

– А коли умру, служи так же и сыну моему... Иди.

Оставшись один, Иван Васильевич вдруг вспомнил о радостных днях, проведенных с Александрой. Как мимолетно было то счастье!

Грустная улыбка пробежала по его лицу.

Ему казалось, словно на огне сгорели его силы в страстных ласках юной красавицы. Где она теперь?! Вспоминает ли она о нем?!

Она подняла в нем, царе, веру в свои силы, в свою долговечность, она окрылила его мужественными порывами любви, какие украшают здоровую, счастливую юность, когда все представляется таким ясным, доступным, простым, широко распахивающим окно в жизнь... А там, за этим окном, вдруг озарило его, царя, ярким, горячим солнцем желаний...

И вот...

Она же, Александра, унесла все это с собой... И снова он ослаб. Хуже того: он чувствует, как угасает в нем потребность счастья; он уже не испытывает желания радостных утех. Его тело немощно, его по ночам мучает тупая, нудная бессонница, часто приходят мысли о смерти...

Одно утешает царя, что ум его ясен и дела, творимые им, полезны государству.

X

Дрожащей рукой царь Иван отодвинул занавес.

Испуганными глазами взглянул на небо.

Лицо его перекосилось от страха: на небе, в темной вышине, застыло крестообразное небесное знамение. Мутно-желтое, оно повисло между церковью Ивана Великого и Благовещенским собором.

Иван Васильевич велел приближенным накинуть на него шубу. Опираясь на посох, вышел он на Красное крыльцо наблюдать дивное видение, о котором только что сказала ему царица.

Долго молча, в оцепенении смотрел он на небо, усеянное густой звездной россыпью, и на этот крест, загадочно проступавший в небесной глубине, и вдруг, зашатавшись от слабости и поддерживаемый Бельским и Годуновым, прошептал:

– Вот знамение моей смерти! Вот оно!

Успокаивая Ивана Васильевича, загудели бояре:

– Полно, великий государь батюшка!..

– Грешно, великий государь батюшка!..

– Пожалей царицу и дите свое, Иван Васильевич!

Закрыв глаза, государь молча слушал причитания бояр. Со стороны реки дул прохладный ветер. Царь обернулся навстречу ему, глубоко вдыхая в себя свежий воздух. Ночь теп-

лая. Днем таяло. Неподвижный, таинственный пришелец из глубин вечности неотступно преследовал взглядом царя...

– Уведите меня! – прошептал Иван Васильевич.

Бояре под руки отвели его в опочивальню. Тяжело дыша, совсем расслабленный, грузно опустился он в кресло. Открыв глаза, долго и со вниманием осматривал окружающих его вельмож.

– Какие все мы трусы! – усмехнулся он, отвернувшись от бояр.

Некоторое время длилось общее молчание.

Но вот он снова обернулся лицом к боярам.

– Так ли?! Правда ли, что вы боитесь моей кончины? – с трудом выговаривая каждое слово, вдруг спросил он.

Опять заголосили бояре, уверяя царя в своей преданности престолу.

Выслушав их, он покачал головою:

– Можно ли тому верить?! Дорог ли я вам, как вы то говорите? Когда я умру, вам посвободнее будет... Царевич не такой... Он другой...

Бояре стали на колени, расчувствовались, принялись слезно умолять царя не говорить этих слов.

– Буде! – произнес царь. – Коли так, мне и умереть не страшно. Государство мое не погибнет. Царевичу Федору будете служить, как и мне.

Бояре, склонив в унынии головы, слушали тихий голос царя:

– Нет!.. Нет!.. Не то! Я не хочу умирать!.. Не буду... Запомните это.

Царь впал в беспамятство.

Черные мысли о близкой смерти в последние дни одолели царя. Часто он запирался в своей моленной и подолгу молил Бога об отпущении ему грехов. Наедине перед божницей он начинал перебирать в памяти все, что знал дурного о себе. Но, вспоминая о своих жестоких казнях, он часто вдруг приходил в крайнее смущение. Упрямо врезалась в мозги мысль: как же он мог иначе поступить?! А если бы он помиловал изменников, что тогда? Не случилось бы разве ущерба христианской вере, не послужило бы это порухе в государстве, устояла ли бы тогда Русская земля перед недругами? Он знал, он чувствовал, что великое горе постигло бы Русь, если бы он пошел на поводу у бояр-изменников, у друзей князя Курбского. Невольно задавал царь себе вопрос: велик ли грех государя, который губит изменников?!

Эти размышления казались ему грешными, он отгонял их от себя, оставаясь не убежденным в их греховности. Он путался в своих взбудораженных мыслях, заглушая их неустанными, мучительными поклонами, бия лбом об пол, покрываясь потом и обессиливая тем самым себя окончательно.

– Прости меня, Господи, – шептал он при каждом поклоне, а дерзкие мысли лезут и лезут в голову: «За что прощенье? Разве ты виноват?» Но... смерть! Она заставляет, она требует отрекаться от себя, от земной правды, во имя прав-

ды другой – небесной, о которой постоянно твердят ему обиженные им попы и монахи. Но и тут царя берут сомнения: разве можно почитать «небесной правдой», что монастыри имеют десятки тысяч десятин земли, а служилый человек, всю жизнь проведший на полях брани дворянин, и десяти десятин не имеет, слоняется, как нищий, по городам?! Опять сомненья, опять неверие! Монахи своекорыстны!

Вчера только он приказал казнить одного монаха, который оскорбил царское имя в спорах с дьяком, отмежевавшим у монастыря землю в пользу дворянина.

Было страшно, боязно давать такой приказ, а нужно.

Теперь проклинают, поди, его, царя Ивана, все иноки того монастыря. А не казнить?.. Не мог царь. Пускай даже перед смертью!

Опять!.. Опять! Иван Васильевич спохватился и снова стал беспощадно биться лбом об пол, моля у Бога прощения за казнь монаха.

И снова, как бы оправдываясь перед Богом, он вспоминает королей: Людовика XI, Генриха VIII, Эрика XIV, Марию Английскую, папу Григория XIII и всех других государей, также не щадивших своих врагов. Царь старается сам себе доказать, что он не столь жесток, как они.

Выйдя из моленной, царь невольно тянулся к окну и снова, содрогаясь от ужаса, вглядывался в мутно-золотистый крест на небе.

– Уйди, смерть!.. Уйди!.. – шептал он, пятясь от окна.

Однажды царь распорядился послать в Холмогоры и Колу за ведуньями и колдунами, о которых ему рассказали поморы. Поморы, приехавшие в Москву, наговорили много чудесного о тех ведуньях и колдунах: и что они предсказывать-то судьбу могут, и что лечить разные недуги ловки.

Бельский на другой же день послал за колдунами гонцов к Студеному морю.

Герасиму и Андрею посчастливилось не только встретиться в Холмогорах, но и жить в одной избе и, как встарь, по-дружески беседовать, вспоминая далекие годы детства, побег из вотчины Колычева и ливонские походы.

При свете лучины, тепло натопив печку, сиживали они, близко прижавшись друг к другу, на скамье и делились своими впечатлениями о пережитом. Герасим рассказал Андрею, как он подружился с эстами, как они заодно с русскими порубежниками отбивались от немецких разбойников, нападавших на русские станы, как охраняли они устье Наровы, чтобы дать безопасный выход кораблям нашим и иноземным в море и к Нарве. Да и нашествию шведов они, тоже вместе с эстонскими крестьянами, давали жестокий отпор, невзирая на свою малочисленность. В защите Нарвы также участвовал Герасим. Он рассказал Андрею и о той жестокой сече, которая произошла под Нарвой. Семь тысяч русских воинов, стрельцов, жителей Иван-города, и эстов полегло в том бою. Нелегко досталась Нарва и шведам. Их полегло еще больше.

Андрей с тяжелым, мучительным вздохом сказал:

– А помнишь, Герасим, сколько радости было, когда мы брали в Ливонии крепости?

– Да... – вздохнул и Андрей. – А где теперь Басманов?

– Разве ты не знаешь? Их обоих, и Алексея и Федьку Басманова, казнил царь лютой казнью. Забылись они. Через царевы порядки стали шагать. Вольничать вздумали не по чину. В Москве рады все были их казни. Царь балует своих холопов, а забываться им не дает. Грязных царь удалил от двора...

Как-то в один бурный, вьюжный день Герасима и Андрея вызвал к себе двинский воевода, князь Звенигородский, и объявил им, что в Андрее больше уже нужды нет, – пушечным заграждением он оснастил вновь строящуюся при устье Двины крепость вполне. В Москве пушкарь Чохов будет нужнее, чем в Холмогорах. Услыхав это, Герасим попросил воеводу отпустить и его в Москву, чтоб взять жену и дочь и привезти их в Холмогоры. Воевода дал и ему охранную дорожную грамоту и сказал:

– Захватите с собой шесть десятков волхвов, звездочетов, колдунов и ведуний, собранных мною по цареву приказу в нашем крае и в Лапландии. Будьте начальниками в этом обозе. Отвезите сию окаянную орду в Москву.

Герасим и Андрей обещались в точности исполнить наказ воеводы.

Когда наступил день отбытия каравана, оба они были сму-

щены и озадачены странным, чудным видом разношерстной толпы кудесников. Многие были одеты в какие-то меховые мешки с хвостами и в высоких меховых с заячьими ушами колпаках, у других были колпаки синие с золотистыми звездочками. Некоторые из них лица свои измазали разными красками.

Ведуньи – древние старушки, крючконосые, все в морщинах. Были старухи с седыми усами на губах – настоящие ведьмы! Герасим и Андрей старались быть от них поодаль, их приводило в ужас шепелявое ворчание.

– Господи Боже, и зачем понадобились царю подобные образины? – почесал затылок Андрей с усмешкой.

Насилу усадили всю эту колдовскую ораву в сани. Кто по старости сам влезть в сани не мог, того ямщики подсаживали насильно, приговаривая: «Да ты не барахтайся, лезь, лезь, тебе говорят, нечистая сила!»

Пришел час – тронулись. Со скрипом, с оханьем, с ворчанием, но с места все-таки сдвинулись. И то хорошо.

День был не особенно морозный. Легко дышалось. Андрей с сыном и Герасим сели в закрытый возок: тесно, зато тепло, уютно.

– На кой бес государю понадобилось колдунов издалека везти! В Москве да вокруг Москвы своих сколько угодно, – тихо проговорил Герасим.

Андрей тихо шепнул:

– Чудит государь в последнее время. Слух ходит, будто

как море отняли у нас, так и в уме он тронулся. Правда ли то, нет ли, а на посадах болтают. Может, и врут.

Герасим перекрестился.

Среди оснеженных сосен и елей, через села и деревни тихо пробирался «колдовской» караван, как его назвал Андрей, пугая людей, оленей и зайцев. В одном месте вспугнули и косолапого – громадный, толстый, он, легко подпрыгивая, без оглядки скрылся в лесной чаще. Сороки, вороны и всякая другая птица то и дело взлетали в воздух.

Там, где проходил обоз, оживал дремучий лес, и казалось, не полозья скрипят, а какая-то таинственная музыка исходит из глубины чащи, так раскатисто звенело в морозной тишине движение саней.

Ехали уже дней десять с остановками на попутных «ямах», наконец добрались до Вологды, а затем Ярославль, Александров, а там и Москва. Когда показалась она, окутанная легким туманом, Андрей набожно перекрестился. Велел и сыну последовать его примеру.

Велика была радость Охимы и Параши с дочерью Натальей, которых Герасим временно поместил в доме Чохова, когда уезжал в Холмогоры. Объятьям и поцелуям не было конца.

Прибывших в Москву волхвов, звездочетов, колдунов и ведуний разместили в особом, отведенном для них доме на окраине Москвы. По приказанию царя Ивана, ежедневно

туда верхом, окруженный стражей, ездил Богдан Бельский, чтобы беседовать с ними об огненном кресте, который застыл в небесной выси.

Самому Бельскому было и смешно и противно заниматься этим делом. Не верил он стариковской и старушечьей болтовне, но виду не показывал.

Большинство из них, особенно лапландские волхвы, не зная московских нравов, без стеснения предсказывали скорую смерть царю, тем более что они хорошо знали о тяжелой болезни царя Ивана, о том, что тело его пухнет, что с каждым днем он становится все слабее и слабее.

Изо всех сил они старались уверить Бельского, что огненный крест – предвестник скорой кончины царя и начала великих неурядиц в Московском государстве.

Свои, холмогорские, кудесники были осторожнее: они говорили о предстоящих страшных морозах, от которых будто бы погибнет много людей, но после которых наступит ясная, теплая погода и государю тогда станет лучше.

Старухи-ведуньи говорили о том, чтобы царь берег новорожденного царевича. Огненный крест предвещает ему опасность.

По-всякому истолковывали колдуны и колдуньи небесное видение. Трудно было разобраться в их предсказаниях.

Звездочеты долго не решались высказаться: к чему огненный крест. В своих синих колпаках они по ночам, сгорбившись, сидели на крышах домов, словно какие-то птицы, и в

длинные трубы смотрели на небо.

Царь с нетерпеньем ждал, что скажут привезенные из Холмогор волшебники.

Бельский умышленно оттягивал ответ царю, стараясь как-нибудь свести все это колдовство к пустой забаве. Ему было страшно сообщить слова лапландских колдунов. Раньше царя их предсказание дошло до любознательного уха бояр. Василий Шуйский узнал первый, он сообщил это князю Щербатому, тот Мстиславскому, а этот Шереметеву – и пошло и пошло... «Царь не проживет более трех суток». Охали, ахали, вздыхали, крестились, сокрушались с великим лицемерием. Начали льстить Борису Годунову, заметно переменив обращение и со всеми его родичами и приближенными.

К Никите Васильевичу Годунову явились Шуйский и Щербатый, никогда ранее не посещавшие его, и поздравили с помолвкой дочери Анны Никитичны с царским телохранителем Игнатием Хвостовым. И откуда они это узнали? Только вчера это совершилось, и притом в тихой семейной обстановке, и вот уж им известно, и уж поздравлять приехали.

Никита Васильевич усадил высоких гостей в красный угол, под икону; вся семья низко поклонилась знатным, древнего рода князьям. Увы! Никита Годунов и его домочадцы не знали, о чем говорить с именитыми, невзначай явившимися гостями.

Никита представил гостям смущенного жениха, одетого

в голубой шелковый кафтан, и его красавицу нареченную, зарумянившуюся, опустившую свой взор от стыда. Хитрыми, сластолюбивыми глазами осмотрели ее бояре, поцеловали молодых.

Шуйский, выпив несколько кубков фряжского, в шутку тоненько запел, тряся рыжей бороденкой:

Я считала звезды на небе,
Я считала, не досчиталась
Своей подружки милыя,
Анны своей Никитичны.
Отстает наша подруженька
Она от стада лебединого,
От лебединого, гусиного.

Затем ни с того ни с сего Шуйский стал расхваливать Бориса Федоровича Годунова.

– Славный у тебя, Никита Васильевич, племянничек, – хлопнув по коленке сидевшего с ним Никиту, весело проговорил Шуйский. – Государь батюшка знает, кого к себе приблизить... У Бориса Федоровича мудрая голова...

– Полно, Василий Иванович! – улыбнулся Никита. – Простой он человек, как и все: служит государю правдою – вот и все, – смиренно возразил ему Никита.

И Шуйский и Щербатый, оба вместе, воскликнули, грозясь шутливо пальцем:

– Ой, не хитри, ой, не хитри! Будешь лукавить – черт за-

давит.

Шуйский громко расхохотался:

– Ловчее теленка, батюшка, все равно не будешь.

Никита Васильевич покачал головой:

– Да проще теленка никого и нет.

– Нет, он ловчее всех, – воскликнул в каком-то неуместном восторге Василий Шуйский. – Теленок под хвост языком достает. Видишь, как он ловок!.. Ну, да это не беда, коли человек в иной час и слукавит. Не обижайся на меня, Никита Васильевич.

Осоловевший спьяну Щербатый вдруг очнулся от дремоты, которая им неотразимо овладевала.

– Лошадей накормили? – ни с того ни с сего спросил он.

– Вот человек простой! – указал на него Василий Шуйский. – Мухи человек не обидит. Простота – великое дело. Наши деды жили просто, да и жили лет по ста.

– Василий, накормили лошадей? – повторил сонным голосом Щербатый.

– Не кручинься, князь! О лошадях, друже, позаботятся. Хотя дурандой, да накормят. Чего уж тебе о лошадях заботиться?! Вот, Никита, сидим мы у тебя, и на душе легче стало. Бегу я от худых людей. Промеж худых, какой ни будь хороший, а все одно ему будет плохо. Годуновы у нас, бояр, в почете. Любим мы Годуновых. А не слыхал ли ты, как здоровье-то у государя батюшки?.. Вчерась я не был во дворце.

– Не ведаю, добрый боярин Василий Иванович.

– А вот, может, телохранитель знает? – указал Шуйский пальцем на сидевшего рядом с Анной Игнатия.

– Государевы дела – его дела, батюшка Василий Иванович, – уклончиво ответил Игнатий, поднявшись со скамьи в знак уважения к боярскому сану.

– Добро, паренек! Государеву тайну береги пуще своего глаза, – приветливо кивнул головой Игнатий Шуйский. – Служить надобно верно. Держи себя на вожжах. На вожжах и лошадь умна. А вот я подобрел, видать, так мужики у меня в лес бегут... Плетей мало давал им.

Опять встрепенулся князь Щербатый.

– Говорю: накормили лошадей?

– Накормили. Чего наладил «накормили» да «накормили»? Не мешай беседе! – хлопнул его по спине Шуйский. – А вот какой настойчивый этот английский посол. Поди ж ты, всего добился. С норовом, смелый... Что ты скажешь на это, Никита Васильевич?

– Государь батюшка знает, что делает... Ни один иноземец не собьет его с толку. Во вред себе и нам ничего не учинит, – ответил Годунов.

Василий Шуйский почесал под рыжей бородой, хитро улыбнулся, вздохнул.

– Ну, видать, пора нам и домой... Эй, князь, вставай! Поедем по домам. Поблагодарим Никиту Васильевича и Феоктисту Ивановну за гостеприимство, да уж с Божьей помощью и по домам. В другой раз уж когда ни то побываем.

Князь Щербатый поднялся с трудом, кряхтя, сопя.

– Да! – спохватился Шуйский. – Правда ли, что от Строгановых прибыл человек да сказал, будто того атамана Ермака сибирцы утопили?.. Болел я, во дворец не ездил. Не знаю.

Никита Васильевич перекрестился:

– Царство небесное и вечный покой Ермаку Тимофеичу! Справедливо. Погиб храбрый воин. Погиб. О том и мне строгановские люди говорили... Но царство Сибирское наше осталось... Там теперь наши люди.

– Истинно. Туда мой друг послан. Воеводой сидит там, дородный, дивный человек... дай Бог ему там закрепиться!.. – сказал Шуйский после прощания со всеми и, поддерживая Щербатого, вышел вон из дома.

Никита и Феоктиста Ивановна вышли в сени проводить бояр.

Насилу дождались Игнатий и Анна, когда уйдут бояре. Не ко времени приехали бородатые. Никого теперь не надо Игнатию и Анне! Наконец-то!..

XI

В этот день царь Иван Васильевич с утра почувствовал себя лучше, чем в предыдущие дни. Мелькнула надежда на выздоровленье, хотя слабость и не позволяла ему вставать и ходить. В последнее время его носили в кресле два здоровых бородатых гайдука.

Сегодня у него явилось желание побывать в своей государевой кладовой, служившей хранилищем золота, драгоценных камней, жемчугов и других ценных диковинных вещей.

Самым любимым его занятием во время болезни было пересматривать хранившиеся здесь разные диковинные редкости.

Вот и теперь...

Сопровождаемый ближними боярами, царь был перенесен в кресле в хранилище драгоценностей. Лицо его совсем одряхлело, пожелтело, покрылось морщинами. Под глазами нависли синие мешки. Взгляд его стал острым, беспокойным.

При нем неотлучно находился Годунов.

Низкие своды, покрытые розовой краской, узенькие из цветных стекол длинные окна придавали комнате хранилища уютный вид. На полу красовался громадный зеленый с малиновыми разводами ковер.

На круглом резном столике, стоявшем у одного из окон, царь обыкновенно рассматривал то, что его интересовало в хранилище.

Когда его внесли сюда, он приказал кладовщику, дьяку Курбатову, подать ему ящик с магнитами и драгоценными камнями.

– Вот смотрите, – произнес царь, взяв в руки кусок магнита. – В этом магните великая и тайная сила. Без него нельзя было бы плавать по морям, окружающим землю. Без него

нельзя знать положенные пределы и круг земной. Стальной гроб Магомета, языческого пророка, давно висит на воздухе посредством магнита в Дербенте... Магнит будет причиною многих чудес в будущем.

Царь приказал слугам принести цепь из намагниченных иголок, висевших одна на другой.

Он, весело улыбаясь, поболтал ими в воздухе.

– Вот что делает магнит... Но это только начало... Ждите многое другое впереди... Меня не будет уж тогда...

После этого царь начал вынимать из ларца драгоценные каменья.

– Смотрите, какой дивный коралл. Только Создатель мог на дне морском строить дворцы из оных чудесных веточек. Глядите сюда – вот бирюза! Как будто кусочек теплого весеннего неба заключен в этом камешке. Он в моих руках, этот кусочек... Разве это не дивно?!

Иван Васильевич с восхищением смотрел на бирюзу, лежавшую у него на ладони.

– Это тоже тайна! Зачем Бог захотел камешек сделать похожим на небо? Может быть, ради того, чтобы напоминать нам, что каждый из нас будет на небе, чтобы не гордились мы своим земным могуществом... Бирюза напоминает нам о мире, о покое, о добре...

Царь тяжело вздохнул:

– Всю жизнь свою я искал мира и покоя, но никогда его не имел... Гляжу на этот камешек, и мне хочется снова жить, по-

другому... Почему восточные ожерелья делают из бирюзы?.. Борис, как ты думаешь?..

– Не ведаю, государь... – в растерянности ответил Годунов.

– Я думаю: там народ грешнее, чем мы... Им нужно больше напоминать о загробной жизни. Магомет – покровитель многих смертных грехов... Он допустил многоженство, гаремы...

Вдруг царь умолк, стал тяжело дышать, лицо его перекосилось от ужаса...

– Видите... видите! Бирюза в моей руке бледнеет... Она теряет свой яркий цвет... Это знак!.. Я скоро умру.

Иван Васильевич в испуге бросил камень в ларец.

Бояре стали уверять, что бирюза остается тою же, что и была, что царю так кажется!..

Некоторое время царь сидел молча, откинувшись на спинку кресла, с опущенными веками. Очнувшись, он тихо сказал:

– Достаньте мне мой царский посох.

Посох подали.

– Это рог единорога, украшенный алмазами, сапфирами, изумрудами... Я их купил за семь десятков тысяч фунтов стерлингов у Давыдки Говера. Выходец он был из Аугсбурга...

Царь говорил медленно, немного охрипшим голосом, словно в бреду.

– Поймайте мне пауков... Ну, скорее!

Обратившись к своему врачу Иоганну Лоффу, царь приказал ему выцарапать на столе круг.

Когда принесли в коробочке пауков, Иван Васильевич сказал:

– Положите их в этот круг.

Сначала положили одного паука, потом другого: оба паука замерли, а третий убежал из круга. Царь согнулся над столиком, стал пристально вглядываться в пауков.

– Поздно! – покачал в унынии головой он. – Это уже меня не спасет. Я загадал на пауков.

Посидев в раздумье с закрытыми глазами, он сказал:

– Да, я на пауков загадал... И они тоже говорят мне о смерти. Ну что ж, пускай! А пока жив, – я царь. Бойтесь меня!

Опять он вынул из ларца горсть драгоценных каменьев. В хмурой задумчивости разложил их на столе.

– Что вы тут видите? – воскликнул он. – Вы ничего не видите! Вот алмаз, самый драгоценный из восточных камней. Я никогда не любил его. Он сдерживает ярость и сластолюбие. Он внушает нам жить в целомудрии и воздержании... Мне трудно давалось то... Я возненавидел его.

Царь громко рассмеялся.

– Смотрите на меня! Перед вами в самом деле великий грешник! Он почитал грех своим долгом... Праведники наводили тоску на него, и немало он погубил их... Я открываю вам, презренным льстецам, душу свою... Смотрите в нее, со-

дрогайтесь!.. Как в морской пене, с наслаждением купался в ярости против недругов своих... В утехах сладострастья я видел источник своей силы, своей дерзости. А вот алмаз. Этот камень, как глаз непорочного ангела, смотрит на меня... Вы знаете, что такое алмаз? Малейшая частица его может отравить лошадь, если дать ей его в питье. Обманщик!

Царь со злобою бросил алмаз в ларец и тотчас схватил крупный рубин.

– Этот камень совсем иное... В нем есть огонь, оживляющий сердце... Он делает сильным мозг, дает бодрость и память человеку, очищает испорченную кровь... Была у меня одна наложница, черничка, и грешная и невинная, как моя Анастасия... Она любила этот камень. Я подарил ей один рубин, который для нее окружили жемчугом... Она сказала, что и умрет с ним на груди.

Опять царь отвалился на спинку кресла, закрыв глаза и тяжело дыша...

– Анастасия!.. – прошептал он. – Прости!.. Скучно было мне... Худо на душе... Прости! Я – твой! Ничей!

Обернувшись к боярам, он строго сказал:

– Зажмите уши!

Бояре зажали уши. Царь прошептал:

– *Ее* я сравнивал с тобой! Прости!

Через некоторое время царь вновь склонился над разложенными на столе драгоценными каменьями, приказав боярам открыть уши.

– Изумруд, – сказал он, указывая на зеленый камешек в своей руке. – Этот камень радужной породы – враг всякой нечистоты. Испытайте его: если мужчина и женщина живут друг с другом в распутстве и около них этот камень – он лопается... Я сторонился его, Александра его не любила... Что вы смотрите на меня?! Да, вы ее не знаете... Многого вы о своем царе не знаете, зато он все знает о вас... Пошлите Шуйскому Ваське этот камень, у него блудница живет в гридне...

Царь ядовито захихикал. Остановившись, низко склонив голову, задумался.

– Рыжий бес... Похотлив и хитер!.. Пролаза! Подальше от него надобно быть моему сыну – праведнику Федору, – сказал он как бы про себя. – Велю приделать Шуйскому хвост и выгоню его из Кремля в лес... Пускай скачет, как леший, за ведьмами!

Все в угоду царю, вместе с ним, громко рассмеялись.

– Ну, Бог с ним! – махнул рукой царь. – Кто из нас без греха?! Вот, глядите, – это сапфир. Я его очень люблю. Он охраняет, дает храбрость, бесстрашие, он веселит сердце, услаждает, пленяет глаза, прочищает зрение, удерживает приливы крови, укрепляет, восстанавливает силы.

Немного помолчав, Иван Васильевич сказал упавшим голосом:

– Изменил он мне!.. Я теряю силы, а он не помогает. Не нужен теперь он мне. Будь проклят он! Изменник.

Царь с негодованием бросил его на пол.

Бояре кинулись поднимать.

– Что вы бросаетесь! Словно голодные псы на кость... Бояре вы, а не конюхи. Не могу видеть я того позора! С такими боярами Московское царство должно унизиться. Слава Богу, иноземцы сего не видели... Поглядите на их вельмож... Да у них брадобреи и те индейским петухом ходят... А кто хуже: они или мы?! Ну, отвечайте!

Никто не решался ответить царю. Тогда он, ударив себя в грудь, крикнул:

– Мы!.. Мы – лучше! Разве вы не знаете того?!

Он долго сидел взволнованный, тяжело дыша, беспокойно ворочаясь в кресле.

– Я слабею, – едва слышно проговорил он. – Унесите меня. Больше не могу.

На следующий день царь Иван с утра в присутствии царевича Федора собрал у себя ближних бояр. Пригласил и митрополита.

– Плохо мое дело, святой отец, царевич и бояре, – заговорил он каким-то чужим, придушенным голосом, – умирать я собираюсь, а прежде того, слушайте. Прочитаю я вам свою духовную.

Собравшись с силами, царь мужественно, спокойно и внятно прочитал завещание, в котором объявлял своим преемником царевича Федора, а помощниками его: Бориса Годунова, Богдана Бельского и Никиту Юрьева.

В глубоком, скорбном молчании, опустив головы, прослушали царя присутствующие.

Митрополит прочитал молитву, благословил царя.

– А может, выживу? А? – вдруг сказал он, пытливо обводя взглядом окружающих.

И тихо сам себе ответил:

– Нет.

Царь все эти дни торопил Бельского выведать у колдунов о близости своей кончины. Ему хотелось знать, что о нем говорят колдуны. Бельский с ног сбился, бегая по «колдовскому дому» от ведьмы до ведьмы, от звездочета до звездочета, наслушался всего столько, что у самого у него стало в голове мутиться.

У одной ведьмы переносица чесалась каждый день с утра и до вечера – она предрекала уже через день кончину царю. Другая уверяла, что на крыше дворца она видит ворону, которая каждый день каркает с утра до вечера. Бельский сам ходил проверять – никакой вороны на крыше дворца не видел. Ведьма ему сказала: «Ты не можешь видеть, а я вижу. Царь должен умереть через месяц». Некий колдун все время тайком бегал к цареву курятнику и один раз слышал, что петух не вовремя запел. Колдун уверял, что царь обязательно умрет через неделю. Другой колдун попросил принести ему какую-нибудь старую одежду царя. Он увидел – мыши ее грызли, а это, по его словам, верный признак, что царь умрет через пять дней. Какой-то страшный старик и вовсе уверял,

что он сам видел, как в Столовой царевой избе дятел бревно долбил – это значит: царю осталось жить двадцать дней.

Что скажешь царю?

Бельский после разговоров с колдунами старался не показываться на глаза больному царю.

Ивана Васильевича, по его просьбе, под руки отвели в дворцовую баню. Мылся там он долго, с видимым удовольствием. Стоявшие около бани люди слышали даже, как царь пел в бане песни. В предбаннике находился его врач и новый, любимый его слуга Родион Биркин.

Выйдя из бани в широкой рубахе и холщовых штанах, красный, посвежевший, царь сказал врачу:

– Поторопился я объявить свою духовную. Третий раз я собираюсь умирать и всякий раз объявляю духовную. Но, как видится, еще поживу, поживу назло боярам...

Вернувшись в свои покои, Иван Васильевич велел принести шахматный столик и шахматы.

Около него стояли Борис Годунов, Никита Юрьев, все Нагие и другие бояре.

– Бог милостив! – сказал Иван Васильевич. – Хочет Господь оттянуть мою кончину... Измучил я вас всех, наскучил со своим недугом. Поди, ждете – не дождетесь, когда умру... А я все живу, да еще в шахматы играю и обыгрываю вас.

Бояре, по обыкновению, начали уверять царя в своей верности ему и в том, что все жаждут видеть его, государя, опять здоровым, строгим и, как то было всегда, – справедливым и

милостивым.

Царь молча, не глядя на бояр, расставлял шахматы.

– Ну, кто со мною сегодня будет играть? – сказал он, подняв голову.

Он обвел мутным взглядом полузакрытых глаз окружающих сановников, хотел еще что-то сказать и вдруг со стоном откинулся на спинку кресла; громко, на всю комнату, вздохнул и странно притих; голова его накренилась набок с теми же полузакрытыми глазами.

Среди бояр начался переполох. Кто посылал за водой, кто за «розовой водой» и «золотоцветом», кто за духовником и лекарями.

Борис Годунов взял руку царя. Она была холодна, безжизненна. Чтобы восстановить тишину и успокоить присутствующих, Годунов сказал:

– По-моему, еще есть надежда...

Но ему никто не поверил.

Вскоре все сановники с Борисом Годуновым во главе вышли на балкон дворца, откуда было видно собравшуюся уже внизу, на кремлевской площади, толпу.

В сыром, туманном воздухе прозвучал зловеще чей-то громкий басистый голос:

– Царь всея Руси Иван Васильевич скончался!

Внизу поднялся дикий вой и плач множества людей. Загудели унылым гудом кремлевские колокола.

Кремль окружало кольцо многочисленной стрелецкой

стражи.

На похороны царя стеклось много народа со всех концов Русской земли.

Прибрели из леса и беглые мужики, предводимые Семеном Слепцовым, ушедшие в леса из вотчины Шуйского. Они откололись от ватаги Ивана Кольцо, не пошли за ним в Сибирь, а продолжали делать набеги на государевы и купецкие обозы.

– Что ж теперича с нами-то, Сема, будет: лучше ли мужику от того станет иль еще хуже прежнего? – спросил Слепцова старичок-ватажник, когда хоронили царя в Архангельском соборе.

Семен вздохнул, покачал головою:

– Нашим солнцем был месяц, так он солнцем для нас и останется. Один царь умре, другой будет... Мой отец говорил мне: глуп мужик, за то его и бьют. От крепостной работы, от барщины нечего нам ждать добра...

– Стало быть, опять в лес?!

– А куда же? Не во дворец же поминки по государю справлять. Как ни плачь о царе, а все на цареву дыбу вздернут, коли к его верным слугам попадешь... Надо докудова терпеть. Обождем еще. Мужик терпелив до золу – ждет задору. Чую, братцы: скоро настанет и наше время, пойдем горою на бояр и дворян!

Повздыхали, почесали затылки ребята, да и направили об-

ратно путь свой в Сокольничий бор.

В толпе богомольцев, окруживших Архангельский собор, стояла в сторонке, около оврага, в темной ферязи, почти совсем закрыв лицо, молодая красивая женщина. Она тайком целовала жемчужное ожерелье, украшенное крупным рубином. По щекам ее текли слезы.

Прислушиваясь к заунывному пенью монахов и монахинь, она тихо, про себя, читала молитву об упокоении блаженной памяти царя Ивана Васильевича.

Когда богослужение кончилось и закрыли царскую гробницу, она быстро пошла через Фроловские ворота на Красную площадь. Там ее дожидался возок, запряженный четверкою коней.

В возке сидели маленькая девочка и пожилая женщина.

– Заждалась, матушка?

– Бог спасет, доченька!.. Доброе дело поклониться праху государя, оказавшего нам столь великие милости...

Сидевшие верхом на конях возницы ударили кнутами по лошадям, и возок покатил прочь от Кремля к городской заставе...

Игнатий и Анна тоже были на похоронах.

Когда возвращались домой, Игнатий тихо сказал Анне:

– У меня еще и свое горе... Узнал я от одного игумена с Устюжны, что и меня Бог обездолил, и меня поверг Господь в скорбь... Игумен приехал на похороны царя.

Анна всполошилась:

– Что ты?! О чем ты говоришь?! Зачем ропщешь?

– Я вчера узнал... Умерла моя матушка... Хотел я повидать ее, да вот, видишь, поздно... скончалась.

– Но откуда же ты, милый, знаешь, что жива была твоя матушка?.. Ведь ты же не помнил ни отца, ни матери, да и не знал о них... ничего?

– Больно мне... Не спрашивай! Помолимся лучше вместе об ее упокоении. Об упокоении рабы Агриппины... Много горя видела она. В заточенье и скончалась.

Анна прослезилась, но больше не стала расспрашивать Игнатия.

Федор Иванович, вернувшись после погребения царя в свою палату, пожелал остаться один и отослал всех от себя. Долго сидел он в глубоком раздумье, глядя в столбец с завещанием отца.

Много было пролито им горячих, сыновних слез, многое множество поклонов было положено им перед гробницей покойного государя, – это как-то заполняло время, давало пищу душе, а теперь вдруг легла на нее неизъяснимая тяжесть. Как человек, придавленный тяжелой каменной глыбой, из-под которой, несмотря на страшные усилия, он не может выбраться, так тщетно боролся со своей смертельною тоскою царевич Федор.

Собравшись с последними силами, он крикнул:

– Тихон! Тишка!

В покои царевича вбежал худощавый, с испуганным безбровым и безусым лицом холоп. Он согнулся в глубоком, до самого пола, поклоне.

– Слушаю, батюшка государь.

Федор Иванович строго сдвинул брови:

– Есть там народ, в приемной палате?!

– Много, батюшка государь... Кричат, злятся, лезут в твои покои... Все бояре...

– Чего им?! – хмуро спросил Федор Иванович.

– Присягу несут тебе... Челом бить хотят...

Федор Иванович отвернулся. Вдруг ему в голову ударила мысль, которую он постоянно отгонял от себя: он – царь! Теперь он – российский владыка. Страшно!

Тяжело вздохнув, он тихо сказал:

– Позови Бориса Федоровича.

Оставшись один, Федор Иванович стал на колени и громко произнес, впившись испуганным взглядом в иконы:

– Помоги!.. Господи, дай сил, умудри, наставь меня!..

Услыхав шаги за дверью, Федор Иванович быстро поднялся с пола, вытянулся во весь рост. Стал ожидать.

Дверь отворилась и, мягко ступая, низко наклонив голову, в покои вошел Борис Годунов. Не разгибая спины, он остановился против Федора Ивановича.

– Слушаю, великий государь. Приказывай.

– Чего там толпится народ? – недовольно спросил Федор и, не дождавшись ответа, проговорил, сморщившись, с доса-

дой: – Не было бы беды, коли и повременили бы...

Борис Годунов вскинул свою курчавую голову и громко, с каким-то диким неистовством, похожим на отчаянье, воскликнул:

– Помилуй, государь! Пожалей холопов своих!.. Пожалей беспастушную Русь! Ни единого часа она не может быть без венчанного владыки! Побойся греха!

Борис Годунов пал на колени:

– Страшись, государь! Пошатнется трон от промедления! Время сторожит каждый вздох наследника престола... Торопись. Выйди к ближним боярам. Пускай бьют челом в верности тебе и государыне. Они – холопы твои. Ты... ты... в страхе держи их... Заставь их...

– Молчи, Борис! – недовольно перебил его Федор.

Помолившись на икону, он отрывисто сказал: «Идем...» – поразив Бориса властным, необычайным для него голосом.

Проходя сводчатым коридором впереди Годунова, Федор Иванович негромко спросил:

– Митрополит с ними?

– С ними, государь.

Около входа в большую приемную палату Борис Годунов обогнал царевича, чтобы торжественно распахнуть перед ним дверь.

Увидев входившего в палату Федора Ивановича, бояре и думные дьяки опустились как один на колени. Воцарилась тишина. Один митрополит, держа в руках крест и евангелие,

стоял не шелохнувшись.

Вдруг, обернувшись лицом к боярам, митрополит властно произнес:

– Бояре! Целуйте крест великому князю, царю всея Руси и государю нашему Федору Иоанновичу!

Борис Годунов и Бельский, один – справа, другой – слева, приблизились к трону и вложили в руки царевича Федора державу и скипетр. Федор Иванович крепко прижал их к груди, внимательно осматривая коленопреклоненную толпу придворной знати.

Бояре, поднимаясь с пола, по очереди подходили к митрополиту и с великою покорностью и смирением прикладывались к кресту, а затем, приблизившись к царю Федору, целовали его руку, в которой находилась держава, и, подобострастно кланяясь, удалялись задом к своим местам.

Когда был завершен обряд присяги, царь Федор сказал тихо, но твердо:

– Божьей милостью, мы, ныне государь ваш, обещаем быть достойным памяти покойного милостивого батюшки нашего Ивана Васильевича, преставившегося в высшие чертоги Господа Вседержителя. Служите вы и мне, как служили моему батюшке!

Поклонился и твердой походкой удалился во внутренние покои. За ним последовали Борис Годунов, Богдан Бельский и Никита Юрьев.

Оставшись один, Федор Иванович, совершенно обесси-

ленный, опустился в кресло.

– Благодарение Богу! – перекрестился он с глубоким вздохом облегчения.

Теперь он сам удивился своей твердости и решимости в принятии царского сана; в голове его даже зашевелились мысли о скорейшем венчании на царство в Успенском соборе. Он проникся каким-то особым преклонением перед самим саном царя, втайне трепеща при мысли о страшном величии власти царя Русской земли.

Ведь он до этого втайне всегда считал себя недостойным быть царем... а теперь вдруг, незаметно для самого себя, потянулся к царской короне, давая мысленно обет: быть твердым защитником и опорою христианской церкви. То, что он хотел бы сделать для церкви раньше и не мог, теперь он сделает для нее... Он готов дать торжественную клятву в том.

«Царь» – это слово постепенно приобретало для него особое очарование, и уже первая встреча с униженно лежавшей у его ног толпой бояр оставила в душе его что-то новое, оживившее его самолюбие. Будто он сидел до этого в душной комнате, окруженный иконами и лампадами, и вдруг распахнулось окно, в которое ворвалось солнце и свежий, оживляющий воздух, напомнив о бесконечном величии Божьего мироздания... «Не сам ли Господь, не его ли ангелы распахнули то окно?..»

– Такова воля Господня... – шепчет в радостном волненье Федор Иванович.

За дверью послышался шорох и кашель.

– Кто?! – быстро вскочил со своего кресла Федор, подозрительно прислушиваясь к шороху.

Дверь отворилась. Низко кланяясь, вошла его красавица жена Ирина. Он быстро приблизился к ней, обнял ее, крепко-крепко облобызал и громко, с каким-то ранее неведомым ей мужественным восторгом произнес:

– Ты – царица! Слышишь?! Помолимся! Господь поможет нам...

Оба опустились на колени перед иконами и принялись усердно молиться.

За окнами слышался бодрый перезвон кремлевских колоколов. Борис Годунов и митрополит подняли на ноги всех московских звонарей, чтобы сменить печаль на радость...

По воле покойного царя Ивана Васильевича Борис Федорович Годунов был назван правителем государства, первым помощником царя Федора. Князей Ивана Мстиславского и Ивана Васильевича Шуйского и боярина Никиту Романова покойный государь назначил помощниками Годунова.

Царь Федор после ухода царицы созвал к себе казначеев и велел им собрать и учесть все золото, все драгоценности, которые остались в государственной казне после смерти царя Ивана Васильевича.

Так началось новое царствование.

Мечта пушкаря Андрея Чохова осуществилась.

В тысяча пятьсот восемьдесят шестом году он создал наконец ту пушку, которую хотел поставить в Кремле на самом видном месте, чтобы она говорила приезжим иноземцам о богатырской силе русского народа, о его непобедимости, о его способности творить чудеса, о его могучей артиллерии.

Пушкарь Чохов вложил в нее свою любовь к родине, свою веру в ее неумирающую будущность.

И назвал свое детище «Царь-пушка».

Над всеми пушками «царем» он назвал ее.

Герасим, Параша и их дочь Наталья, которых Разрядный приказ оставил в Москве при Стрелецкой слободе, в сопровождении Андрея, Охимы и сына их Дмитрия ходили в Кремль любоваться работой друга, знаменитого литца.

– Помнишь, как в походе, тогда, давно-давно, я говорил о такой пушке!.. Грязной и Кусков меня журили за то. Да и государь, покойный Иван Васильевич, не понял меня... А вот теперь, гляди, добился я своего. Пускай полюбуются люди после нас, да и меня помянут добрым словом! Спокойно мне будет и умереть теперь, когда сделал то, чего хотел.

Был праздничный день. В Успенском соборе в присутствии царя Федора и царицы, а также и находившегося при них Бориса Годунова митрополит служил торжественный молебен по случаю перевода беломорского торга во вновь построенный по мысли царя Ивана Васильевича город около церкви св. Архангела у самого устья Двины.

– И моя копеечка не щербата, – самодовольно сказал

Андрей Чохов, слушая благовест кремлевских колоколен. – Знатную огневую ограду поставил я там для защиты сего города. Пускай попробуют теперь вороги напасть на него. Достойный отпор наши люди учинят им.

Вечером в доме Чохова состоялась веселая пирушка. Пили. Пели. Плясали. Впрочем, этим дело не кончилось: в разгар веселья Андреем был сделан намек, что-де «мы скоро совсем стариками станем, а наши детки – Митька да Наташа – должны продолжать наш род. Не так ли?» Против этого ни с чьей стороны возражений не последовало. Начало доброму делу было положено.

ЭПИЛОГ

Балтийское море величаво колышется, посеребренное бледной улыбкой холодного восхода... Небо синее, прозрачное – осень склонилась над водной пустыней...

Двадцать кораблей, оставив Санкт-Петербург, вышли из устья Невы, распустив белоснежные паруса... Впереди «Ингерманландия» и «Полтава», построенные по чертежам царя Петра Алексеевича и под его наблюдением... Русский флот гордился «Ингерманландией». Сам царь писал: «Ингерманланд» – на парусах зело изрядный, так что лучше его нет, и только не отстают от него братья его, а приемыши все позади». «Приемышами» царь называл корабли, приобретенные за границей.

Большой, грузный, слегка сутулясь, царь Петр стоит на носовой части палубы «Ингерманландии», пристально в подзорную трубу вглядываясь в морские дали. На лице его выражение горделивого торжества. Ведь на этом море он хозяин теперь такой же, как и другие короли... И никто не осмелится помешать ему плавать по Балтийскому морю.

На палубе около него адмирал Апраксин, капитаны Ипат Муханов, Иван и Наум Сенявины.

Обернувшись к ним, Петр Алексеевич сказал с хитрой улыбкой:

– Достохвальныя памяти царь Иван Васильевич мудрый

был государь. Не бездельно писал он шведскому Эрику через новгородского наместника, что море будет нашим... Шведский король имел в ту пору счастье по обычаю, нередкому в воинских случаях, отнять у нас Нарву, но Русь не столь добра, чтобы уступать свое чужеземцам.

– То было с древних времен, ваше величество, наши государи крепко держали свою землю, – почтительно произнес Апраксин.

– Самим Богом так указано, – стукнул ладонью по эфесу шпаги Петр. – Посредством оружия Всевышний помог нам возвратить большую часть дедовского наследства, неправильно похищенного у нас... Не отдадим его!.. Будем владыками моря... Умножением флота обеспечим торговлю. Пристани на море останутся навсегда за Россией; они изначала ей и принадлежали... Они необходимы для государства, ибо через сии артерии может здравее и прибыльнее сердце государственное быть. И наша твердыня невская крепче станет.

Корабли с распущенными парусами шли ровными рядами позади государева судна.

Когда проплывали мимо острова Котлин у оконечности Невской дельты, Петр и Апраксин навели подзорные трубы на крепость Кронштлот [27]. Грозно высился Кронштлот и вся линия крепостных укреплений с Ивановской батареей, защищавшей военный городок от неприятеля с сухого пути. Кронштлот еще строился. Только что начинали возво-

[27] Кронштадт.

дить самый передовой, самый отдаленный от города укрепленный пункт – Александршанец. По-хозяйски осматривал Петр кронштлотские сооружения.

«Содержать сию цитадель с Божией помощью, если случится, хотя до последнего человека», – гласили слова царского наказа коменданту крепости.

Царь подозвал к себе вице-канцлера Шафирова и, хлопнув его по плечу, спросил:

– А ну-ка, Петруха, помянул ли ты в своей книжице о премимории [28] шведского короля Густава королеве английской Елисабет, чтоб в Нарву никто не плавал?!

– Помянул, ваше пресветлейшее величество!..

– Блаженной памяти дед наш Иван Васильевич, однако, всех на ноги поднял в ту пору. Всех королей от его Нарвы как огнем охватило!.. Отняли они ее, а мы вновь ее взяли! Царь Иван дорогу нам показал... Вечная слава ему!

– А королева Елисабет такой ответ дала... – начал Шафиров.

– Апраксин, слушай... – обернулся царь с улыбкой к адмиралу. – Слушай!

– Слушаю, ваше величество!

– Королева написала Густаву королю, что я-де своим подданным свободу плавания, куда они захотят, запретить не могу...

Царь и окружавшие его офицеры рассмеялись. Шафиров

---

[28] Письмо, отношение.

продолжал:

– Да, государь, прежние времена не суть равны нынешним... Шведы тогда о нас не так рассуждали и за слепых почитали... О том правдиво сказано в истории одного заморского историка. Русский народ в превеликом почете у сего историка...

Петр нахмурился, вздохнул.

– Не токмо шведы, но и другие отдаленные народы. Всегда они имели ревность и ненависть к народу российскому, желая содержать его в древнем неискусстве, особливо в воинских и морских делах...

Царь задумался.

– Того ради размыслите, – продолжал он после некоторого раздумья, – если такая злоба была у наших соседей при рощении российской славы и введении добрых порядков, каково же ныне, когда Господь Бог прославил Русь так, что те, которых, почитай, вся Европа опасалась, ныне от нас побеждены суть?! Не уподобьтесь же беспечным ротозеям, чтоб не вышло так, что слуги не знали, как хозяина связали... Сохрани Бог, коли беда нежданна, негаданна свалится... Апраксин, сбережем мы море?! А?!

– На веки вечные, ваше величество! – отчеканил адмирал.

– И теперь, увы, мешают нам шведские каперы!.. Царь Иван Васильевич боролся с ними, чтоб не мешали торговать с аглицкой страной и Голландией, – ныне то же самое. Легче нам было море отвоевать, нежели очистить его от воров... Но

я не отстану до той поры, пока всех до единого разбойников не изведу на море...

С сердцем сказанные слова Петра Алексеевича были выслушаны в почтительном молчании. Морской разбой возмущал всех моряков. Каждому – от простого матроса до адмирала – хотелось скорее покончить с этим застарелым злом. Разбитые русскими на суше и на море шведы в бессильной злобе перешли к нападениям на мирные, торговые корабли, шедшие в Россию. Генералитет и офицерство единодушно приветствовали решимость царя Петра плавать на кораблях вплоть до Копенгагена, ловя и уничтожая каперов.

За гангутскую победу сенатом «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству контр-адмирал Петр Михайлов» был провозглашен вице-адмиралом. И теперь царь в чине вице-адмирала принял на себя командование флотом.

Во всей фигуре его чувствовалась непреклонная воля к выполнению задуманного им важнейшего государственного дела: обеспечить безопасность плавания русских кораблей по Балтийскому морю. Царь искал теперь у берегов моря место для новой гавани.

Спустившись в свою каюту, он раскинул на столе карту, склонился над ней с Апраксиным.

Вот оно, море! Вот берега Эстонии и Финляндии – они не страшны теперь! Ревель – свой город. Финляндия утихла после славной морской победы при Гангуте. Далее лифлянд-

ские берега и островки – все они у ног его, русского царя! Берега Швеции ненадежны, но под руками его, вице-адмирала Петра Михайлова, стопушечные корабли. Русская пушка уже показала себя у мыса Ганге-Удде, и недаром шведские корабли один за другим тогда спустили свои флаги перед его вымпелом, вымпелом русского царя!

Смелые мысли роятся в голове Петра Алексеевича. Отчего не сделать из Дании высадку русских солдат на шведский берег?! Ведь не забавы ради корпус из лучших гвардейских полков сошел уже с русских галер в Дании. Они ждут там... Ждут приказа царя. Надо силой заставить Швецию заключить мир. Довольно воевать!

В соседней каюте Шафиров вслух читает офицерам то, что он написал для своих «Рассуждений» о том, «какие законные причины его величество Петр Великий, император и самодержец всероссийский, и протчая, и протчая, к начатию войны против короля Карла 12-го, Шведского, в 1700 году имел, и кто из сих обоих патентатов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал, и кто в продолжении оной столь великим разлитием крови христианской и разорением многих земель войны виновен...»

До слуха царя доносится:

– «И хотя по присловию латинскому – „под звоном оружия права гражданские молчат“, сиречь во время войны мало о гражданских распорядках и правилах возможно попече-

ния иметь, однако ж его величество противно тому присловию не оставил, и в сию настоящую, столь долговременную и тяжкую войну, и в том попечении своего... Колико славных и крепких фортец, или крепостей, портов (пристанищ) и каналов, или прокопов для сообщения рек, озер и морей, по удобности в воинских и мирных случаях, при благополучном государствовании его сделано и еще делается. А именно: учинен канал меж Вышним-Волоком из реки Цны в Тверцу, с которыми Волга коммуникацию имеет, и тако, следовательно, сообщение моря Каспийского с Балтийским. Учреждение работы над каналом меж рек Волги и Дону для сообщения морей Черного, Каспийского и Балтийского также нынче начато...»

– Аминь! – хлопнул его по плечу царь Петр, подкравшись к нему незаметно через соседнюю каюту. – Зело высоко превозносишь меня... Нет ли тут какой лести?! Похвали-ка лучше моих молодцов-штурманов... С превеликим искусством, как вижу я, над морским дном они ходят, всякий камень подводный видят... Давно ли это море нашим значится, а уж мои робята добрыми вожаками стали... Одно негоже: нет у нас изрядных гаваней! Надобна надежная, крепкая гавань. Надобно сыскать ее.

Царь повел речь об имеющихся уже в море гаванях: Кронштлот хорош, «зело удобен» для военных и купеческих кораблей, но он служит лишь защитой Санкт-Петербурга, к тому же шесть месяцев во льду, поэтому не во всякое время

удобен для выхода судов, а дальше? Нарва в стороне. Она – охрана и ключ Ингерманландии; Ревель – гавань малая, плохо защищенная от ветров. Давно ли писал Меншиков царю в Амстердам: «...Был жестокий шторм, который нам при Ревеле немалый убыток учинил: а именно – новую гавань всю разорил и два корабля, „Фортуну“ и „Антония“, о мель разбил». Пернов?! Его заграждает песчаная гряда, и суда, имеющие глубокую осадку, остаются на рейде в четырех верстах от устья реки Пернавы, – он тоже не угоден царю. Да и надобно, чтобы гавань там находилась при выходе судов из Финского залива в море.

– Поплывем в Рогервик... [29] Мнится мне: лучше той гавани нам не сыскать, – сказал царь. – Измерим глубину, поразмыслим... Нужна крепкая защита нам у ворот залива, добрый приют нашим фрегатам и жестокий каратель для наших врагов... То, что не отстоял блаженной памяти наш прародитель мудрый государь Иван Васильевич, Богом указано отстоять нам, малым людям, грешным правнукам его...

Далее Петр сказал:

– Приморские крепости великую разницу имеют с теми, которые на сухом пути. Стоящие на суше крепости всегда заранее могут о неприятельском приходе знать, так как довольно времени требуется войску маршировать, а на море не дано знать о часе прихода врага, как то не дано человеку заранее знать о приходе его смерти.

---

[29] Впоследствии Балтийский порт.

Собрав после этого своих адмиралов и капитанов у себя в каюте, Петр Алексеевич выслушал доклад инженер-поручика Мясного, объехавшего берега Эстляндии, Лифляндии и Курляндии, изучая места, удобные для устройства большой военной и торговой гавани.

Царя интересовали гавани в южной части Балтийского моря, поэтому он в первую очередь пожелал знать о том, что разузнал Мясной о пристанях на Курляндском побережье, особенно же о Виндаве и Либаве.

Поручик Мясной, низкорослый, с монгольским лицом офицер, живо и просто рассказал царю о результатах своего объезда. По его словам, берег Курляндии в большинстве представляет почти прямую линию, прорезанную лишь устьями впадающих рек, не образуя ни одного не только обширного, но даже сколько-нибудь значительного залива. К тому же у либавских и виндавских берегов много песчаных наносов. Либавский залив мелок. То же самое Виндавский. Оба порта плохо защищены от морских бурь.

Петр слушал с большим вниманием Мясного. Взял составленную поручиком гидрокарту с описью измерений глубин и других особенностей каждой из гаваней. Долго рассматривал карту и описи поручика Мясного.

– Сам я видел многие берега и ходил на судах к Гапсалю, Монзунду и Рогервику и лучше Рогервика до сего дня ничего не нашел... – сказал Петр. – Посмотрим же его мы еще раз и сообща поразмыслим, не его ли нам заковать в камень

и железо. Не поставить ли его часовым на берегу, чтобы уж никто и никогда не отнял у нас этого моря. Не попусту столь долгие годы воевал здесь наш блаженной памяти прадед царь Иван Васильевич... Не всуе и мы потрудились, изгоняя врагов из наших прародительских вотчин... Станем же твердой ногой здесь! Помогайте мне!.. Отблагодарю щедро!..

Окружавшие Петра адмиралы и офицеры низко поклонились царю.

– Да будет так, ваше величество! – хором произнесли они.

Корабли прямо, ровными рядами, шли позади царской галеры, красуясь над серой водяной пустыней своими мощными парусами... Императорский штандарт горделиво развевался в вышине под легким дуновением ветерка, многоцветно отражаясь в волнах Балтийского моря...

Царь Петр с веселой улыбкой вглядывался в морские дали, как бы предчувствуя ожидающую его впереди удачу.

1944–1946 гг.